

ЛИТЕРАТУРНО-  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-  
ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ

# БРЕННЕВА

4(8)2018

# **ВРЕМЕНА**

**Литературно-художественный  
и общественно-политический  
журнал**

**Выпуск 4 (8) 2018**

**Нью-Йорк  
2018**

**ВРЕМЕНА**  
**Международный литературно-художественный**  
**и общественно-политический журнал**

**VREMENA**  
**International Journal of Fiction, Literary Debate,**  
**and Social and Political Commentary**

**Publisher** Leon Mikhlin

**Editor** David Guy

**Design and layout** Slava Petrakov

Copyright © 2018 Leon Mikhlin

No part of this publication may be reproduced or transmitted  
in any form or by any means – electronic, mechanical,  
photocopy, or any other – except for brief quotations in printed reviews,  
without prior permission from the Publisher.

For any information about obtaining permission to reproduce  
selections from the journal, please call **917-922-4153** и **646-270-9615**  
or send an email to **lbm28w@aol.com** и **guydavid094@gmail.com**

All rights reserved

ISBN: 978-1726499101

Printed in the United States of America

## РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

ИРИНА БАСОВА-ЗАБОРОВА	(Франция)
Марк ВЕЙЦМАН	(Израиль)
ГЕННАДИЙ КАЦОВ	(США)
ГАРИ ЛАЙТ	(США)
АНДРЕЙ ОСТАЛЬСКИЙ	(Англия)
ЛАРС ПОУЛЬСЕН-ХАНСЕН	(Дания)
СЕМЕН РЕЗНИК	(США)
МИХАИЛ РУМЕР-ЗАРАЕВ	(Германия)
ЭЛЛАЙДА ТРУБЕЦКАЯ	(США)
МАРИНА ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР	(США)
ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН	(США)

---

## СОДЕРЖАНИЕ

---

К ЧИТАТЕЛЯМ ..... 6

### **ПРОЗА**

Давид ГАЙ  
Катарсис (окончание) ..... 8

Леон МИХЛИН  
Индийский гамбит (окончание) ..... 103

Алексей НИКИТИН  
Банда Саливенко (глава из нового романа) ..... 151

Мира ВАРКОВЕЦКАЯ  
Из жизни домашних попугаев ..... 165

Владимир СОЛОВЬЕВ  
Кот Шрёдингера ..... 177

Евгений КИСИН  
«Мишка-артист» ..... 200

### **ПОЭЗИЯ**

Евгений ЛЕСИН ..... 87

Марина ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР ..... 144

Владимир ХАНАН ..... 190

Юлиан ФРУМКИН-РЫБАКОВ ..... 243

## **ИМЕНА В ЛИТЕРАТУРЕ**

Евсей ЦЕЙТЛИН  
Долгие беседы в ожидании счастливой смерти .....207

## **КОЛЛЕГИ**

Игорь ЦЕСАРСКИЙ  
«Только время принадлежит нам...».....247

## **ЮБИЛЕИ**

Анна ГОЛЬДБЕРГ  
Самуил Каплан. Перебирая годы поименно .....256

## **МЕМУАРЫ**

Андрей ФРОЛОВ  
Генерал СМЕРШ (продолжение).....261

## **ПЕРЕВОДЫ**

Алессандро БАРИККО  
Синдром Будмана .....276

## **СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ ГРЕШНО...**

Александр МАТЛИН  
Два рассказа .....288

## **БИБЛИОГРАФИЯ**

Александр КАШЛЕР  
Читая Александра Матлина .....301

---

## К ЧИТАТЕЛЯМ

---

Завершился второй год выпуска международного литературного журнал «ВРЕМЕНА». Издание наше становится объемнее, в каждом номере уже более трехсот страниц. Мы стремимся донести до читателей лучшие образцы прозы, поэзии, публицистики, рожденные авторами, живущими в разных концах света, а не только в Америке. Это особенно важно, ибо количество «русских» литературных изданий, выходящих на бумаге, неуклонно сокращается. Увы, такова тенденция – выпускать их финансово все тяжелее. И уходят издатели массово в Сеть, в Интернет, что намного дешевле...

Напомним: мы не получаем грантов и вообще, какой-либо материальной помощи. Наш проект – благотворительный, филантропический, держится исключительно за счет поддержки издателя Леоны Михлина и вашей, друзья, небольшой оплаты за подписку.

Еще одно направление нашей деятельности – публикация острой прозы и публицистики российских авторов, которых не печатают в России, опасаясь гнева властей предрержащих.

Весьма важна для журнала обратная связь с читателями. Нам звонят, присылают письма, с нами обсуждают публикации, высказывают критику, пожелания.

В связи с этим будем признательны, если вы, господа, оперативно пришлете свои отклики на прочитанное в 2018 году и предложения относительно новой тематики и новых рубрик. Ваши пожелания окажут неоценимую помощь издателю, редактору и членам редсовета. В первом номере за 2019 год мы опубликуем ваши высказывания. Свяжитесь с нами по электронной почте [guydavid094@gmail.com](mailto:guydavid094@gmail.com)

Наш журнал – подписной, но отдельные номера и годовые комплекты можно купить в крупнейшем русском книжном магазине Америки – «Санкт-Петербург» (Нью-Йорк). Любое пожелание жи-

телей различных штатов стать подписчиками мы тут же удовлетворим – стоит лишь позвонить нам и дать свои координаты.

В течение этого года прошли презентации – в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Вашингтоне... Такое прямое общение дает замечательную возможность услышать мнения читателей о журнале.

В редакционном портфеле – немало любопытных и даже сенсационных текстов, которые увидят свет в 2019 году. Надеемся, вы, наши подписчики, останетесь с нами, а к вам прибавятся новые читатели. Напомним условия подписки. Они не изменились по сравнению с прошлым годом. Единственная просьба: если хотите остаться нашими читателями или впервые подписаться, не затягивайте эту процедуру, не ждите Нового года. Нам очень важно заранее узнать количество подписчиков и определить тираж нашего издания.

\*\*\*

Дорогой читатель! Вот данные по годовой подписке на 2019 год (4 номера объемом более 300 страниц каждый). На чеке надо указать цифру 50 долларов (почтовые расходы включены) и название компании издателя заглавными буквами: PGLL LLC. Чек вложить в конверт и отправить по адресу:

**David Guy**

97-07 63 Road Apt.11H Rego Park, NY 11374

Tel. 646-270-9615

Спасибо!

У журнала есть свой сайт: [vremena.online](http://vremena.online). Мы стараемся его усовершенствовать.

Вы также можете увидеть нас в интернете, набрав [za-za.net](http://za-za.net) и далее кликнуть вход в журнальный зал. Реклама «Времен» размещена на крупнейшем американо-русском портале «Новый Континент» (<http://nkontinent.com>), в чикагском ежемесячнике «Шалом» ([www.obshina.com](http://www.obshina.com)), а также в Facebook.

Итак, мы уходим в третий год существования. Надеемся, он будет успешным и мы не разочаруем вас, друзья!

**Леон Михлин, издатель**

**Давид Гай, редактор**



Давид ГАЙ

---

КАТАРСИС

---

*Окончание.*  
*Начало в номере 3 (7) 2018*

10

Воскресным вечером все произошло так, как должно было произойти. Выпив вина, Юл раскраснелась, влажная прядка волос упала на лоб, в голосе зазвучали протяжные, нежные, беззащитные интонации, сама того не осознавая, она внезапно приблизилась к типу женщин, имевших над Даном особую власть – его неудержимо тянуло не к целеустремленным, активным, решительным, а напротив – к существам с плохо скрытой мольбой о помощи и непроизвольным стремлением раствориться в мужской силе. Юл к прежним достоинствам добавляла мимолетное, колеблющееся, зыбкое, как пламя свечи, преображавшее облик. Казалось, все как прежде, и через мгновение – и тоже всего на мгновение – метаморфоза, превращение во что-то удивительное, наповторимое, непознаваемое.

Так происходило в эти минуты.

В сексе Юл оказалась застенчивой, не было предполагаемого неистовства, буйства плоти, необузданного темперамента. Дан, впрочем, не разочаровался, скорее обрадовался – он представлял Юл совсем иной – чуждой стеснения, отвергающей условности, диктующие женщине сознательно не раскрываться при первом интиме, оставляя напоследок некую тайну. Нет, вовсе нет, она не играла, не пыталась выглядеть особой без опыта, – была сама собой, что еще больше к ней притягивало.

Они отдыхали после соития, одеяло спустилось и обнажило левую грудь Юл с коралловым соском на темном выпуклом ареоле,

сосок напоминал ластик на обратном конце карандаша. Дан поцеловал его, обласкал кончиком языка, Юл вздрогнула.

– Не возбуждай меня без нужды...

– Как раз нужда есть, – парировал. – Послушай... – Мысли его переключились совсем на другое. – Ты читала Оруэлла?

– А кто это?

– Писатель замечательный. Бритт. Главный его роман – «1984». Написан через несколько лет после мировой войны с Гансонией. Вещь страшная – о том, что происходит с обществом при полном отсутствии свободы.

– Наверное, ничего хорошего.

– Почему «наверное»?.. Один его герой говорит: люди в массе своей слабые, трусливые существа, не могут выносить свободу, не могут смотреть в лицо правде, поэтому ими должны править и постоянно их обманывать те, кто сильнее их. Написано давным-давно, а звучит, будто сегодня...

– Да, смахивает на нашу жизнь, – согласилась Юл.

– Так вот, двое героев влюбились друг в друга. Ее зовут Джулия, почти как тебя, тоже темноволосая, правда, с веснушками, которых у тебя нет. Кругом слежка, экраны, прослушка, она находит возможность встретиться со Смитом, тайком передает ему записку: «Я вас люблю». Едут за город, предпринимают особые меры безопасности, находят укромный уголок и занимаются чем положено. Наперекор всему, с вызовом гадской, подлой системе.

– И чем кончается?

– Скверно кончается. Ловят их на подпольной квартире, дальше – допросы, моральные и физические пытки. Не выдерживают и предают друг друга. *«Вот зажгу я пару свеч – ты в постельку можешь лечь, вот возьму я острый меч – и головка твоя с плеч!»*

– Кошмар какой... Тоже из романа?

– Оттуда. Песенка такая.

– Ты зачем мне рассказываешь? Намекаешь, что и у нас такой же финал отношений?

– Да нет, о чем ты? Нас же не пытаются... Просто подумал о созвучии имен: Юлиана – Джулия.

– Ну, коли так, остается сочинить записку: «Я вас люблю» и отправиться за город. Впрочем, мы и так за городом, только подходя-

щего местечка в лесу не найдем – не дадут. Мы тоже под наблюдением, как те двое из книги. Ограничимся номером в пансионате.

– Что и происходит, – и Дан поцеловал ее в губы.

...Перед рассветом привиделся отец в полосатой, *арестантской*, как называл ее Даня, пижаме и тапочках на босу ногу, он сидел в плетеном кресле-качалке из ротанга, бог знает сколько лет присутствует на даче, по крайней мере, Даня помнил легкие ажурные плетеные кресла, их было четыре, чуть ли не с рождения. Напротив в таком же удобном ложе утопал Профессор. Без сомнения, это был он – жиденькие усы, козлиная бороденка, позолоченное пенсне, нелепый петушиный хохолок на продолговатом вытянутом, как у инопланетян, какими их изображают, черепае, довершал картину безобманчивый кадык-зоб. Да, это был он, и голос тот же, пилящий дерево, только очень тихий, словно его обладатель чего-то скрывал и не хотел огласки – только отцу Дани и доверял свои откровения, не замечая присутствия подростка или попросту игнорируя.

Откуда он взялся, как попал к нам на дачу? – недоумевал Даня, подросток с прыщавым лицом, примостившись в углу остекленной веранды и прислушиваясь к разговору. Говорил в основном Профессор, было плохо слышно, доносились лишь отдельные слова: «таблетки», «эксперимент», «яды». При чем здесь яды, какое отношение имеет к ним Профессор...

Дачное утро вступало в свои права, солнце светило, птицы пели, с соседнего участка доносилось коровье мычание – соседка держала буренку и снабжала поселок теплым парным молоком – словом, все было как обычно, и лишь тихая, не для посторонних ушей беседа отца и Профессора с упоминанием каких-то неведомых ядов нарушала стройную картину.

Дане надоело слушать комариный писк пилы – все одно ничего толком не разобрать – и он бочком, стараясь остаться незаметным, покинул веранду...

Лучше всего запоминаются предрассветные сны, и потому Дан, очнувшись, смог прокрутить в мозгу увиденное и частично подслушанное на дачной веранде. Он выпростал ноги из одеяла, встал, попил воды и снова улегся. До прихода медсестры Оксаны оставалось чуть меньше часа.

Какая-то дичь, Профессор беседует с отцом и что-то явно утаивает, ну, с таблетками понятно – отголосок пребывания в пансионате, но вот яды... откуда взялись, почему причудливым, не поддающимся анализу образом сочетаются с таблетками... И словно клубок с нитками выпал из пальцев и покатился по полу, разматываясь на ходу. Он, Дан, уже задумывался над этим, мысли вовсе не пустопорожние: кто еще с таким рвением и тщанием взялся бы за выполнение особой миссии с таблетками, как не специалисты, для кого все предыдущие задания – тоже особые? Что если дурной сон в руку и Профессор и впрямь из заведения секретного, где производят те самые препараты моментальной или отсроченной смерти? Да нет, чушь, не может быть, опровергал свои же доводы, химики есть в разных лабораториях, неужто свет клином сошелся на токсикологах из секретной лавочки, совсем иным занимающейся? И чем старательнее Дан пытался избавиться от наваждения, тем цепче схватывало, когтило: вполне возможно и допустимо, что работающие потаенно, под крышей спецслужб, токсикологи, именно они получили задание относительно чудо-пилюль – самые грамотные, продвинутые, изощренные; вчера – незаметно убивающие яды, сегодня – возрождающие таблетки, почему нет? Им же один черт чем заниматься, лишь бы платили, а платят им хорошо, даже очень хорошо – Дан был уверен.

Лет тридцать назад молодой честолюбивый литератор интересовался этими вопросами, по крупицам собирал материалы для книги, которая вполне могла стать разоблачительной в свете *чаепития с полонием* и последующих событий, но вовремя остановился, понимая, чем лично для него обернется публикация, даже если и найдется смельчак-издатель выпустить такой компромат. Максимум, что смог сделать, – опубликовал пару статей про профессора Могилевского, командовал тот секретной лабораторией ядов в бытность Властелина № 1. Ну, так то дела давно минувшие, *безопасные*, а сам Могилевский после ареста и отсидки умер, что удивительно, своей смертью не старым еще в середине 60-х прошлого века.

Насобирать разными путями еще многое, весьма важное, до поры засекреченное, Даниил сумел, потом подтвердилось на подпольных, малодоступных в Славии сайтах и в трех-четырёх

газетных публикациях вроде как либеральной, еще не стреноженной газеты; а тогда все легло мертвым грузом в домашнем архиве, желания развивать опасную тему не возникало. Но и сейчас, по прошествии стольких лет, помнил он имена умерщвленных ядами Могилевского, некоторых жертв Григорий Моисеевич самолично иглой шприца колол. На тот свет отправили по указке Усатого и его окружения крупных чекистов; укропских националистов, включая главного идеолога и теоретика движения, а заодно священников; занимавшего пост иностранного инженера-оборонщика, надумавшего вернуться на родину, завоеванную гансонскими агрессорами в 1939-м; заокеанского коммуниста – агента Коминтерна и НКВД; а уже в годы правления Бровастого – писателя из православной страны братушек и главу Пуштунистана... Травили по-разному: уколами, острием зонтика, брызгами смертельной гадости из ампулы в лицо, да мало ли способов.

Нет, не зря приснился сон, не зря... Прав оказался небезызвестный бандит Фокс: «Ядов у нас на всех хватит, наглотаетесь досыта». Как в воду глядел: настали времена газов нервно-паралитических типа «Новичка», «Бывалого» и «Ветерана», от которых спасения нет... Первым случайно испробовал на себе один из авторов «Новичка», сын известного руководителя химической промышленности Свинцова: вырвался газ на волю из-за мелкой технической неполадки, вдохнул микродозу Свинцов-младший и должен был почти сразу же загнуться. Бог шельму метит... Спасли жизнь ему атропином, взяв подписку о неразглашении, с официальным указанием причины болезни – отравление сосисками. Стал Свинцов-младший инвалидом, калеккой, помер через несколько лет, успев, несмотря на запрет, поведать миру о чудовищном оружии – терять-то уже нечего... *Мертві бджоли не гудуть.*

Вспомнили о Свинцове в связи с отравлением работавшего на бритов бывшего славишского разведчика, а заодно и его дочери: нашел приют за границей у своих покровителей, но достал их «Новичок» и там. Скандал нешуточный разгорелся.

Да, много чего тогда и после произошло...

...Пришла Оксана в сопровождении белобрысого охранника, Дан при них проглотил очередную пилюлю и направился на завтрак,

снедаемый беспокойными мыслями о нечаянном предрассветном предположении, в которое с каждой минутой верил все больше.

Подобно большинству сверстников, Даниил рос не слишком любопытным по части семейных преданий, кое-что знал из рассказов родителей и родственников, но подробно и дотошно старших не расспрашивал, о чем потом искренне жалел. Желание узнать, *докопаться* пришло позднее. Уже став литератором, подумывал о написании семейной саги, и видя большие пробелы в материале, начал донимать родителей вопросами, что да как было и как дедушки и бабушки жили после революции и в советские годы.

С бабушкой более-менее понятно: из купеческого сословия, при большевиках обнищавшего, один из родственников – священник, что тоже никак не совпадало с веяниями нового времени; а вот по дедушкиной линии все было заковыристее – и страшнее, о чем отец, Сергей Павлович, верный себе, рассказывал скупой, не нагнетая страстей, коих хватало, будто не о своих близких и о себе – только даты и факты, никаких оценок. Оценки выносил Даниил, отчего в душе поселялись неуютство и нечто иное, сродни ненависти: кто же ответит за содеянное зло и ответит ли? Наружу не выходило, в писаниях его до поры до времени не отражалось, так и жил с этими ощущениями, притом что молодость его совпала с воцарением Властителя № 2. *Нечто иное* понемногу притуплялось, скукоживалось, сворачивалось улиткой, он готов был смириться с очевидным: судьба моей семьи мало чем отличается от судеб других. А уж по части ответа за содеянное... – бессмысленно думать, когда то тут, то там открывались памятники и бюсты тому, при ком деда Даниила по отцовской линии спровадили в лагерь в северной точке огромной карты ГУЛАГа.

И вот что легло в тетрадь с записями внука, посвященными деду.

Едва началась Первая мировая, 18-летний Павел ушёл добровольцем в армию. К концу войны уже имел звание поручика. А затем вступил в Красную армию Славишии.

В РККА Павел Александрович стал быстро продвигаться по службе. В 1926 г., ещё при жизни его отца, бывшего хозяина тек-

стильной мануфактуры, при новой власти лишённого всего, Павел стал влиятельным командиром и, соответственно, получил право на особое обеспечение. Даже мог просить об отдыхе на курорте, чем вызывал зависть у родственников, и близко не имевших таких прав. Отец, некоторые братья и сестры обижались на него за то, что он, располагая такими возможностями, не помогал им в жизни. Отец, больной и отторгаемый властью, в годах, имел на это, по крайней мере, моральное право. И, возможно, поэтому между ним и сыном-красным командиром были прохладные отношения. *«Но я думаю, – неторопливо вел повествование Сергей Павлович, – мой отец был чрезвычайно честным служакой и считал подобные официальные просьбы недостойными или незаконными. А может, просто боялся, что это повредит его военной карьере. Впрочем, насколько мне известно, он не пытался помогать и неофициально, деньгами или ещё как -то...»*

Служба давалась ему нелегко, в связи с чем здоровье оставляло желать лучшего. Но по мнению его сурового отца, главной причиной недомогания была *недостойная жена* Варвара, с которой Павлу следовало бы, по его мнению, расстаться. *«Купеческая дочь, она была интересной женщиной и якобы крутила романы в среде командиров. Но насколько я знал мою мать, это могло быть лишь женским кокетством. В дальнейшем она оказалась исключительно ответственной за семью, мужественным и жертвенным человеком. И никогда больше не выходила замуж. Моя мама, твоя, Даниил, бабушка, по сути, спасла меня».*

Павел Александрович был преподавателем военной Академии в звании полковника. Он уже был автором нескольких исторических книг о войне 1914-1917 гг. Одна из небольших книг о военных операциях царской армии, в некоторых он лично участвовал, называлась «Слуцкий прорыв». В марте 1938 г. Михаил Александрович был награждён юбилейной медалью «XX лет РККА, группу награждённых командиров сфотографировали для газеты «Красная звезда». А в июле того же года, во время отдыха на курорте был арестован прямо за обеденным столом. Его жене, бывшей в положении – уже животик появился, настойчиво посоветовали срочно вернуться в Москву, не подавая вида окружающим, – записал Даниил сообщение отцом.

Павел Александрович якобы входил в группу заговорщиков против тогдашнего наркома обороны Гоношилова. Вероятно, кто-то из коллег донёс или оговорил его под пытками: командиры якобы обсуждали способ устранения наркома, которого они считали некомпетентным для руководства вооружёнными силами страны. Существовал ли этот заговор на самом деле или нет, неизвестно, но мнение о наркоме по сути было правильным: гражданская война миновала более 20 лет назад, и её герои не годились в современных условиях в качестве военачальников. И вскоре после начала войны с Гансонией Властитель №1 снял Гоношилова и Забубённого с высших командных постов. Но в 1938 г. обвинение Павла Александровича входило в печально известный масштабный *заговор* командиров РККА, когда было обезглавлено почти всё руководство Красной Армии и сотни военачальников были отправлены в лагеря или сразу на тот свет – к радости и изумлению фюрера.

Ту историю Даниил хорошо знал, успел многое прочитать, поэтому его куда больше интересовал дальнейший ход связанных с делом событий.

Удивительно, но наказали его не по самой жестокой, 58-й расстрельной статье, дав лишь 5 лет лагерей с ограниченным правом переписки. По тому времени, *детский срок*. Попал он в Заполярье. В 1943 г., ещё во время войны, когда его лагерный срок истёк, наивный дед с радостью написал Варваре, что «мы скоро будем там, где все», т.е. на фронте. Увы...

В лагере дело Павла Александровича решилось иначе, чем он думал. Вместо освобождения и отправки в действующую армию его ждал пересуд и новые 5 лет, которых он не пережил. Зимой того же года он умер, как сообщили позже жену, «от воспаления лёгких», что, видимо, было правдой.

Некоторые родители относятся к своим маленьким чадам, как к большим, а другие – к большим, как к маленьким. Даня сызмалетства ощущал отцовское стремление говорить с ним, как со взрослым, и ему это льстило. Сергей Павлович по натуре был сухим и малоэмоциональным, занятия преданиями старины глубокой, и не славянскими, а западноевропейскими, позволяли ему погрузиться



в мир, далекий от треволнений сегодняшнего дня, изолироваться, запереться в капсулу. Так было спокойнее и безопаснее. Даниил вырос совсем иным, отцовское влияние прошло по касательной, если вообще существовало.

О том, что происходило после ареста главы семьи, он в общих чертах был осведомлен из прежних воспоминаний отца. Урывистые, без особых деталей, такие же сухие, как излагавший их человек, воспринимаемые на слух, без записей разговоров, они требовали уточнений, и Даниил начал вновь дотошно выпрашивать отца, как же все было.

Сергей Павлович посвящал в подробности жизни матери и себя самого, росшего без отца и какой-либо помощи. Тетрадь полнилась новыми и новыми страницами, испещренными корявым, некрасивым почерком сына.

*«Моя мама, твоя бабушка Варвара рассудила верно, означив путь к спасению, – отец в последние годы жизни говорил медленнее прежнего, тянул, порой буквально выдавливал из себя слова, задумывался, подбирая более точные формулировки, то и дело снимал очки в толстой оправе с выпуклыми стеклами, отчего выглядел по-детски растерянным, не похожим на себя. Больше всего, по его откровенному признанию, боялся старческой деменции. Занятия наукой давали, как он считал, некоторую гарантию, что такого с ним не случится и он не превратится в овощ. Отец сильно похудел, лицо вытянулось, на лбу и лысеющем черепе обильно проступили пигментные пятна, в глазах маячил испуганный блеск. Даниил жалел его. – Да, путь к спасению... И в лагере, и на воле требовалось хорошо соображать, не делать лишние потуги – в противном случае шансы выжить становились минимальными».*

Мама Варя, так маленький, родившийся вскоре после ареста отца Сережа по мере взросления называл ее, действовала решительно и ответственно. Сначала она, как многие родственники арестованных, ходила на Лубянку, принося мужу передачи. Но после третьего раза человек в приёмном окошке сказал ей: «Не ходите сюда, берегите себя и детей». Возможно, пожалел красивую, еще не сломленную отчаянием и одиночеством женщину. И она приняла верное решение. Вместе с грудником Сережей исчезла из поля зрения органов. У них была хорошая квартира и ценные вещи – бросив

всё, мама Варя сумела быстро найти в столице тихий уголок. Как его назвать? Это был квартал для самых нищих и обездоленных, прямо у станции метро, носившей имя Властелина, на площади перед огромным и помпезным, с колоннами, кинотеатром «Родина». Десятки одноэтажных деревянных и очень старых домишек у подножия «Родины» образовывали как бы одно поселение, без смывных туалетов и горячей воды, с керосинками и примусами, наличествовали лишь свет и холодная вода – и на том спасибо. Милиционеры сюда особо не совались.

Записывая рассказ отца, Даниил отметил в тетради нарочитую символику соседства убогих строений с киношкой с громким именем – другой родина как местожительство для обездоленных и не могла быть.

Маме Варе удалось найти мужика, прописавшего её и сына за 10 рублей в месяц. Через какое-то время он перестал брать и эти деньги. Да и было ли за что? Лачуга площадью три с половиной квадратных метра, с крохотным, выходящим прямо на кинотеатр, оконцем, по бокам две кровати и подобие платяного шкафа. И вот в этом жилище мать и сын прожили 17 лет, с 1938-го по 1955 год, до реабилитации Петра Александровича.

После этого маме Варе вернули, как ни странно, кое-какие вещи из их квартиры 1938 года. Она направляла письма в инстанции, искала связи, знакомства, проявляя невероятную активность, и – о, чудо! ей и сыну предоставили благодаря хлопотам комнату в районе новостройки в трехкомнатной квартире 9-этажного панельного дома.

*«Бабушка твоя, – продолжал вспоминать Сергей Павлович, – была до ареста мужа женой офицера высшего комсостава, образованной и грамотной, но специальности не имела и не работала при муже. А после его ареста надо было всё начинать с нуля. Представь: она сумела стать фармацевтом и все годы проработала в соседней с нашим новым жилищем аптеке. В голодные 1946-1947 гг. спасала меня и себя рыбьим жиром в бутылочках, народ им почему-то брезговал...»*

Бабушку Даня помнил смутно, жила она в маленькой «однушке» на юго-западе столицы, с приплатой выменяла ее за ту самую,

полученную за репрессированного мужа, комнату. На даче бывала наездами, не хотела мешаться под ногами – «там и без меня народу хватает». Бабушка ласкала внука, целовала, усаживала к себе на колени, а он норовил побыстрее соскочить – от бабушки пахло не так, как от остальных, чем-то затхлым, а еще нафталином, как в платяном шкафу. Братьев и сестер у Дани не было, повзрослев, узнал, что мать в молодые годы сделала аборт и долго не могла рожать, так что его появление на свет оказалось неожиданным. Мать работала с Даниным отцом в одном институте, но не преподавала, как он, не писала монографии и не защищала докторскую, а занималась архивными изысканиями. Часто пропадала на работе допоздна, ездила в командировки, воспитанием сына в основном занимались домработницы. Бабушка в этом процессе тоже участвовала, но не слишком активно – ей уже стукнуло восемьдесят, болели колени, она с трудом передвигалась.

Умерла она, когда Даня уже пошел в школу. По стечению обстоятельств, случилось это в ноябрьский день кончины генсека Леонида Ильича, героя анекдотов и баек, жалкого шамкающего рамолика, в прежние годы красавца, покорившего не одно женское сердце; личности, в сущности, беззлобной, безвредной, хотя и коммуниста; любившего мирские радости и дававшего жить другим. Над ним в финале его жизни посмеивались, но потом принялись одобрять совершенное страной под его руководством, тепло его вспоминать, особенно в сравнении с теми, кто правил после него.

Занося в тетрадь новые и новые записи, Даниил нет-нет и спрашивал себя: был ли я лучиком света и счастья для занятых наукой родителей – и не находил исчерпывающего ответа. Вернее, ответ внутри имелся, но рождал полынную горечь и обнародовать его не хотелось. Что значили для меня близкие и что я значил для них, верил ли я в любовь, сполна ли дарил тепло окружающим...

И как-то сами собой легли в тетрадь слова некогда боготворимого, а по прошествии лет разочаровавшего писателя-горестника, слова эти не имели прямого отношения к Даниилу, не вытекали из его судьбы, но почему-то отдавались болью и терзанием: *«Я – стебелек, растущий в воронке, где бомбой вырвало дерево веры».*

## 11

Вечером, едва завершилась намеченная заранее дискуссия, Дан предложил устроить пьянку, или, как изящно выразился, – *пирушку*. Юл поддержала. Дан пригласил Лео – парень вызывал симпатию. Услышав о готовящемся застолье, напросилась Капа – соседка Лео по столу, молодящаяся особа в блондинистом парике. По-женски внимчивая Юл отметила, что та крутится вокруг рыжего, оказывает всяческие знаки внимания, видно, очень хочет *дать*, но тот, как заметила Юл, вполне равнодушен. Дан пожал плечами – пусть приходит.

Стол соорудили в складчину: извлеченные из холодильников банки и пакеты с едой пришлось кстати. Верные традиции не довольствоваться в поездках и командировках скудной казенной пищей, многие участники эксперимента – Дан был исключением – захватили кто что смог достать (никто не ожидал такого изобилия в пансионатской харчевне на фоне убогой кормежки всюду и везде). В мгновение ока глазу предстали маринованные огурцы, помидоры свежего посола, грибочки, сардины, колбаса и даже сало – белое с нежным розовым отсветом и тонкой эластичной шкуркой. Капа похвастала, что сало привезли родственники из соседней страны, с которой была война, приведшая к взаимной ненависти и полному отчуждению. К салу это, впрочем, не имело отношения: его изготавливают в селах по старым рецептам и доставляют соседям, если удастся перевезти через границу, спрятав от таможенников или, как водится, поделившись с ними.

Капа сменила прическу, точнее, парик: классическая стрижка каре с прямым пробором весьма шла ей. Она явно симпатизировала Лео, имела на него виды, оттого почти каждый день щеголяла в новом наряде, зачастую весьма откровенном; будучи не старше Юл, а может, даже моложе, Капа не могла похвастать фигурой – жировые складки на талии и низкая посадка портили впечатление. Да и разница с Лео в возрасте выглядела ощутимо. Запав на рыжие кудри и конопушки, Капа упорно добивалась цели, Лео же не проявлял активности и это выводило ее из себя. К тому же он сейчас нет-нет и поглядывал на круглые аппетитные коленки Юл, что не укрывалось от Капиного зоркого взгляда.

Как часто бывает, ситуация определялась расхожим суждением: если женщина недолюбливает другую, то ведет себя с ней весьма любезно, если же ненавидит, – любезна вдвойне, и потому улыбка и теплота взгляда, устремленного на Юл, не сходила с лица Капы, и лишь в глубине зрачков угадывалась умело скрываемая зависть и злоба.

Дан и Юл устроились на кровати, гости захватили с собой стулья и уселись возле стола, придвинув его к кровати. «Иван Грозный» и коньяк делали свое дело, затеявшийся разговор причудливо вился перепархивающей бабочкой.

...Тремя часами ранее зал заполнился до отказа – свободных стульев не оказалось. Лектор с каштановой шевелюрой-мочалкой, он же ведущий дискуссии (назвал себя на западный манер *модератором*) сменил голубую рубашку на малиновую, с широким открытым воротом, в котором поблескивал золоченый крест, и стал разительно похож на разудалого солиста ансамбля народного танца – казалось, вот-вот пожертвует солидностью, перестанет надувать щеки и пустится в пляс с притоптыванием и прихлопыванием.

Такое сравнение пришло в голову не одному Дану.

– Вырядился, будто на ярмарке вознамерился публику потешать, – с неодобрением отметила Юл.

Модератор со сцены произнес в микрофон вступительное слово, сделав нажим на то, что можно высказываться совершенно открыто, не таясь, ему, похоже, мало кто поверил, и потому вялое начало разговора на дискуссию и тем более на острую полемику никак не походило – жевали сопли, по любимому массажи коронному изречению Властелина №2. Дан заскучал. Приготовился поспорить, даже сцепиться с оппонентами, но с кем и по поводу чего – покамест выглядело туманно.

Кто-то вспомнил, вне связи с темами тлеющего и никак не желающего разгореться разговора, дату – сто лет Великого террора. Не за горами печальный юбилей, будет ли дана отмашка – *отметать*? Возникло некоторое оживление, наперебой стали высказываться, да так, что уши вянули: надо ли копаться в *таком* прошлом, что патриотичное мы в нем найдем? Почему обязательно патриотичное, неужто в истории Славишии не было темных пятен... Еще какие были,

не пятна – полотна целые, но научены из прошлого выколупливать, как семечки из подсолнуха, только возвеличивающее государство, а чего это стоило народу, сколько крови пролилось, это побоку, никого не интересует, а кого интересует, тому право голоса не дают. И модератор поддержал: в прошлом всякое случалось, хорошее и плохое, история как мясной паштет, лучше не вглядываться, как его приготавливают. Амбивалентное отношение наиболее правильное, ибо разжигание страстей по поводу событий столетней давности ни к чему хорошему привести не может.

На том и порешили.

Микрофон потребовал патлатый увалень с простецкой доверчивой физиономией – тот самый, кто интересовался у Профессора возможным влиянием таблеток на потенцию.

– Вот вы, – простер руку в направлении малиновой рубахи, – давеча сказали: «Трудно представить себе общество, где все напропалую врут, где обман – естественный образ жизни». А я такое общество (то ли нарочно искажил, то ли произнес в привычной для себя манере) очень даже хорошо представляю. Это – наше общество. Как-то так. Сверху изрекают, телек транслирует, пропагандоны подъядыкивают, тень на плетень наводят, нанятые за бабки подпёрдыши тут как тут – тошно слушать и смотреть.

Лектор криво улыбнулся, поерзал в кресле. Аудитория притихла, ожидая его реакции, а он молчал.

– Чего затаились, как мыши в погребе? – бросил увалень залу. – Боитесь? И правильно. За такие речи могли упечь совсем еще недавно. Да и теперь могут... Думаете, я смелый? В оборонке тружусь, ракеты собираю, за нами наблюдают, кому следует. Я тоже боюсь. Но кто-то же должен... Народ у нас хороший, люди – говно, – неожиданно подытожил и сел.

В конце зала кто-то заплодировал, его не поддержали.

– Ну что ж, начало положено, – лектор с натугой выпек сочными губами фразу-блин. – Не стесняйтесь, господа, это же дискуссия. Никому не возбраняется высказывать свои мысли, – и сощурил глаз, будто прицелился из невидимого оружия в сидевших напротив, взяв на мушку.

Поднялось несколько рук, лектор выбрал средних лет мужчину с бритым наголо черепом в темной куртке из плащевки с гер-

бом Славишии слева на груди. Такие куртки выпускались массово и стоили копейки, а чаще дарились на официальных встречах и митингах.

– Парень с оборонкой связан, долг патриотический выполняет, укрепляет страну нашу от происков врагов. Молодец! Но кто сейчас на таких заводах не вкалывает? Все вкалывают! Только такие предприятия и работают. Время стрёмное. Однако мысли парня не тем заняты, скажу без обиняков. Не тем! В башке мякина. Его послушаешь – так все вокруг несут незнамо что, врут напропалую, на голубом глазу, и удовольствие получают. Все, сверху донизу. Неправда! Какой урод внушил ему это?! Ты, парень, я к тебе обращаюсь, не отворачивайся, здоровый бугай, а мыслишь глупо, примитивно. Нас в мире уж сколько лет боятся, мы этим гордимся, а ты хочешь, чтобы мы сами себя бояться начали. На чью мельницу воду льешь?! А еще ракеты делаешь... Эх, ты...

Аплодировали погуще, чем увальню.

– Правильно! По делу врезал! –раздался выкрик.

– И постригись, что ты космы отрастил, как западный гомик эстрадный. Стыдно смотреть! – закончил ободренный поддержкой лысый в куртке с гербом.

Да, с этого началось, но керосинчиком в огонь плеснул Лео, и запылило в зале по-настоящему...

Слова он не просил, а перебил даму бальзаковского возраста с пучком скелотых на затылке крашенных, вульгарного карминного колера волос. Та распиналась на счет того, что во времена всеобщей лжи говорить правду по крайней мере глупо и недальновидно, и таблетки не помогут изменить положение. Лео выкрикнул в ее адрес: «Мадам, для чего вы сюда приехали? Вас не вылечишь. Смертельно больному не поможешь, только сам заразишься!» Получилось бестактно, даже грубо, но действительно – женщина поперхнулась, что-то проямлила и смолкла.

Лео получил микрофон от ходивших по залу помощников модератора и громко, напористо начал кидать в зал горячие, как угли, слова:

– Про предыдущую ораторшу ничего говорить не стану, а спорить тем паче – здесь все понятно, диагноз... Тут прозвучало: «Народ у нас хороший, люди говно». Категорически не согласен! Есть

верный способ проверить. Очистить зомбоящик, выгнать вон ведущих ток-шоу, заменить другими, вменяемыми, не заточенными на вранье, за что деньги получают и немалые – и увидите результат. Увидите – и ахнете, уверяю!

– Прежних уже выгнали, пластинку заигранную вроде сменили, – поправили из зала.

Лео не отреагировал.

– Многими годами чушь всякая, глупость и пакость вбивались в наши головы, население зверело, верило всякому бреду, ненавидело всех и вся, особенно укропов и заокеанцев. Думаете, столько же времени уйдет на промывку мозгов? Ни хрена, все быстрее совершится, покатится, как под горку, и мы себя и других не узнаем. И таблетки правды не понадобятся. Выяснится, что разум остался у народа, и доброта и сострадание, и вовсе он не плох и не безнадёжен, народ наш многострадальный, обремененный историей, в жерновах перемолотый... И вообще, что, по-вашему, лучше: хотеть и не получить или иметь, но потерять? – закончил загадочно-туманно.

Лео аплодировали неистово – похоже, хотелось верить в такой исход, приподнимавший в собственных глазах. И даже повергшая в недоумение последняя фраза – на что рыжий намекает? – не изменила отношения к его выступлению.

Дан хотел было выступить, но замешкался – микрофоном завладел сидевший неподалеку мужчина с брылястыми щеками и презрительно, кичливо оттопыренной нижней губой, трудно было понять, таково ли анатомическое строение мышц лица или безобманчивое отношение к роду человеческому. Впрочем, розно это не существует.

– Прекраснодушные мечтания! – он сразу взял высокие ноты, тонкий, вибрирующий голос не соответствовал его облику. «Пузырь», тут же прозвал его про себя Дан. – Кто же за просто так отдаст приказ просветлить телевизор? Дурних нема! Попробовали при Преемнике и назад вернулись, к прежнему, проверенному. И правильно сделали!

– Не согласен! – Лео без микрофона пытался перекрыть возникший шум. – Та попытка была робкой, застенчивой, как поцелуй девицы невинной. Требовалось по-живому резать, последствий не страшиться, народ бы в конце концов поддержал, я уверен.



– Кто же себе в ущерб делать будет, мил человек? – ослабился «пузырь». – Власти невыгодно зомбоящику мозги вправлять. Так ведь далеко зайти можно – понятия вроде «либерал» или «демократ» снова в ход пойдут.

– Их уже реабилитировали! – выкрикнули с другого конца зала.

– Не до конца, не до конца, слава богу, – гнул свое «пузырь» и выдавливал самодовольную улыбку.

– Надо еще раз попытаться. Прежде опыта как можно говорить о результате... – не сдавался Лео.

– Ты, рыжий, с чужого голоса поешь! – «пузырь» пошел в атаку.

– И внешность у тебя того... сомнительная. Часом не тайный член КСС – Комитета спасения Славишии?

– Молодец, по самые помидоры чмошнику засадил! – поддержала «пузыря» дама с пучком крашенных волос, которую Лео бестактно оборвал несколько минут назад. Придя в себя, она спешила взять реванш. – КСС почти как КПСС звучит... Эмигрантское отребье воду мутит из-за бугра, комитеты разные создает, а нас спасать не надо, мы сами себя спасем – и остальной мир, в дерьме погрязший...

Обстановка накалялась, модератор бегал по сцене, пытался урезонить спорящих, слова его тонули в гвалте перепалки. Лео отбивался и нападал, его пытались зашикать, некоторые вступились за него, и началась форменная буза...

Внезапно в перепонки ударило мощное и гулкое, как эхо разрыва снаряда:

– Господа, прекратите базар! Того гляди, в глаза друг дружке вцепитесь. Призываю к спокойствию, иначе всех выведем из помещения.

Предупреждение исходило из кинопроекторной аппаратной, она возвышалась над последними рядами. К аудитории обращался невидимый страж, кто, надо полагать, имел на это полномочия. Двери выходов, как по команде, раскрылись, в проемах возникли парни в строгих черных костюмах.

Люди по-прежнему галдели, что-то выкрикивали, размахивали руками, строгое предупреждение никого не урезонило. Модератор не стал дожидаться тишины и пролаял в микрофон:

– На сегодня все! Спасибо за внимание!

...Выпили по рюмке «Грозного», закусили салом. Дан обильно смазал ломтик предусмотрительно умыкнутой из столовой горчи-

цей – получилось круто, нёбо загорелось, терпкая острота ударила в носоглотку, выступили слезы. С трудом отдышался.

– Модератор сегодня провалился, – ему не терпелось обсудить дискуссию. – Вертелся, как уж на сковородке. – Что меня в самом начале задело... Нет, не задело – вывело из себя, взбесило... Моего деда-военного в ГУЛАГе сгноили. Так вот, упомянули в дискуссии мимоходом репрессии, почти сто лет Великому террору, а кто про это помнит и знает – в исторических книгах не пишут, а те, в которых написано – те под спудом, из библиотек и магазинов изъяты; в учебниках школьных и вузовских скороговоркой говорится, народ слышал звон и не более: вроде по лагерям распахали массу людей, а за что, почему, как – неведомо, оттого по опросам не оправдывает и не осуждает – дескать, время было такое.

Дан произнес тираду громче обычного, посредине бутристого лба билась, словно в конвульсии, голубая жилка.

– Кто-то вычислил: если каждого погибшего в войне с Гансонией помянуть минутой молчания, мир останется безмолвным сто лет. А сколько будет молчать, если жертвы лагерей вспомнить?

– Да уж не меньше пятидесяти, а может, и больше, – бросил Лео.

– И что мы услышали от малиновой рубахи? – гнул свое Дан. – Пустой извод слов, сплошной порожняк, мудреное, не всем понятное слово – амбивалентное. Амбивалентное, ети его мать! Голимый идиот... Жалею, что едва бред этот услышав, не вступил в спор, промедлил, а вокруг загундосили: надо ли копаться в *таком* прошлом... Не надо – в едином порыве решили. А почему не надо?

– А потому, – подхватил Лео, – что среднестатистический молодой человек – я о нем сейчас – даже продвинутый, поразмышляв, придет к выводу: было у нас ужасное прошлое и было замечательное прошлое, одно другим уравновешено и не следует большую тему трогать. Так большинство думает – из тех, кто вообще еще способен размышлять. А другие, их мало, прискорбно мало, иной вывод составят: чем больше человек думает, осмысливает бывшее и настоящее, тем труднее его обмануть, лапшу на уши повесить.

*Рабы, своими мы руками  
С убийцами и дураками  
Страну мы вколотили в гроб.*

Ты жив, – так торжествуй, холоп!  
 Быть может, ты, дурак, издохнешь,  
 Протянешь ноги и не охнешь:  
 Потомству ж – дикому дерьму –  
 Конца не будет твоему:  
 Исчезнет все, померкнут славы,  
 Но будут дьяволы-удавы  
 И ты, дурак из дураков,  
 Жить до скончания веков.  
 Убийством будешь ты гордиться,  
 Твой род удавий расплодится, –  
 Вселенную перехлестнет;  
 И будет тьма, и будет гнет!  
 Кого винить в провале этом!  
 Как бездну препоясать светом,  
 Освободиться от оков?  
 Тьма – это души дураков!..

Лео читал с пафосом, беря вирши в союзники.

– Чье это? – спросил Дан.

– Пимен Карпов. Из крестьян, поэт Серебряного века, еще прозу сочинял, пьесы. Я на него случайно наткнулся, талант от Бога. Ну, с таким талантом при большевиках жить тяжело. Завели на него уголовное дело, печатать перестали. Только в годы оттепели книга его вышла, и то потому, что считали автора давно умершим. Скончался же Карпов в 1963-м, похоронен на кладбище родного села...

– Да, за такие стихи запросто могли..., – заметил Дан.

– Класс! – Капа пальнула в Лео фантомным лучом неостывающей, как угли в загнетке, надежды. – Память у тебя замечательная, чего только не удержишь в голове...

Лео чуть прижмурился – неприкрытая лесть покорила. Дан и Юл обменялись понимающими взглядами: Капа своего добьется, не мытьем, так катаньем. Любопытно, кто она такая и что привело ее в пансионат...

Будто услышав немой вопрос, Капа налила водки всклянь в пластмассовый стаканчик, махом опрокинула в рот, по-мужски крякнула, запила минералкой и пошли откровения:

– Прадеда моего как кулака на Север сослали с семьей, жена и детишки, мал мала меньше. Корни наши кубанские, до революции прадед торговал, а после разгрома торговли, в советскую власть, получил от нее землю на одного человека по одной десятине и стал крестьянствовать. Станица в тридцатом году насчитывала тыщ сорок населения. Сообщалась трамваем с городом. Имелись три начальных школы, одна средняя, техникум кооперативный, кинотеатр, изба-читальня. Вода для питья артезианская, колонки были с водой этой по всей станице. В общем, все как у людей. Хозяйство у прадеда: две лошади, одна корова, куры. А также необходимый хозинвентарь для обработки земли, телега, сараи, конюшня, коровник, погреб... Жили небогато, средненько. Часто задаю себе вопрос: за что их раскулачили? За их труд тяжелый, за честность...

Мне бабушка кое-что рассказывала. Поначалу я не верила – неужто правда? Потом поняла – так и было. Бабушкин рассказ записала, внуки и правнуки пускай знают, что творилось... Февральской ночью постучали в дом, вошли двое вооруженных, приступили к обыску. Запретного не нашли. С прадедушки валенки сняли, у прабабушки платок с головы содрали, а у детей куклу вырвали и бросили в кучу посреди комнаты. Хозяину сказали, что он арестован. А жене – чтобы сухари сушила, так как вся семья будет выслана на Север и путь будет далекий. Отца увели с собой. На следующий день было описано все имущество в доме и во дворе, а также – скот. И дней пять увозили имущество, зерно и увели скот. Оставили только пару мешков муки. Это на питание до высылки и в дорогу. Ночью приехали на подводе. Разрешили взять кое-какую одежку, обувь, и кое-что из вещей, постельное белье и нательное, вспоминала бабушка. Все это завязали в узлы, так как чемоданов не было. А дальше – город, станция, большой товарный состав. Началась загрузка высланных. В вагоне семей было много. Через некоторое время привели под охраной накануне арестованных отцов, загрузили в вагоны, где их семьи. И поехали в новую жизнь.

– Скольких душ семья не досчиталась? – спросила Юл.

– Половина померла. Маленькие детишки. Не сразу, потом...

Капа снова налила себе водки. Выпила тихо, что-то прошептала, перекрестилась, похоже было на поминание.

– Ну вот... Поселок, в котором их разгрузили, – из шалманов и палаток. Шалман – из досок, снаружи толем покрыт. По бокам нары. По краям шалмана две железные печки. Освещался фонарями. На нарах спали, ели, сидели. Бабушка вспоминала: «Бывало, проснешься в морозные дни, а волосы примерзли к стенке».

Привезли, как было предписано, два мешка ржаной муки, положили под нары, подоспело начало апреля, пошли грунтовые воды, вся эта мука заплесневела, в комья превратилась, готовить из нее можно было только болтушки. Да еще воду грели, чая не было... Когда появились ягоды, стали ходить по ягоды. Черника спасала, собирали много, продавали по пять копеек стакан. Бабушка за лето себе на туфли накопила, на учебники для школы. Она собирала, а продавала мама по воскресеньям.

Спецпереселенцы, так их называли, паспортов не имели, взамен – справка, не дающая права выезда за пределы города. Материальное обеспечение несравнимо было с вольнонаемными, у тех на Крайнем Севере льготы, а спецпереселенцам шиш. Из нищенской зарплаты еще удерживались проценты на содержание комендатуры НКВД.

Прадед работал на руднике, добывал апатит, ни на минуту не забывая, кто он есть и как к нему и другим бывшим «кулакам» власть относится. Дочка его, то есть бабушка моя, бывало, приедет к нему уже в поздние годы, а он сидит в рубашке с продранными локтями. «Пап, ты бы хоть рубашку нормальную надел». – «А зачем? Сейчас я как настоящий бедняк. Надену рубаху – буду опять «кулак». За столом повисла тишина. Первым нарушил молчание Лео:

– Даже Адольф бесноватый выглядит лучше в сравнении с Усатым отцом народов – он гансонцев не уничтожал, геноцид своему народу не устраивал, за исключением коммунистов и евреев. Ему рабочие руки нужны были и будущие солдаты. А мы отбеливаем прошлое, начисто забыв, что с нашими предками вытворяли правители. Да какой другой народ выдержал бы?! И еще удивляемся, почему он именно такой, рабски-покорный, славословящий власть... А ты, дорогая моя (Капа мигом расцвела, окатив нежным взглядом), знаешь ли высказывание Александра Ивановича Герцена, – Лео уже поддал и речь его зазвучала с мягкими бархатистыми обертонами. – Будто клеймо, тавро поставил: «Дворянство, литераторы, ученые

и даже ученики повально заражены: в их соки и ткани всосался патриотический сифилис».

– Не знал этого выражения, – с сожалением отреагировал Дан. Слегка наклонив голову набок подобно птице, которая с любопытством рассматривает со всех сторон незнакомый ей предмет, он глядел на сидевшего напротив рыжего парня с отчетливо проступившими, как на переводной картинке, веснушками – наверное, следствие выпитого. – Из «Колокола?»

– Оттуда.

– Я, может, и не все понимаю в нынешней жизни, – Капа порозовела, расстегнула верхнюю пуговицу блузки. – Но если при мне хвалить начинают Усатого, как ты, Лео, назвал его, вспоминаю бабушкины рассказы, и такая злость во мне закипает, что себя начинаю бояться. Я в такие минуты неуправляемая, – слегка выпучила нижнюю губу. – С работы едва не вылетела, дав бабе одной в рыло, когда та Усатого назвала великим, сплотившим нацию. Ни фиги себе сплочение – на крови человеческой!

– Ты у нас, оказывается, боевая, – в словах Лео не было иронии.

Помолчали, выпивка почему-то не шла, сам собой возник разговор о скором отъезде из пансионата, проверке на детекторе лжи и прочих моментах; Дан уверял, что толку в эксперименте нет никакого, таблетки – фикция, кому-то взбрело в голову, наверняка деньги выделили немалые, надо распилить, вот и придумали эту хреновину; Лео, напротив, полагал, что эксперимент удался, неважно, помогут просветлению пилюли или не помогут, главное, *нас разговорили*, так что устроителям есть над чем подумать.

– Погоди, Лео. – Юл поерзала на кровати, приподнялась, машинально одернула смявшуюся юбку, однако колени открылись еще откровеннее, а при желании можно было рассмотреть и нечто большее, Капа на мгновение помрачнела. – Погоди... Вот ты спорил с лектором и что-то там про пса и блевотину, а еще про свинью. Просвети, пожалуйста, я ничегошеньки не поняла.

– Милая Юл, если бы ты знала, с какой радостью я бы про это не говорил... Я как Фигаро: хочу посмеяться над всем, иначе пришлось бы заплакать. Увы, со смехом не очень получается.

– А ты анекдот какой-нибудь расскажи, посмеемся вместе, – ввернула Капа.

– Ну, разве что специально для тебя, моя прелесть. – Лео неожиданно приобнял запунцовевшую, глубоко задышавшую Капу. – Про трех блондинок, попавших на тот свет. Анекдот богохульный, предупреждаю.

Капа машинально поправила светлый парик. Жест выглядел неуместным – получалось, анекдот и впрямь посвящался ей, а уж в каком виде будут представлены блонды, нетрудно догадаться.

– Три блондинки попали на тот свет. Встречает их апостол Петр. «Девочки, хотите в рай?» – «Хотим, хотим!» – «Тогда давайте маленький интеллектуальный экзамен проведем. Ответьте, пожалуйста, на вопрос: что такое еврейская Пасха и какое историческое событие произошло в этот день?» Первая блондинка говорит: «Еврейская Пасха это когда варят, жарят, парят много индейки, все объедаются и болеют потом животами». «Отойди в сторону», – приказывает апостол. Вторая блондинка: «Это когда красят яйца, светят куличи, все христосуются». «Отойди в сторону», – приказывает апостол. Третья: «Это когда Иисус собрал учеников, они разговаривали, совершали чудеса, например, воду в вино перегоняли, потом нехороший человек предал Иисуса, его распяли на кресте и захоронили в скале, но никто не знал, где. И все это происходило в день еврейской Пасхи». – «Замечательно!» – воскликнул апостол. – «Но я еще не все сказала. Каждый год в начале февраля кто-то откидывает камень, он выходит из скалы и если видит собственную тень, зима продолжается еще шесть недель...»

Сидевшие в комнате зашлись от хохота – Дан аж скрючился и пролил водку из стакана. Лишь Капа сидела с каменным лицом и недоуменно глазела на мужчин и Юл – а что здесь смешного?

– Я не поняла, – призналась.

– Капа, милая, вспомни заокеанскую традицию вынимать сурка из норы и по тени от него определять срок прихода весны, – объяснил Дан.

– Так это анекдот про заокеанских блондинок?

И снова хохот, залихватый, утробный. Громче всех, нарочитее, получилось у Юл. Капа тоже натужно выдавила гримасу-улыбку.

– Да, повеселились от души. Спасибо, Лео, классный анекдот... Но вернемся к нашим баранам, то бишь к псам и свиньям, – Дан вернул разговор в прежнее русло. – Ты, Лео, апостола Петра вспо-

минал: *«Но с ними случается по верной пословице: пёс возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идёт валяться в грязи»*. Правильно излагаю?

Тот мотнул кудрями в знак подтверждения и дал пояснение:

– Что означает выражение «пёс возвращается на свою блевотину»? Каждый делает то, что свойственно его природе: свинья – валяется в грязи, собака – подъедает свою блевотину. Человек, познавший Господа, но не позволивший Ему изменить себя, в конце концов возвращается к своему прежнему мирскому образу жизни и погрязает в привычных для него грехах. В Ветхом Завете царь Соломон объясняет это высказывание так: *«Как пёс возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою»*.

– Иными словами, нормальный человек, у которого мозги не набекрень, должен, обязан различать добро и зло, верно? – Дан искал поддержку Лео. – Различать ложь и правду, но это если голова не заморожена, как у нас у всех, граждан Славишии. В той или иной степени, – поправился.

– И все-таки, во времена всеобщей лжи говорить правду глупо, – ввернула Капа. – А что, лектор, может, не так уж и неправ.

– Твой лектор – мудака, – как припечатал Лео. – Ну да, позиция весьма удобная: находить оправдание своим поступкам, – Лео взял пальцами ломтик сала, отправил в рот, посмаковал и прижмурился от удовольствия: – В жизни не едал такой вкуснятины.

– Еврей ест сало и нахваливает, – оглушительно захохотала Юл.

– Я не еврей, между прочим. С чего ты взяла?

– По внешности сужу. Кудри рыжие, конопушки...

– Внешность обманчива. Хотя меня часто принимают за еврея, это правда... – и после паузы, вздернув плечи, заметил раздумчиво: – Может, и есть капелька иудейской крови, но если и есть, совсем неплохо.

– И правильно, быть евреем сейчас не зазорно, – ввернула захмелевшая Капа. Дан поежился, Юл махнула рукой: чего тут обсуждать, Лео сдвинул брови – реплика не понравилась.

– Зачем врать, коль и так верят? – непонятно было, к кому или к чему относилась новая фраза Капы, обмахивавшейся бумажной тарелкой в виде веера. – Фу, взопрела...

– Инда...



– Чего инда? – не поняла.

– Ничего. Классику знать надо, – неожиданно для себя самого резко, с вызовом ответил Дан. Капа вылупилась на него и как ни в чем не бывало:

– Постоянно резать правду-матку – идиотство, и постоянно врать – плохо, золотая середина нужна, – не умолкала она. – Ты же мужу не говоришь о своих изменах. И он своих баб скрывает. И все существуют нормально, пока кто-то кого-то не уличил.

– Хрень собачья, – взъелся Дан. Особа в парике начинала злиться. – Жена, муж, измены... Кому это интересно? В одной книге умной написано: герой беседует с гомункулом, спрашивает, как различить добро и зло – ведь зло часто выступает в личине добра, и это на каждом шагу. Существо из колбы разъясняет: «Если то, что ты делаешь и чему учишь, тяжело тебе, значит, ты делаешь доброе и учишь доброму. Если учение твое принимают легко и дела твои легки тебе – значит, ты учишь злomu и делаешь зло».

– По стечению обстоятельств героя умной книги, которую ты упоминаешь, зовут Дан, – Лео улыбнулся и лицо его приобрело особое, почти торжественное выражение первооткрывателя некоей истины.

«Этот рыжий – образованный малый, ничего не скажешь», – подумал Дан с долей зависти – в его возрасте я знал много меньше...

– Мне мысль пришла здесь, в пансионате, – заторопилась высказаться Юл. – Ложь, если вдуматься, это ведь и есть зло, ненависть, а правда – любовь, добро. Разве не так?

– По твоей логике понятно, почему зло перевешивает добро, а ненависть – любовь, – Капа вытерла салфеткой вспотевшие щеки. – Вранья-то куда больше...

– Может быть, – не стала возражать Юл. Сидевшую напротив завистницу она не воспринимала и вовсе не жаждала вступать в спор.

Разговор перепорхнул на имена: знаменитый режиссер пару лет назад снял дорогостоящий исторический сериал о победоносных войнах Славишии: в кинотеатрах сериал побил рекорд по сборам, гоняли его по зомбоящику несметное количество раз, получалось, что всегда, без исключений, на нас нападали и страна вынуждена была давать отпор, а сама никогда ни на кого... Чистая заказуха. И ведь талантом бог режиссера не обделил, а вот поди ж ты...

– Подлинный талант, скажем, литератор, режиссер, художник, по сути своей либерал, – Лео произнес с нажимом на последнее слово. – С властью под ручку не ходит, не ластится к ней, ему это органически чуждо, он по другую сторону, а бездарность всегда консервативна в нашем, славишском, убогом варианте – так и норовит примазаться к власти, без мыла в жопу влезть. Надо же чем-то компенсировать творческую немощь.

– Не вполне согласен. А как быть с теми, в чьих талантах сомнения нет, и вдруг перевертышами стали, несут такой бред, что диву даешься.

– Дан, есть, конечно, продажные шкуры, на них пробы ставить негде, есть трусы, есть такие, кто уверяет власть: ребята, я – свой, не трогайте меня, только дайте заниматься любимым делом. Но едва совершили насилие над собой – так мигом испарился талант, словно кто-то невидимый не простил измену и наказал. Примеров полно. Тот же режиссер...

...Пьянка завершилась за полночь. Разошлись с объятиями и поцелуями, как старые приятели. Лео и Капа шли по коридору, обнимая друг друга за талии – похоже, рыжему сегодня не отвертеться, подумал Дан, глядя им вслед.

Юл осталась у него, угомонились они часа через два и заснули, не размыкая объятия. А на рассвете, по дороге в туалет, Дан углядел в щели под дверью клочок бумаги. Поднял, прочитал первую строчку и, не останавливаясь, прочитал залпом остальное, один и второй раз. И пропал сон, в кровати под тяжелое похмельное дыхание Юл он обдумывал смысл записки Лео. Нашел-таки рыжий время сочинить... Видать, Капа не слишком мучила, а может, и вовсе ничего промеж ними не было.

*«Дорогой Дан! Прости мою навязчивость: мало того, что навверняка замучил вчера своими откровениями, так еще и к эпистолярной форме обратился. Но ощущение, что не высказался до конца, не добрался до сути. Попробую изложить в этой записке...*

*Мне кажется, ты не веришь в прозрение народа, в изменение его травмированной психики в случае, если джойстик зомбоящика (помнишь, в одной из лекций эта штуковина упоминалась) попадет в другие руки и с экрана польются совсем иные речи. Действительно,*

трудно поверить. Попробовали было – испугались и к прежнему вернулись. Как ерничал доморощенный пиит про народ наш, «они илоты, патриоты, их даже голод не берет, они запуганы до рвоты на поколения вперед...»

Все так. Веселуха сплошная. Славишия погибает. Даже точнее, уже плавает кверху брюхом, но воняет пока не слишком сильно. В столицу только иногда запашок приносить начинает. Ветерком восточным. Многие считают, и ты, похоже, в их числе: «генетический код» славишцев особый, определен историей тысячелетней, рабством, тиранством Властелинов, миллионами безвинных жертв и пр. И потому понятия демократии и свободы закрыты для народа. Не нужны. Чужды ему.

Но позволь спросить: как обстоит дело с «генетическим кодом» корейцев, да и бывших самураев? Как это вдруг они, оказавшись в других условиях, смогли начать движение в сторону открытого общества (в случае норейцев особенно наглядно – каким разным может стать народ в принципиально разных обстоятельствах). Да и гансонский опыт говорит о многом: до сих пор травмированные жизнью под «реальным социализмом» восточные гансонцы отличаются от своих западных соотечественников склонностью к экстремизму, воинствующему национализму, жуткой нетерпимостью и так далее. У них, что, иной генетический код? Да и вектор движения дореволюционной Славишии был в сторону более открытого общества, вызвав, правда, опасное противодействие, которое, впрочем, не обязательно должно было восторжествовать, если бы не катастрофа Первой мировой войны, открывшая дорогу большевикам к власти. Другое дело, что отрицательная селекция революций, войн, террора и так далее, конечно же, сильнейшим образом и надолго травмировали нацию (в западном смысле этого термина).

Но смотри: стоило Никите чуть-чуть, самым малым образом, приоткрыть общество, снизить давление государственного прессы, как сразу же, как грибы после дождя, стали вырастать оруджавы, высокие, вознесенские, а также менее знаменитые, но столь же свободолюбивые и достойные люди. Появились тысячи и тысячи поклонников свободы. А вспомним ненавистного многим и многими чтимого Михаила Сергеевича!.. И, наоборот, когда Властелин номер два и его мастера массового гипноза пресс снова вдавили в общество,

*оно стало быстро схлопываться. Оскудение сознания, предательство либеральных идеалов интеллигенцией. То есть интеллигенция сейчас в куда худшей форме, чем в прежние времена! Не верю в роковой и непреодолимый генетический код. Дайте лет десять свободного телевидения и не узнаете страну. А может, и пяти хватит. Я об этом вчера во время обсуждения доклада говорил...*

Хотя травмы прошлых лет плохо заживают, чреватые рецидивами, с этим не поспоришь. Так мне кажется...»

## 12

*У входа в столовую вывесили баннер с написанными от руки словами: «Со Славиишей можно дружить – она добродушна. Со Славиишей можно сотрудничать – она честная. У Славииши можно попросить – она щедрая. Славиишу можно обмануть – она доверчива. Но со Славиишей нельзя воевать – она непобедима». (Властитель №2)*

В левом углу баннера был запечатлен человек в полный рост, он держал в руках созданный им автомат, очень похожий на гансонский шмайсер – оружие добра и культурный бренд Славииши – так его именовали. На баннере легко угадывалось изображение восьмиметрового памятника в столице, от лицемерия его многих бросало в дрожь; создатель автомата разглядывал свое изделие, как Страдивари – свою скрипку, с той лишь разницей, что скрипка не умертвила миллионы человек, а сеяла лишь радость и восторг.

Еще вчера баннера не было и в помине, а сегодня – вот он, пожалуйста, внимайте, вникайте, осмысливайте. Надо полагать, это почерк автора высказывания, которого прежде Дан не слышал, а работая над романом, тем самым, опасным, подпольным, собрал многие десятки коронных фраз своего героя, разобранных на цитаты, но эта фраза в его списке отсутствовала. Хм, странно... Характеристика родной страны выглядела безупречной, однако каждый посыл к ее великолепным качествам вызывал в Дана внутренний протест. Наверное, потому и вывесили баннер, чтобы лишний раз воздействовать на нашу психику, на еще не утилизированные мозги, решил Дан и направился к своему столу.

Юл привычно опаздывала к завтраку. Уговора ходить на тра-

пезу вместе у них не было, Дан поэтому не стал ее будить и сейчас молчаливо поедал овсянку, йогурт и омлет, пил минеральную воду, борясь с изжогой. Лео и Капы тоже не было видно.

Смурное настроение не покидало его. Рыжий всенепременно захочет продолжить разговор. А что Дан ему скажет... Пять лет зомбоящика с другим джойстиком – и люди поменяются, внутри без всяких таблеток наступит желанное просветление? Чтобы по-другому начали выкать с экрана, и недели хватит. Команда поступит хаять – будут хаять, хвалить – будут хвалить, и вся недолга. И народ вроде согласится с новыми веяниями, он всегда на все согласный, вот только останется потаенное, запрятанное в самое нутро неверие в сулящих свободу и в существование без страха и унижений, ибо – не привыкли, не ведают, что это такое. И куда деть сонмища начальников всех мастей, для них любые перемены как нож острый, режущий благосостояние, они-то уж точно по привычке станут аплодировать, а в душе проклинать и сопротивляться, ибо для них лафа может закончиться. После первых свободных выборов нас всех повесят, высказалась в порыве откровенности приближенная к Самому дамочка; долгое время руководила славишским телевидением в Заокеании – уж она-то знает, что почему. Покуда никого не повесили... И еще останется – ничем ее не вытравить – ненависть к тем, кого наградили кликухой *пиндосы*, мучительная, пожирающая изнутри, как раковые метастазы, ненависть, замешанная на комплексе неполноценности, в котором никто никогда не признается.

Вползало незаметно, как червяк в яблоко: что-то не то происходит, говорил он себе, иллюзии тают, как подтопленный весенним солнцем тонкий мартовский ледок, и блокнот не заполняется, писать вроде бы не о чем – таблетки, кровь натошак на анализ, а что там выявляется, о том не ставят в известность, молчок, и лекции, фильмы, дискуссии, если можно их назвать таковыми – в общем, скучища и морока. А ты другого ожидал? – прямой вопрос самому себе, остающийся без ответа.

Решив следовать примеру рыжего, Дан набросал ответ за полчаса до завтрака, торопился, писал и зачеркивал, но суть несогласия изложил, как ему казалось, довольно внятно. Теперь оставалось

вручить пару вырванных листков из блокнота и дожидаться ответной реакции.

Дан еще раз перечитал записку. Вроде все логично, складно, но воспримет ли Лео, затеется меж ними разговор или каждый при своем останется...

*«Дорогой Лео! Твое письмо подействовало на меня как наркотик – при том, что затронутая тема отнюдь не является новой, постоянно вертится в голове, обсуждаю ее наедине с собой и кое с кем еще, с кем безопасно, и нахожу, к сожалению, все новые аргументы в пользу своей позиции. Рад бы поддаться иллюзиям, да не могу. Не получается. Особенно когда читаю высказывания, аналогичные тем, что содержатся в твоей записке.*

*Отделяя зерна от половы, давай поговорим по сути. Славишия погрузилась в одиночество, остается изгоем, вопрос, на сколько лет? Думаю, на десятилетия. Страна заплутала в поисках самобытного пути, мы и не Запад, и не Восток, нечто среднее, гибрид, не случайно и войны вели гибридные. Чудище обло, озорно, огромно, стозезвно...*

*Ты упречаешь меня в неверии в народ, в изменение его, как ты правильно пишешь, травмированной психики, если пресловутый телевизионный джойстик окажется в разумных, правильных руках. И сам себе противоречишь, указывая (совершенно справедливо): недавно снова попробовали было – испугались и к прежнему вернулись. Казалось бы, о чем спор? Но несмотря ни на что, ты категорически не согласен с тезисом об особом «генетическом коде» славишцев, заложенном вековечным рабством и в силу этого отсутствием потребности в свободе. Ты убежден: несколько лет свободного телевидения – и все кардинально изменится, люди очнутся, придут в себя, выйдут из замороченки и начнут воспринимать мир и самих себя в реальном, а не искривленном измерении.*

*Ты не одинок, у тебя имеются союзники. Умным людям, пробивающимся всеми правдами и неправдами в Сеть, удастся донести разумные рецепты излечения от морока: скажем, восстановление фундамента верховенства права и политической демократии – никакие другие цели, фиктивные или реальные (экономические реформы, борьба с коррупцией, бедностью, неравенством и т.п.) несопоставимы с этой главной задачей; превращение страны в настоящую Федерацию, с наделением оставшихся после укрупнения*

субъектов финансовыми и иными возможностями, чтобы не клянчили у Центра деньги, а зарабатывали сами, ослабив пресловутую зависимость от столицы, откуда все команды идут; или вот смелое предложение – упразднить властные полномочия президента и превратить Славишию в парламентскую республику, а президент станет декоративной фигурой, вроде британской королевы; ну и прочее, в таком духе.

Пишут и говорят об этом уж сколько лет, сотрясают воздуха, и что мы имеем в сухом остатке? НИ- ЧЕ-ГО. И не будет ничего, и никакие таблетки, которые исправно глотаем, не помогут.

А знаешь, почему? Да потому, что прекраснодушным советчикам, голову ломающим, как страну вывести из потемок на свет, невдомек или лень ответить на элементарный вопрос: **кто будет это все делать, менять и каким образом?** Кто заполучит этот самый джойстик, коль считать, что в нем первопричина? Невозможно представить, чтобы некто добровольно вручил его мифическому господину, имени которого мы с тобой не ведаем, но который станет после стольких лет безнадежного покоя все вверх дном переворачивать. Нет такого господина, а если б и появился, то немедленно сгинул, едва протянув руку к спасительному устройству. Снова повторю за тобой: недавно попробовали было, чуть-чуть, самую малость – тут ж опамятавались и к прежнему вернулись. Страна еще не в таком выморочном состоянии, чтобы рискованные эксперименты ставить.

Просто так никого не допустят рулить страной. Дабы штурвалом завладеть, надобно бунт сотворить, с кровопусканием и насилием, иначе никак – не отдадут. Настоящих буйных мало, пел народный бард. Уточню – их попросту нет, были да вывелись, и народ не поддержит. Генетика срабатывает, атавистический страх новой революции.

Напоследок еще об одном сладком сне. Не перевелись у нас мечтатели о правителе, ставящем целью выбивать вату из голов люмпенов и маргиналов, прививать им навыки нормальных цивилизованных граждан. Прививать стальной волей, вполне безжалостно, невзирая на жертвы – но в интересах самих людей – и государства, в конечном итоге... В общем, хотят видеть хорошего, правильного диктатора, о народе сиром и убогом заботящегося. Вроде Пиночета

или Ли Куан Ю – тот чудо экономическое и финансовое сотворил на крошечном острове, где никаких ресурсов не было и даже питьевой воды – ее импортировали по водопроводу. ВВП на душу населения острова увеличился в 40 раз! Во всех мировых рейтингах в тройку лидеров входит по уровню образования, медицины, качеству жизни. Диктаторски Ю искоренил преступность и коррупцию, казнил направо и налево. Чтобы посадить члена триады, достаточно было трех анонимных свидетелей. Люто расправлялся с любым соратником, заподозренным во взятке... А Чон Ду Хван!.. Генерал, военный переворот устроивший, из отсталой страны конфетку сделал, не только экономически – ввел прямые президентские выборы, снял запрет на деятельность неугодных политиков... После отставки хотели его повесить, потом присудили пожизненное, а потом и вовсе помиловали.

Красивый сон, верно? Ты хоть одного такого правителя славянского знаешь? Покопайся в истории – не найдешь. Неоткуда им взяться. По части злодейств – сколько угодно, а чтобы благо совершить – увы... Как-то так...»

Сегодня утром предстоял просмотр очередного фильма. Юл, едва успев позавтракать, сидела рядом, нахохлившись, не в духе. Даже не улыбнулась. Макияж был набросан явно наспех, чересчур обильная синева в подборовьях придавала лицу хмурость.

– Ты в порядке? – спросил он.

– Нормально. Только не выспалась... после вчерашнего, – и покосилась на Дана.

– Перебрали малость.

– Да не малость, а как следует. Ну, на то и пьянка. А ты захандрил в конце. Секс вроде поправил настроение или мне показалось? – шаловливо ущипнула его за руку.

После ухода гостей они занимались любовью и обсуждали тему измен: для Дана весьма болезненную ввиду истории с женой, но и для Юл далеко не безразличную – и сама грешна была, и от близких мужчин натерпелась. Сошлись на том, что лучше этого не касаться.

Тем не менее, Дан успел рассказать две восточные притчи. Визирь набрался смелости и обратился к султану: «Мой повелитель, не гневайся, если я задам тебе вопрос. У тебя прекрасная, похожая на газель, молодая жена, а ты спишь с кем попало, с прачками, посу-



домойками. Почему?» Султан в свою очередь спросил: «Скажи, ви- зирь, какая твоя самая любимая еда?» – «Плов с бараниной». – «Те- перь представь, что тебя тридцать дней в месяц кормят пловом...»

Юл хмыкнула и понимающе закивала – ну, конечно, вам, мужи- кам, разнообразие надобно.

А Дан продолжал.

– А вот другая притча. В одном большом городе домой после смены на скотобоине возвращался чистильщик. Можешь себе пред- ставить, во что он был одет и как от него пахло. Неожиданно евнухи схватили его и куда-то поволокли. Достигнув ворот большого бога- того дома, евнухи ввели туда чистильщика. Девушки-невольницы помыли его в бане, дали чистую одежду и ввели в покои молодой красавицы – хозяйки дома. Та угостила чистильщика роскошными кушаньями, фруктами, вином. После чего пригласила в спальню, где они провели ночь. И так продолжалось семь дней – каждый вечер чистильщик приходил к госпоже и уходил от нее утром.

На восьмой день его спешно удалили из покоев госпожи – вернулся ее муж, молодой красавец, в окружении конной свиты и солдат. На прощание госпожа раскрыла истинную причину ее вни- мания к чистильщику. «Мой муж изменил мне с девушкой из кухон- ной прислуги. Я застала его на месте прелюбодеяния. И я поклялась, что в отместку совершу блуд с грязнейшим и нечистоплотнейшим из живущих в городе. И мой выбор пал на тебя... »

Юл молчала. Наконец, глядя искоса и с некоторым вызовом, за- метила:

– Мудрая байка. Мы-женщины мстительны и коварны, если нас обижают и унижают. Ни один мужчина не сподобится придум- мать такую месть, какая родится в женской голове. Учти...

– Принял к сведению.

– Однако, я думаю, не все мужья изменяют, это, во-первых, а во-вторых, где найти самого-самого грязного?

– Общество стало бы очень приятным, если бы все женщины были замужем, а все мужчины – холостыми.

– Жаль, что так не может быть. Сам придумал?

– Ну, естественно... Шучу, заокеанец один сочинил. А вообще, чтобы подвигнуть мужчину к измене, достаточно выйти за него замуж.

– Знаешь, рогатых мужиков меньше, нежели разочарованных жен, – парировала Юл.

Фильм начался, и самые первые кадры заставили Дана вздрогнуть и напрячься; сработал тумблер *узнавания*: молочный бар «Корова», эротические женские фигуры с краниками, откуда льется белая жидкость, в том числе с наркотиком – молокаином, потребляемая четверкой подростков бандитского вида; напившись молокаином, они убивают бездомного, дерутся с такой же бандой, устраивают бешеную гонку на машине, *пробуждающую в кишках приятные и теплые вибрации*, насилуют в чужом доме на отшибе жену писателя, а самого калечат, наконец, главарь банды Алекс расправляется с полусумасшедшей старухой в зеленом трико, вонзив в нее скульптурное изваяние огромного фаллоса, и оказывается в руках полиции... И музыка – божественно-прекрасная, тысячу раз слышимая и всякий раз новая – из Девятой бетховенской и увертюры к «Цирюльнику», музыка рождает апокалиптические видения, кровь, под ее аккомпанемент Алекс становится садистом, испытывая от этого наслаждение...

Впервые Даня увидел ленту подростком, в возрасте Алекса, и был потрясен – от сцен насилия ему стало физически плохо, едва не стошнило. Став постарше, посмотрел еще пару раз, прочитал экранизированный знаменитым голливудцем роман и пришел к выводу – ничто, никакой творческий замысел не рождается просто так, спонтанно, по наитию: у каждого замысла есть свое объяснение, своя первопричина. Не избежь и не изнасилуй во время войны с Гансонией четверка негров-дезертиров беременную жену автора романа, не потеряй она ребенка, не став под влиянием пережитого запойной и не умри от цирроза печени, и не услышь писатель в отношении себя вердикт врачей – рак мозга – не был бы написан именно этот роман как подведение жизненных итогов, мучительных раздумий о природе насилия и его неизлечимых последствиях.

Вывод Даниила выглядел далеко не бесспорным: выходит, писатель непременно должен сам пережить описываемое, не умозрительно, не понарошку, а на самом деле, реально – только тогда его перо обретет силу и остроту. Обвинял же известный критик Федо-

ра Михайловича в «ставрогинском грехе» – *растлении малолетней девочки*, то есть в том, что описание этого преступления имеет автобиографический характер. Даниил не верил критику, завистнику и приживалу, и противоречил себе: а как же воображение – главное писательское оружие, тонкий и точный инструмент? Сознывая уязвимость своей позиции, Даниил однако упорствовал, внутри себя продолжал настаивать на ней – нет, пишущий сам должен пройти через многое, упасть в бездну и воспарить в прозрении...

С той поры периодический просмотр этого фильма стал для него необходимостью. Он помнил его покадрово и подпитывался от него, как от аккумулятора, всякий раз обнаруживая новые, упущенные ранее детали.

Юл, не отрываясь, смотрела в экран, подавшись чуть вперед, сжатые в кулаки пальцы до побеления костяшек словно вбирали пульсирующую извне энергию агрессии и непроизвольно реагировали – Дану чудилось, что Юл готовилась к сопротивлению.

...Показ завершился, поплыли титры, в зале зажегся свет, все задвигались, заскрипели стульями, заговорили. Согласно расписанию, после обеда должен состояться семинар с обсуждением увиденного.

До похода в столовую оставалось полтора часа, Юл пригласила Дана к себе. В номере он устроился в кресле у окна, Юл разрешила на дольки два зеленых яблока, достала из холодильника початую литровую бутылку «Ивана Грозного» с ликом на этикетке знаменитого актера с козлиной бородой в главной роли до сей поры популярной комедии про меняющего профессию царя. Содержимое плескалось на дне бутылки – и впрямь вчера крепко поддали. Юл разлила водку по стаканам.

– После такого кина необходимо расслабиться, – и не чокаясь, махом выпила содержимое.

Дан пить отказался, Юл сдвинула брови.

– Не чинись, писатель, давай, как я, залпом и фруктом закуси. Звучало *в ее стиле*, с нажимом, противиться которому он не умел. Мягкая игрушка...

Нехотя отпил, она панибратски подмигнула:

– Вот и молодец.

Села на кровать напротив Дана, сбросила туфли, вытянула ноги.

– Я тебе вот что скажу... Кино-то про нас. Этого гребаного Алекса каким способом отучают от агрессии, отвращают от насилия? Показывают всякие ужасы типа маршировки фашистов под музыку, от которой мороз по коже, ну и всякое такое, плюс пилули – и в итоге вылечивают. На мордобой он не отвечает, на бабу голую не реагирует. И с нами такие же фокусы проделывают, только картинки другие, и лекции. Но, в сущности, цель одна – прочистить, просветлить мозги. Если наш эксперимент с лечением Алекса сравнить, получается одно и то же: ложь – это агрессия, насилие, правда – нормальное, разумное, адекватное восприятие событий. Верно, писатель, я рассуждаю?

– Возражений против твоей логики не имею, – после некоторого раздумья. – Ты – молодец, зришь в корень, – отпустил комплимент, вполне искренний. – Однако прошу: прекрати называть меня писателем. Точно кликуха.

– Ладно, не обижайся. Не буду. Я же просто так, без подкола.

Она порывисто встала, подошла к креслу, села Дану на колени, обняла, поцеловала влажными водочными губами.

– Я баба не шибко умная, но не настолько, чтобы не понять. Кое-что кумекаю. Обрати внимание, чем все заканчивается. Алекса вылечили, избавили от агрессии, вернули в прежнюю жизнь – и тут его *образумили*, то есть уже он сам оказался в роли беззащитной жертвы злобного, беспощадного общества, над ним измываются, мучают и доводят до того, что выбрасывается из окна. К счастью, отделяется травмами, попадает в больницу и там его вылечивают от всего того, что ранее внедрили в его шалую голову – и становится он *прежним*, его перестает рвать при виде насилия и прочего. Теперь повернем к нам, к эксперименту. Допустим, таблетки и впрямь окажутся чудодейственными, приведут наши затраханые мозги в норму, а дальше что? А дальше мы вернемся туда, откуда пришли. А там те, кто нас не поймет, не оценит, напротив, выплеснет на нас всю злобу накопившуюся: кто вы такие..., еще поучать нас вздумали... Ты веришь, что таблетками начнут пичкать остальное население? Их никто принимать не станет, заставить же невозможно, не хватит сил и средств. И останемся мы одни, чужие и опасные, а, в общем, на хрен никому не нужные.

– Всех поголовно излечить от теле- и прочей дурости невозможно. Но достаточно небольшого передового отряда здравомыслящих, они-то и создадут условия перемен. Революции, между прочим, делают не народные массы, а тысячи и даже сотни людей.

– И ты веришь, что получится? Только честно.

– Не знаю... По натуре я скептик.

– Допускаешь ли иной вариант? Эксперимент удался, но испугается власть внедрять его широко – ведь это сук под собой рубить, где все эти жопы начальственные чудесно устроились. Короче, прокукарекали, а там хоть и рассвет не наступай. И здравомыслящие, как ты говоришь, люди врагами предстанут в глазах власти, антипатриотами, родину ненавидящими. И тогда власть задание тому же Профессору и иже с ним спустит – разработать антидот-противоядие. Как для лечения наркоманов. И разработают – можешь не сомневаться. Вместо таблеток правды появятся таблетки лжи – и опять вся эта карусель завертится, и зомбоящик не понадобится – наглотался и... Увидишь: пилюли новые с большей охотой принимать станут, нежели те, что мы глотаем. Народ наш какой: нравится ему верить всякой чуши, слухам бредовым, и не копать, не утруждаться мыслями, было ли, есть ли на самом деле.

– В первый день занятий нас всякими цитатами пичкали. Помнишь? Проблема славишцев не в том, что они обмануты, а в том, что всякий раз превращаются в народ лжецов. Это стыдно, но удобно.

– Вот и я о том же.

Они еще долго обсуждали фильм и рожденные им предположения. Юл захмелела и принялась нести околесицу типа того, что все участники эксперимента, независимо, в какой они группе, под колпаком, особым наблюдением, а тех, благодаря кому родилась чудовая идея проверки действия пилюль, изгонят из власти и надолго *законопатят*; и вообще, все это хрень собачья, глупость несусветная, и зря она, Юлиана, подалась на уговоры и приехала сюда – искать неприятности на собственную задницу.

– Единственная польза – с тобой познакомилась, не обминулась, а то так бы и осталась в неведении относительно живущего на свете чудака, книжки сочиняющего и с одиночеством завязать мечтающего.

На счет одиночества угадала, подумал Дан, и вложила свой немудреный бабий смысл – если и сойтись с женщиной, то почему не с ней? В самом деле, почему?

### 13

По вторникам и пятницам *соглядатай* (так прозвал Дан являвшегося каждое утро с медсестрой Оксаной бесцветного молодого человека из группы обслуживания) входил в его номер с пачкой бумаг. Он оставлял их на столе и безмолвно удалялся. Это были отпечатанные статьи, выжимки из книг и брошюр, фрагменты телевизионных ток-шоу в виде текстов. Все это предназначалось для ознакомления. Как понял Дан, все пятьдесят «красных» получали такие распечатки.

Путного, будоражащего мысль, дающего ей некое оригинальное направление, в бумагах содержалось прискорбно мало: общеизвестные факты, навязшие в зубах оценки и выводы, в общем, макулатура – Дан безжалостно выбрасывал в мусорную корзину. Редко попадалось стоящее, о чем можно поспорить, порассуждать, однако уступавшее в соперничестве лекциям и дискуссиям. Кому-то не слишком умному поручили непыльную работенку выискивать, что может заинтересовать участников эксперимента, вот он и выдает на-гора всякую муть. Впрочем...

В последней партии бумаг Дан обнаружил пару листков; не читая, а лишь увидя название «Притча от Лукавого», по инерции хотел отправить в мусор, но остановился. Что-то привлекло в пояснении: «Автор этой притчи называет себя Сэм. Имя это ни о чем не говорит. Он не изъявил желания представиться и настаивал на том, чтобы текст этот именовался именно «Притча от Лукавого». Ладно, Сэм, а скорее всего, Семен, раз ты настаиваешь, так и быть, придется бегло прочесть.

*Пришёл человек к Лукавому и спросил: «Что есть правда и что есть ложь?» И повернулся к нему Лукавый и приблизился и блеснули глаза его. И увидел человек отражение своё в глазах Лукавого: в одном большое, в другом маленькое. В одном близко увидёл себя, а в другом далеко, в одном сидящим, а в другом стоящим, высоким и низким, в*

одежде и обнажённым, на солнце и в тени, смеющимся и плачущим, рождающимся и умирающим, живым и мёртвым, существующим и не существующим, ангелом и бесом. И зашатался человек и отвернулся, не в силах видеть себя так, и пеленой покрылся мир перед ним.

Но вот отдышался человек и сказал: «Зачем играешь ты со мной, мучаешь?» И улыбнулся и отвёл свой взгляд Лукавый и сказал: «О правде ты говоришь, человек, но что есть правда твоя?» И сказал человек: «Всегда я стараюсь говорить правду о себе и о других, и если кто другой лжёт, того обличаю. И если скажу я неправду – пусть отсохнет язык мой. Ложь же это когда кто-то говорит неправду намеренно, зная, что это неправда». И снова улыбнулся Лукавый и сказал:

– Да, правда твоя, человек, проста как лист бумаги. На одной его стороне написано слово «правда» и на другой – слово «ложь», и всё, что не может находиться на одной стороне, должно находится на другой. И считаешь ты, что есть правда абсолютная, правда конечная и совершенная. И считаешь ты, что можешь знать эту правду, конечную и совершенную.

И улыбнулся тут Лукавый, а человек задрожал. И вот сказал Лукавый:

– Настоящая же правда вот в чём: правда есть не одна, их много. И есть такая правда, которую ты можешь постигнуть и есть такая которую, не можешь. И даже та правда, которую ты можешь постигнуть, вовсе не похожа она на лист бумаги, а похожа на пирамиду со многими уровнями. И говорил я тебе, что всё относительно, что и плохое и хорошее не существуют сами по себе, а только по отношению к цели, что есть у тебя. Так и говорю я, что и правда и ложь также относительны, и нет абсолютной правды и абсолютной лжи, а есть только больше правды и меньше правды. И чем ближе к вершине такой пирамиды, тем больше правды и чем дальше от неё – тем меньше правды. И то, что дальше от вершины – то ложь по отношению к тому, что ближе. И не можешь ты понять, человек, что даже то, что кажется тебе противоположным друг другу и противоречивым, может быть в то же время истинным и непротиворечивым, если посмотришь ты сверху.

Вот представь, что говоришь ты с другом своим о жизни своей, – и тут Лукавый почему-то улыбнулся, а человек почему-то опеча-

лился, – и жалуешься ему, что жизнь твоя тяжела и беспросветна, и что ты должен работать с утра до ночи, и нести все обязанности свои. А друг твой, любящий тебя, скажет, что жизнь твоя хоть и нелегка, но всё же терпима, и что есть у тебя и жена преданная и дети, почитающие тебя, и родители, и друзья, уважающие тебя. И что не многие из круга твоего живут такой жизнью устроенной. Кто же прав тогда будет между вами двоими? И не будет ли то, что жизнь твоя тяжела, правдой? И то, что твой друг скажет тебе тоже правдой? И не будет всё ли это ложью, если посмотришь на жизнь правителей ваших, или на нищих на улице, или на воинов в сражении? И разве они счастливы?

И вот говорю я тебе: нет ни правды ни лжи самой по себе, но всё зависит только откуда ты смотришь, и что знаешь и понимаешь.

И ещё скажу тебе, человек, – сказал Лукавый, – что твоя правда не есть правда Посланника или Пророка божьего или Будды, а их правда не есть правда Пославшего их, и над ним тоже есть правда, и так без конца.

И представил тут человек всю пирамиду эту, всю «лестницу Якова» и почувствовал на миг ту правду, что ближе к вершине, и потерял он сознание своё и простёрся ниц. А Лукавый в это время терпеливо ждал. И вот очнулся человек, отёр рукой дрожащей лицо своё и спросил: «А как же я, где же моя правда в порядке этом небесном?» И спросил Лукавый:

– А где же правда муравья малого в мире твоём? И его ли правда – правда для тебя? И не есть ли мир твой гораздо больше и сложнее чем мир муравья? Так же и ты, как муравей в мире твоём, по сравнению с небесным порядком этим. И как сам ты меняешься всё время, – сказал Лукавый, – так же и правда твоя меняется с тобой всё время, и вчерашняя правда будет тебе сегодняшней ложью, и сегодняшняя ложь – завтрашней правдой.

*И что есть правда и что ложь? Не есть ли это только имена, или ярлыки, или суждения твои, которые выносишь ты, на основании только того, что знаешь ты? И много ль ты знаешь? – и тут снова улыбнулся Лукавый и как бы вырос, а человек почувствовал себя маленьким и слабым и задрожал. – Ибо если скажут тебе, что снег белый, и не видел ты снега ни разу в жизни своей, а потом скажет тебе ещё кто-то, что снег синий, не скажешь ли ты, что ложь*



*это? Но если не видел ты снега, то и то и другое ложью для тебя будет.*

И ещё скажу тебе, – сказал Лукавый, – что говоря и думая о правде, используешь ты слова, человек. Но разве ты сам и другие люди, с которыми говоришь ты, одинаково понимаете те же слова, что с губ ваших слетают? Вот говоришь ты кому, что любишь его. Но разве любишь его ты так же, как и детей своих, как родителей, как жену, как Бога своего, что жизнь дал тебе? Для каждого из них у тебя своя любовь, а слово ты используешь одно. И не так же ли и с правдой?

Вот если готов ты самую жизнь свою отдать за Бога, потому что любишь его, то не будет ли ложью сказать, что любишь ты соседа своего? Ведь за него не готов ты жизнь отдать? Не ложь ли это, что любишь ты его? – И тут снова Лукавый улыбнулся и похолодел человек в истоме. – Вот видишь, даже когда хочешь сказать ты правду, ложь говоришь ты, человек. И не так ли это по отношению ко всем словам, что говоришь ты, человек? Ибо только ты понимаешь, что сказать хочешь, другие же только думают, что догадываются, что имел ты в виду.

И вот правды ты от меня хочешь, человек, правды о правде и о лжи. Но как судить о сказанном мною будешь?

*И засмеялся тут Лукавый и ушёл, а человек изменился в лице своём, и застыл как столп соляной, и простоял весь день и всю ночь в раздумье.*

Народное мифотворчество Дан терпеть не мог, его тошнило от мудрствований на пустом месте, от сочинений всякой конспирологической и философской дури, чему грош цена, но тут случай особый. Вчитываясь еще и еще в листки, он понимал – нет, вовсе не случайно занесло их, как семена ветром, а по хитрому и намеренному умыслу. Вот вы, господа, по наущению глотаете рекомендованные Профессором пилюли, надеетесь выправить мозги, убрать, уничтожить отравившую их гадость – и все напрасно, не существует «чистой» правды, как и совершенно чистых веществ или чистой воды. «Полная» ложь обязательно содержит в себе элементы истины. Ложь даже может состоять из «правды», если посмотреть внимательно под определённым углом и с определёнными целями. Не

зря говорят в Поднебесной: шить одеяло лжи из лоскутов правды. Правда – один из уровней лжи... Так что тщетны, господа, ваши попытки, а мы вновь хотим убедиться: расчет на припудренную так называемой правдой заведомую ложь – единственно верный, достойный продолжения и совершенствования. Мысль изречённая есть ложь – не так ли?

Некоторые из вас, умников, подумают: они что, спятили, это же с их стороны, с нашей, то есть, чуть ли не саморазоблачение?! А насие нисколечки не смущает, наоборот, поощряет. Вы полиграфу исповедуетесь, свою тыщу баксов заработаете и отправитесь восвояси, а мы матерьялец замечательный добудем, ах, какой матерьялец!..

Вот какие неутешные мысли посетили Дана после прочтения притчи.

...На асфальтированной площадке с тыльной стороны пансионата установили генератор, провода тянулись к нескольким укрепленным на прочном основании плазменным телевизорам. При появлении группы «красных» экраны засветились, появились изображения известных ведущих политических ток-шоу, лиц было немного – они, как правило, редко менялись, оставаясь незаменимыми многие годы и потому легко узнаваемыми. Впрочем, появились и борзые новички, их вытолкнул на поверхность недолгий период *потепления*, они поднаторели в своем ремесле и с легкостью меняли риторику на прямо противоположную, едва в зависимости от колебаний температуры появлялась потребность.

Сейчас показывали прежних, на долгие годы оккупировавших экраны мозгоёбщиков и мозгозасерателей. Среди них выделялся коротко стриженный, плотно сложенного человек с птичьей фамилией, в черной застегнутой до подбородка куртке без накладных карманов на груди и полах, похожей на китель или френч, с отстраненным холодом в зрачках и мефистофельской гримасой; он походил на инквизитора, какими их рисовали несколько веков назад испанские художники, не хватало лишь мантии и шапочки. Другие ведущие являли палитру самых разных рож: мордатый плешивый смахивающий на евнуха тип; гладенький красавчик с пухлыми губками; надменный субъект с седой бородкой, сидящий на диване, заложив ногу за ногу, источающий презрение ко всем и ко всему; шкет

с умильной и одновременно глумливой улыбочкой законченного прохвоста; дамочка в летах с вызывающим оскалом имплантов; другая дамочка, помоложе, с ярким макияжем, явно любующаяся собой, бесстыдно разведя колени...

К немалому своему удивлению Дан увидел мелькнувшего в кадре и что-то невразумительное вякнувшего приятеля-соавтора *той самой* книжечки про отнятый у соседей полуостров. Рядом с приятелем восседал надутый величием и спесью семитского вида эксперт по ближневосточной тематике по кличке Сатана...

Дан знал всех как облупленных, видел множество раз в экранной рамке, внешность ведущих не требовала углубленного физиономического анализа – нутро угадывалось безошибочно; он и рад бы иначе воспринимать, но не мог при всем желании.

И вот что еще: попадались изредка вроде нормальные, интеллигентные лица, но стоило переметнуться, встать под знамена Василиска – и менялись лица, вся мерзотина отпечатывалась *в скошенных к носу от постоянного вранья глазах*, точно по описанию секретарши Лапшенниковой в знаменитом романе.

Высказывания ведущих в основном по вопросам внешней и отчасти внутренней политики государства сопровождались истерическими выкриками и смехом аудитории, захлопыванием пытающихся вступить в полемику, негодующим стуком ботинок и туфель зрителей. Дан не вслушивался, он и так заранее знал, что они выскажут, его охватывало привычное тупое бешенство: все ясно и понятно, а сделать ничего не можешь, не заткнешь им рот, только и остается выключить зомбоящик и отmaterиться вслед. Но сейчас он находился не на своей даче, а в чужом казенном месте и не был властен распоряжаться пультом управления.

Возле каждого аппарата лежали бейсбольные биты.

– Ты что-нибудь понимаешь? – спросила Юл. – Какого фи́га нас тут собрали?

Дан кое-что понимал, но делиться соображениями не стал. Лео тоже не высказывался, он был один – Капе нездоровилось и она предпочла остаться в номере.

Возле телевизоров появился облоухий приземистый мужичок в кепке, надетой козырьком назад. Он был в черной майке с надпи-

сю: «Мне с вами не о чем пить...» Глазки-буравчики пронзали толпу нехорошим, недобрым взглядом, похоже, сгрудившиеся напротив вызывали в нем глубокое отвращение.

– Так, господа-товарищи, сейчас вам будет предложено развлечение, – произнес он, слегка гнусая. – Раззудись, плечо, размахнись, рука! Вопрос для особо одаренных: кто главный враг человечества? Ответ – телевизор.

Неважно, славянский, заокеанский, гансонский или поднебесный. Потому что врет безбожно, сумятицу, психоз вносит в сознание. Никакое это не средство массовой информации, пропаганды – а попросту токсичное вещество, яд, отравитель, одним словом. Разрушитель всех норм в обществе.

Мужичок сделал гримасу, будто и впрямь почувствовал недомогание от собственных слов. Глубоко вдохнув воздух и сплюнув, он вернулся к изложению порученного ему задания.

– Чем еще опасен зомбоящик, как называют его в народе? Легко может вывернуть все наизнанку, развернуть страну в любую сторону, в любом направлении. Люди наши задуренные, легковерные, пусть самый чудной слух – они и поверят. И сколько потом не убеждай, будут стоять на своем, как ослы упрямые. Да вы и без меня знаете... Короче, сейчас нам с вами предстоит операция по уничтожению телевизоров. Публичная казнь, так сказать. Следите за моими действиями...

Мужичок нагнулся, взял битую, постоял, обопнувшись о деревяшку, несколько секунд как бы в раздумье, сделал глубокий вдох, примерился и с размаху вlepил битой в один из экранов. Посыпались осколки антибликового стеклянного покрытия, полетели искры, внутри аппарата что-то охнуло, будто и впрямь от умирающего тела зомбоящика отлетела тлетворная душа. Мужичок ударил еще и еще раз, от усердия кепка слетела, обнажив голый, продолговатый, похожий на дыню кумпол, он натянул кепку прежним манером – козырьком назад.

– А теперь берем биты и каждый наносит удары. Кто сколько хочет. Ну, вперед, господа-товарищи, выразите свое отношение к тому, что немало лет отравляло наше существование, – и мужичок вдруг, ни с того ни с сего, рассыпался мелким, удушливым, конфузливо-похотливым смешком, отчего Дана передернуло.

Пространство наполняли песенные мелодии, ведущие ток-шоу вели передачи, их поддерживали возгласами и криками сидевшие в студиях зрители-участники, и все внезапно закончилось. Первой проворно схватила битую баба-затетеха и ударила с такой силой, что аппарат едва не завалился набок. За ней потянулись другие. С задором и видимым удовольствием они курочили экраны и начинку аппаратов. Первые удары приходились на головы ведущих, осколки вылетали, казалось, из живых черепушек.

Пара телевизоров, не выдержав экзекуции, воспламенились, их тут же затушили пеной.

– Иэх, ребята, ломать – не строить! – воодушевлял мужичок. – Давай, ребята, покажем им кузькину мать!

Юл инстинктивно прижалась к Дану, вздрагивая при каждом отзвуке удара битами. Рядом вырос Лео, он демонстративно держал руки за спиной.

– А вы что же, уклоняетесь? – к ним подбежал мужичок и протянул битую. – Негоже от коллектива отрываться или у вас особое мнение? – осклабился и тут же осекся, поймав взгляд Лео.

– Мы не хунвэйбины! – вызверился на мужичка Лео.

– Как ты сказал?.. Ху...вэнбины? – не понял мужичок. – Кто такие, почему не знаю?

Лео не стал объяснять, а кратко и убедительно изложил свою позицию:

– Пошел на... со своей битой, не то ненароком можешь схлопотать.

– Ты что, с глузду съехал? – растерялся мужичок, но мигом взял себя в руки и, против ожидания, не залупился в ответ.

– Ну, это ты, парень, зря. Я же не по своей воле, просто исполняю поручение. По мне, так в зомбоящике ничего плохого не было. Он патриотизм воспитывал, любовь к родине, а значит, ненависть к врагам.

Через пятнадцать минут публичная казнь завершилась, оставив на асфальте груды обломков. «Красные» покинули арену возмездия. Боковым зрением Дан углядел человека в черном костюме и галстукке, он что-то помечал в блокноте и пристально-подозрительно окинул проходившую мимо троицу. Взгляд его не понравился Дану.

## 14

Дни летели стремглав, наперегонки друг с другом, подтверждая теорию Дана: монотонное однообразие убивает время – кто-то невидимый пожирал его с неукротимым аппетитом.

Лео на удивление вяло отреагировал на записку Дана. Почему-то расхотел спорить, доказывать, яриться в попытке в чем-то убедить. Из него, как из футбольного мяча, словно выпустили воздух. Лишь устало обронил по пути в столовую, как бы между прочим:

– Таких, как ты, – большинство. Фомы неверующие.

Дан парировал моментально всплывшими строчками: точно ховались в потемках чулана и вдруг высветились лучом фонарика:

*Вся наша склонность к оптимизму –  
От неспособности представить,  
Какого рода завтра клизму  
Судьба решила нам поставить\*.*

Лео хмыкнул, щека дернулась, словно в нервном тике:

– Значит, не на что надеяться. Жаль...

Изредка, правда, происходило нечто нарушающее привычный ход вещей. Объявили, что нескольких «зеленых» уличили в манкировании приемом таблеток, выгнали из группы и отправили восвояси. Но это была сущая мелочь по сравнению с грянувшим скандалом – кто-то спер из лаборатории изрядный запас таблеток. Ночью прокрался в помещение, выпилил два главных запора и похозяйничал в шкафах. Почему-то значительная часть пилюль хранилась не в сейфе, а на полках. Наверное, никто не предполагал такой дерзости как грабеж под покровом темноты.

Тут же пронесся знобким ветерком слух: не случайно в сейфе не прятались – надобности не было беречь как зеницу ока, ибо вовсе не пилюли правды, а *плацебо*, имитация. В слух некоторые поверили – может, и впрямь простая лактоза, а не хитроумное химическое

---

\* Стихи И. Губермана

соединение. Выходит, одних пичкали всамделишными таблетками, а других – пустышками, обманками? Чудеса.

Дан сходу отверг предположение, обозвал дрянной конспирологией, Лео не согласился: чем черт не шутит, от этих ребят чего угодно ожидать можно... Капа, понятно, поддержала нового друга, Юл осталась нейтральной.

Доложил об ограблении тот самый немолодой человек с шикар-ной посеребренной шевелюрой, открывавший первое по приезде собрание «красных». Он был уже не в импозантном сером костюме и красном галстуке, а в повседневной одежде – джинсах и тонком темном свитере с кожаными налокотниками, не изображал улыбку-оскал, а смотрел в зал подозрительно-недобро.

– Мы найдем злоумышленника и накажем, можете не сомневаться, – пообещал он.

К Дану внезапно нагрянули с обыском. Два мужика и женщина неопределенного возраста перевернули все верх дном, покидали на пол и через полчаса молча покинули комнату.

– А кто убирать будет после вашего погрома? – вслед им Дан.

– Ты и будешь, – коротко ответил командовавший обыском – молодой нацмен со злым прищуром узких глаз, по виду бурят или калмык.

Дан хотел ответить на неприкрытое хамство, но сдержался.

Атмосфера после ЧП стугилась, лекции несли мало интересного, семинары не проводились – все подходило к концу, итоги выглядели туманными. Объявили, что спецслужбы выявили двоих виновников, оказались они агентами заокеанской разведки. «Ну а кто же еще..! – разумеется, происки Запада, ему без этих таблеток никак не обойтись, – ерничал Лео. – Славишское ноу-хау покоя не дает...»

– Между прочим, и там врут изрядно, им попринимать наши пилюли полезно, – неожиданно высказалась Юл.

– И впрямь так считаешь? – переспросил Дан и посмотрел пристально, изучающе, словно искал новое, не подтвержденное ранее.

– Разве не так? Везде одно и то же. На вранье все замешано. Ну, у нас покруче, конечно, понаглее, но и в той же Заокеании свои заморочки.

Может, и права – тукало в висок, но что-то мешало безоговорочно признать Юлино откровение, он отмахивался от него как от назойливой мухи. Нет, все-таки *не одно и то же*, разница есть, там ложь в конце концов разоблачается, а здесь... Юлины слова вызывали раздражение.

Из кучи совершенно не обязательных прослушиваний Дан выделил лишь одно, открывшее последнюю неделю пребывания в пансионате. Сотрудники университета в Заокеании подтвердили в ходе исследования, что фейковые сообщения обладают рядом особенностей: так, женщины обычно писали сообщения из восьми слов, а когда лгали – из девяти. А в сообщениях мужчин и с ложью, и без, как правило, было по семь слов. Кроме того, когда женщины лгали, они часто использовали местоимение «я», а мужчины – «мой». Также в сообщениях с ложью у мужчин нередко встречалось слово «конечно», а у женщин – «пытаться». Еще ученые обнаружили: представители обоих полов использовали в сообщениях уклончивые фразы, когда лгали.

Ну и, если верить ученым, еще более усовершенствована разработанная лет пятнадцать назад технология распознавания цифровыми устройствами лживых новостей в Сети. Дай-то бог... Только навряд ли железкам удастся одержать решительную победу над человеческой хитростью и изворотливостью – если захочу соврать по-крупному, посеять в задуренных мозгах опасную небылицу, я такое придумаю, что ни один самый изощренный алгоритм не поймает; если бы было иначе, Сеть стала бы безопасной и никакие пилюли не понадобились...

После пьянки и первой ночи, проведенной у Капы, Лео попытался решить для себя вопрос: нужна ли ему случайная связь – спустить на тормозах или пусть идет как идет? Отношения с Капой, как курортный роман, ни к чему не обязывают: закончится срок путевки и разойдутся, словно и не были знакомы и близки. Однако чем больше задумывался над этим, тем туманнее рисовалось ближайшее будущее отношений с дамой не первой молодости, старше его на тринадцать лет, чей возраст отпечатался на ее лице и фигуре.

Капа без утайки и стеснения делилась с ним женскими тайнами, приглашая стать поверенным в сердечных делах – так, по край-



ней мере, ему мнилось. Подобная откровенность едва знакомого человека выглядела странной, не вполне уместной, Лео, впрочем, не видел скрытого смысла, выгоды для Капы – скорее издержки одиночества, неизбежное желание с кем-нибудь поделиться переживаниями и просто бабья дурь. Капа не блистала умом в том понимании, какое вкладывал Лео в это понятие, чувство юмора тоже вроде как обошло ее стороной, и несмотря на это, ему было с ней тепло и уютно – словно путник в стужу обрел пристанище и греется у раскаленной печурки.

Детство Лео, омраченное болезнью матери, протекало не как у большинства. Ольга родила его в двадцать пять и впала в послеродовую депрессию. Болезнь развивалась по классической схеме: то и дело менявшееся настроение, мрачная раздражительность, вспышки гнева, злость по отношению к близким, навязчивые, нередко бредовые идеи, мать часто плакала, говорила о неудавшейся жизни. Малыша она грудью не кормила, от этого новые переживания и страдания. Диагноз поставили не сразу – скрипачка Ольга и раньше отличалась неровным характером, всплеск эмоций чередовался с унынием и апатией, но после появления на свет Лёни все усугубилось.

Выпускница консерватории, она подавала надежды, несколько раз выступала с сольными концертами, ее сдержанно хвалили, именно сдержанно, она нервничала и в конце концов устроилась в большой оркестр. После родов и начала болезни, сев на антидепрессанты, ушла из оркестра и давала частные уроки одаренным детям. Лёня не обладал абсолютным слухом, музыка его сильно не тянула, мать переживала, и это стало еще одним поводом развития депрессии.

Уже с двух с половиной лет Лёня стал понимать, что с его мамой что-то не так – она редко брала его на руки, почти не целовала, не брала к себе в постель, если начинал плакать, кричала, чтобы он успокоился, и сама начинала рыдать. Ночами иногда квартира оглашалась густыми и тяжелыми звуками – это мать брала скрипку и, бродя по комнатам в ночнушке, извлекала из инструмента мелодии сообразно ее настроению. Лёня просыпался и начинал дрожать под одеялом – отныне скрипка ассоциировалась у него с недугом.

Так продолжалось несколько лет, потом мать относительно

пришла в норму, хотя расстройство сна и приступы беспричинного гнева остались.

Взрослея, Лёня начал многое понимать: сексуальная жизнь родителей, похоже, отсутствовала, он ни разу не видел, чтобы отец обнял и поцеловал жену, спали они в разных комнатах. Один из школьных приятелей поведал под большим секретом, что видел Лёниного отца гулявшим на бульваре с чужой женщиной. Сын догадывался: у отца на стороне есть любовница, может, и не одна, его это особо не задевало, не коробило – он давно свыкся с мыслью, что в его семье все не так, как положено быть. Другой бы развелся и перестал лицемерить, жить двойной жизнью, а мой по каким-то причинам не уходит...

Будучи, несмотря на молодость, уже довольно известным экономистом, отец в конце 90-х работал в институте с группой коллег, которых считали *либералами*, потом, с воцарением нового Властелина, перешел на службу в правительство, стал референтом министра, доросшего до вице-премьера, сдружился с советником Самого, академиком, и полностью поменял взгляды на модель развития Славии. «Человек, который всерьез утверждает, что денежная эмиссия в Заокеании и других странах Запада осуществляется с целью захвата по дешевке славийских активов, если он здоров, может быть кем угодно, только не экономистом», – ехидно писалось об академике, когда еще можно было так писать.

Лёня до посинения спорил с отцом, напомнив это высказывание, а еще другую характеристику академика: *икона экономического мракобесия*, недвусмысленно намекал, что вести дружбу с таким субъектом – позорно (отец от таких намеков багровел и непроизвольно сжимал кулаки); сын ссылался на некоторых авторитетов, покинувших страну ради собственной безопасности и занявших должности в заокеанских университетах, авторитеты писали о пагубности избранного экономического курса, отец, породистый мужчина актерской внешности, с плешью в венчике рыжеватых волос, отмахивался, злился, повышал голос: «Нашел кого в пример ставить! Предатели вздумали нас учить жить... А ты, гляжу, с их голоса поешь. Ох, Лёня, до добра не доведет... Я, конечно, помогу тебе с трудоустройством, но надо патриотическую позицию продемонстрировать, а у тебя взгляды не те, совсем не те...» – «Зато ты

– большой патриот за казенный счет. За деньги немалые, которые тебе платят, чтобы всякую чушь поддерживал. А помощь твоя мне без надобности».

После института Лео устроился в стартап в новом городе близ столицы, занимался электроникой, участвовал в разработке нейросетевых технологий, они сулили беспредельные возможности. Читал запоем, особенно интересовали история и философия. Бок о бок работали такие же, как он, молодые гении, знающие и умеющие то, что не снилось их отцам. Новое поколение, бездна толковых людей, считал Лео, притом почти никто не эмигрирует, как в двухтысячные годы. Для себя он такую возможность отверг раз и навсегда. «Хрен вам в глотку! – отвечал невидимому оппоненту. – Не дождетесь, чтобы все уехали. Страну поднимать нужно, излечивать от безумия. Я и есть настоящий патриот...».

Он заводил романы, но жениться в его планы не входило. Он нравился умным девушкам, с иными отношения почему-то не складывались. И поэтому совершенно удивительной стала возникшая душевная приязнь к Капе – вовсе не его героине, чьи изъяны видны невооруженным глазом, а вот поди ж ты, что-то привязывало к ней и вовсе не секс по принципу «на безрыбье и сам раком станешь». Тогда что? Видеть в ней маму, некогда недолюбленным, обделенным родительской лаской ребенком, а ныне взрослым мужчиной с незаживающей раной тянуться к прежде недостижимому? Он не мог ответить.

Капа совсем молоденькой, едва выпорхнув из института, устроилась по благу в мэрию небольшого сибирского города, в котором родилась. «Я тогда была хорошенькая, пухленькая, щеки кровь с молоком, коса по пояс – словом, очень аппетитная, мужики проходу не давали. Вышла замуж, через некоторое время развелась – муж оказался пьяницей и дебоширом, остался сынок, ему сейчас двадцать один, доучивается в столице на юриста», – исповедовалась она, хотя Лео не просил. Далее из ее рассказа вытекало: после развода связалась с мэром, вернее, он с ней, она не противилась, мэр, сравнительно молодой, нравился, объединяло их, кроме прочего, что он тоже имел родственника-спецпереселенца и тоже с Кубани. «Проваландалась с ним пару лет, мэрская жена бучу подняла, начала пись-

ма строчить в инстанции, мэр струхнул – двое детей как-никак и карьера под вопросом – и уволил меня. Помог, правда, устроиться на приличное место в столице нефтянки, это в сотне километров от нашего города. И на том спасибо...»

Больше замуж Капа не выходила. Мужиков меняла, чуть что не по ней – взашей. Зарабатывала прилично, по загранкам каталась, отдыхала на тамошних курортах. Особенно нравилось на Мертвом море. Родители переехали в Крым, уже после захвата (так и сказала, не оговорилась – *после захвата*, Лео поразился, не ждал от нее), купили дом. Младший брат на флоте служит, в штабе, теплое местечко...

Капа могла тараторить без умолку еще долго – подвигало на откровения, что слушатель попался внимательный, кажется, сопереживающий, не перебивал, не задавал вопросов. Просто слушал, внимал.

– Что тебя подвигло приехать сюда? – в конце концов осведомился Лео.

– Честно? Не денег ради, поверь. От скуки. Потянуло к чему-то новенькому. А тебя?

– Примерно по той же причине. Но, вообще, захотелось кое-что проверить. Уяснить, чем народ дышит.

– Уяснил?

– В общем, да.

– Ну, а про меня что думаешь? Я ведь тоже народ.

– Ты – особая статья, – ушел от ответа.

Капа не настаивала на расшифровке. Рыжий поначалу привлек ее как некая экзотическая птичка или зверек, таких мужчин у нее допрежь не было, и, конечно, щекотал самолюбие его возраст – если я таких молодых могу ублудить, значит, еще не старая, котируюсь. И чем чаще они виделись наедине и откровенно беседовали, тем сильнее Капа привязывалась к нему. Влюблюсь еще ненароком, думала, по инерции гоня предчувствие, боясь сглазить.

Более всего привлекали ее разговоры *про политику*. С Лео она без опаски произносила то, что таила в себе и чем не делилась с кем-либо. В нефтяной столице Славишии за такие антипатриотические речи взгрели бы по первое число, да никто и не пробовал откровенничать. С Лео же обсуждать накопившееся в душе можно легко и нестесненно.

– Я власть не люблю, можно даже сказать, ненавижу. Любую, сверху донизу. Навидалась на начальничков в мэрии, да и в моей теперешней конторе. Они либо поглупели, либо обнаглели, либо и то, и другое. Порядочного человека днем с огнем не сыщешь. Продажные твари. И откуда столько их повылазило! Как тараканы в каждой щели. Если б ты знал, как воруют! Без зазрения совести и не боятся. Им можно, ну, тем, кто на верху на самом, а нам запаadlo? Ты, Лео, слушаешь и думаешь: ха, нашла чем удивить... Да страна живет этим столько лет... Правильно, сама понимаю – ничего нового в моих словах нет. Тем не менее, ненавижу и с каждым годом сильнее. Я тебе, мой милый рыжик, скажу: если ты умный – то должен быть против власти, если умный и за власть – значит, жулик, ну, а с глупыми и так все понятно. Я в данном раскладе за умную схожу – только молчу в тряпочку, ибо боюсь, да, боюсь – ежели турнут, кто мне, одинокой женщине, поможет...

Лео обнял ее и поцеловал. Не в благодарность за близкое, отрадное ему понятие, нет, выглядело бы ненатурально, нарочито, поцеловал совсем за другое – Капа заставила пересмотреть определение ее умственных способностей: вовсе не дура, коль размышляет над сей материей и делает выводы. Зомбоящик не запудрил ей мозги. Возник и другой повод проявления нежности – в новой подруге (неважно, на какой срок – надолго или кратко) он видел силу, убежденность, упертость, если на чем стояла, то до конца. Хотелось не разочароваться в такой оценке.

У него самого однажды возник повод проверить себя – это когда вызвали в отдел кадров стартапа, усадили в отдельной комнатухе без окон и человек средних лет с широкоскулым крестьянским с рябинкой лицом, на котором доминировали рыжеватые усы курильщика, назвавшись офицером ФСБ Широным Олегом Олеговичем, повел беседу с Лёней за жизнь. «*А парень улыбается в пшеничные усы...*», – не к месту вспомнил Лёня слова из песни. Фээсбэшник не улыбался, а ощупывал цепким профессиональным взглядом сидевшего напротив.

Он выпрашивал про то, про это, начав с близких родственников, от фактов биографии перешел к сути работы Лёни, выказывал осведомленность в деталях, поощрительно кивал в такт ответам: все знаем, все правда, так и есть. Лёня поначалу испытал диском-

форт, слегка заняло в средостении, липучий серый комок пополз к горлу, как при легкой тошноте; через несколько минут справился с волнением. Вопросы *усов* коснулись друзей. Лёня замолчал. Верный себе, не стал тянуть кота за хвост и с вызовом в голосе: чего господину Широнину от него надобно? Тот слегка поморщился:

– Да вы не парьтесь, ничего особенного нам не нужно. Хотим, чтобы были с нами откровенны и если мы хотим что-то узнать, то можем на вас рассчитывать.

– Иными словами, предлагаете сотрудничество. То есть, стать стукачом, верно? – не выдержал Лёня.

– Ну, зачем вы так? – осклабился Олег Олегович. – Долг каждого гражданина, тем более патриота – помогать *органам* в их работе. Тем более, фирма ваша – особая, с секретностью связанная, выполняет некоторые наши задания. Что вы брови подняли? Не знали? Странно...

Лёня, конечно, догадывался, но точных сведений не имел.

Повалять ваньку, сослаться на неумение хранить тайны, болтливость – словом, на профнепригодность к сотрудничеству? У некоторых такой трюк, он читал, проходит. Но с этим типом может не проканать – больно он въедливый, вопьется пиявкой и начнет морочить голову, уговаривать, наверняка посулит блага всяческие, повышение в должности... Нет, лучше сразу отрезать.

– Я считаю себя настоящим патриотом, который со страной и в горести, и в радости. Но осведомителем быть не хочу. Мне это претит. И давайте на этом закончим нашу беседу.

– Вы понимаете, какая реакция может последовать ввиду вашего отказа? – визави не скрывал разочарования. *Облом* никак не входил в его планы. Большинство сотрудников, с кем вел *задушевные* разговоры, соглашались, а этот рыжий кочевряжится. Ладно, попробуем по-другому, прижмем, поймаем на чем-нибудь – тогда как миленький пойдет навстречу.

– Попугать хотите? Не получится. Уволите – найду другое место, программисты вроде меня сейчас нарасхват, – гнул свое Лёня.

– Ну зачем вы так... Пугать никто не собирается, – *усы* пошли на попятный. – Вас как специалиста очень ценят, нам это известно...

На том и расстались. Больше Лёню в отдел кадров не вызывали. Месяц-другой жил в напряжении, ожидая какой-нибудь подлянки,

однако все обошлось. «Очевидно, решили отстать – и без меня, видать, хватает на фирме добровольцев, на практике изучивших новый закон физики: *стук* распространяется быстрее звука. И мстить не стали – на фи́га я им сдался...» Удивило лишь то, что пропустили для участия в эксперименте: хотя, с другой стороны, собрали там всякой твари по паре, вот и он, Лео, сгодился...

И все это стремное, нервное время не шел из головы дед.

Лео назвали в его честь. Он появился на свет девятого мая сорок пятого в семье военного штабиста, полковника, и его детские воспоминания сопряжены были с неизменными в этот замечательный день застольями в родительской гостиной – одной из двух комнат коммунальной квартиры в центре столицы: тостами и пьяным весельем гостей, маршами и песнями на пластинках Апрелевского завода, звучащими на трофейном же патефоне, громким звоном бокалов (хрусталь, два столовых сервиза из мейсенского фарфора, а также ковер во всю стену с изображением сцены охоты, радиоприемник, шерстяные отрезы, кожаные пальто и немало разной одежды были вывезены из поверженной Гансонии).

Что касается всего этого по тому времени богатства, у отца была любимая байка про ординарца Ваню, деревенского парня, которого он однако никак не мог приучить ценить хрусталь и фарфор, экспроприруемый из занятых славишскими войсками гансонских усадеб. Едва Ваня видел аккуратную горку посуды во вражеском жилище, в нем вскипала ярость и он пускал по ней автоматную очередь. «Ваня, что ты делаешь? – взывал к нему командир. – Упакуй аккуратно рюмки и тарелки и отправь домой. Я тебе помогу...» – «Товарищ полковник, Генрих Владимирович, я привык пить водку из граненых стаканов» – и следовала новая автоматная очередь.

Девятого мая каждый год отмечали сразу два события. «Ты – дитя Победы!» – возглашал отец в полковничьем кителе с надетыми по торжественному случаю орденами и медалями и радостно подбрасывал малыша к потолку, у того дух захватывало от страха и восторга. От отца пахло одеколоном, табаком и еще чем-то горьким и невкусным, когда он целовал Лёню.

Повзрослев, Леонид Генрихович услышал немало рассказов о том, как отец воевал, как мама Поля, к тому времени сильно рас-

полневшая, следовала вместе с мужем фронтовыми дорогами, боясь – совершенно справедливо – оставить его наедине с соблазнами в виде молодых штабных и прочих походно-полевых дам. И много чего еще выдали по секрету родственнички-«доброхоты» после кончины отца, ушедшего от инфаркта в шестьдесят пять лет, но до конца дней не изменившего страсти ухаживать за женщинами и соблазнять по мере возможности. Например, о том, как отец весной 1944-го схватил триппер от штабной машинистки и Поля пала в ноги начальнику штаба армии с просьбой направить непутевого муженька в тыловой госпиталь, где подобный *насморк* лечили при-сланным бриттами пенициллином.

Лёня оказался единственным ребенком – так случилось. С детства обнаружили в нем способности к рисованию, и несмотря на протесты отца, трудившегося на ответственном посту в одном из министерств (помог устроиться фронтовой друг – замминистра), поступил Лёня в художественное училище. По окончании правдами и неправдами выбил мастерскую на первом этаже многоквартирного дома (не без участия смирившегося с выбором сына папаши) и начал жизнь вольного живописца, когда в кармане то густо, то пусто. В комбинате декоративно-прикладного искусства получал заказы на портреты тогдашних вождей, рисовал (сам он говорил иначе – *малевал*) полотна для городских и сельских клубов и домов культуры, в общем, зарабатывал на пропитание поденщиной, которую ненавидел и с которой смирился. Для себя же рисовал пейзажи, делал портреты, в том числе на заказ, пробовал искать свой жанр, свое направление, призвал на подмогу Пикассо, Миро, Магритта и мало преуспел в этом. Картины его неплохо продавались в Славишии, вывоз же работ за границу был крайне ограничен – дед, по натуре весьма осторожный, никому не доверял, в скандальных бульдозерных выставках не участвовал, эмигрировать не собирався, поэтому за кордоном его не знали и живопись его не котировалась.

Внук изредка посещал мастерскую деда, окунался в запахи краски, дерева, морилки, бродил среди естественного беспорядка – мольбертов, этюдников, подрамников, картин на треногах, простых и дорогих рам. Леонид Генрихович обожал внука, рисовал его, с трудом заставляя позировать. Лёня-младший мог делать в мастерской



что заблагорассудится, единственно дед до поры до времени запрещал рыться в кладовке, где прятались рисунки и картины маслом обнаженных натур, но потом и этот запрет был снят.

Личная жизнь деда была за семью печатями. Рано лишившись супруги (Лео не застал ее в живых), он не женился, так и куковал один, о возможных интимных связях деда в семье умалчивалось, разумеется, они имели место, но внук ничего о них не знал, да это его особо не интересовало. Гораздо важнее была реакция деда на споры второго и третьего поколения: несколько раз оказываясь свидетелем наскоков внука на сына, Леонид Генрихович отмалчивался, изредка позволял себе ни о чем не говорящие реплики, однако Лео нутром чуял – дед на его стороне. С отцом Лёни у деда отношения были, по его шутливому выражению, как у Герцена с Огаревым – вежливое рядом. Взаимные любовь, тепло и понимание меж ними присутствовали в микродозах, словно в гомеопатии. Дед наблюдал болезнь и терзания невестки и во многом винил в этом сына, разумеется, будучи осведомлен о его любовницах. Лео давно смирился с мыслью, что в их семье все шиворот-навыворот.

## 15

Однажды Леонид Генрихович попросил Лео о срочной встрече. «Что-то важное?» – «Да, очень».

Внук взял на работе отгул и приехал к деду в мастерскую, пребывавшую в хаосе и запустении – дед ввиду нездоровья почти не рисовал, в мастерской бывал редко, внутри всё покрылось слоем пыли. Леониду Генриховичу перевалило за восемьдесят, выглядел неважно, передвигался с палочкой, мелкими осторожными шапками, как слепой. Поймав страдающий взгляд внука, он тяжело вздохнул, грузно сел в старинное резное кресло из орехового дерева с пружинами и красивой обивкой в цветочном орнаменте, отчего оно издало скрипяще-жалобный звук, Лео почувствовал – скрипело не дерево, а нутро деда.

– Не так ли я, сосуд скудельный, дерзаю на запретный путь? – произнес дед и попытался улыбнуться.

Он и впрямь был слаб – в самом деле сосуд скудельный. Когда-то богатая, яркая, будто выкрашенная охрой, шевелюра с трудом

напоминала прежнюю, оставшиеся волосы поблекли, ушли в седину, веснушки стали менее заметны, многие погасли или превратились в точки цвета корицы. Рыжизной Лео пошел в деда. В лице Леонида Генриховича запечатлелась беспомощность и прежде не ведомая внуку опасливость движений: дед, опираясь на палку, принаравливался, примеривался, прежде чем сделать шаг. Он не болел, а медленно угасал, как пламя догорающей свечи.

– Что случилось, дед?

– Вчера и сегодня ничего не случилось. Случилось полвека назад, мне было столько годов, сколько тебе сейчас.

– Почему ты решил вспомнить? И меня вызвал. Это имеет отношение ко мне?

– Не знаю. Может быть... Ты, Лёничка, единственный в нашей семье, кому могу рассказать о своем позоре. Да, позоре. До сей поры держал это в строжайшей тайне. Недолго осталось коптить небо, потому хочу, чтобы ты знал.

Лео понял: дед готовится к исповеди. Позор... О чем пойдет речь? Бедный дед, что могло с ним приключиться...

Леонид Генрихович попросил стакан воды, поставил на журнальный столик возле кресла и заговорил будто не своим, тихим, изнеможенным голосом, каждое слово давалось ему с усилием.

Начал он *Ab ovo* – подробно описал тогдашнюю мастерскую (с той поры сменил ее дважды, расширив пространство), в середине семидесятых она использовалась не только по прямому назначению, но служила желанным, манящим местом посиделок, пьянок, пристанищем свободной любви хозяина и близких друзей; собиралась здесь разномастная публика, не только живописцы, но и журналисты, писатели, музыканты, да кто угодно, двери были открыты, и велись диссидентские разговоры, споры, читалась добываемая разными путями *там-и самиздатовская* литература. Некоторые готовились к эмиграции, находились *в подаче*, и это тоже служило извечной темой обсуждений. В общем, мастерская выглядела рассадником вольнодумия.

Лео в общих чертах знал об особенностях тогдашнего быта столичной интеллигенции, об этом было сказано в некоторых, пока еще доступных книгах, и недоумевал, с какой стати дед вспоминает все это.

Чувствуя, что с вводной частью затянул, Леонид Генрихович попил воды, прокашлялся и перешел к главному.

– Завсегдааем мастерской с некоторых пор стал Глеб, считался он одним из самых талантливых молодых писателей, однако публиковался редко – вещи его, как правило, тормозились цензурой, и зная об этом, редакторы «толстых» журналов и издатели неохотно раскрывали ему объятия, а попросту говоря, игнорировали. Глеб выпустил две тоненькие книжечки рассказов и был принят в Союз писателей. Жил он бедно, семью, где росла дочка, кормила жена, врач-гинеколог.

Я дружил с Глебом, у нас оказались схожие темпераменты и близкие мысли по поводу ближайшего будущего Славишии, оно представлялось довольно безрадостным, хотя не могли предположить, что все в одночасье рухнет и возродится совсем в ином качестве... Знаешь, Лёничка, в других людях раздражает то, что ярче всего проявляется в нас самих. Так вот, в Глебе меня ничего не раздражало, не выводило из себя, и его, судя по всему, – тоже. Он водил знакомства с зарубежными корреспондентами и дипломатами, что, в конечном счете, сыграло особую роль в том, о чем я поведаю дальше. Извини, я хочу немного передохнуть, принять лекарства...

Он достал из кармана два пузырька, высыпал на журнальный столик несколько таблеток, отобрал кругленькую оранжевую и продолговатую белую, ее можно было разломать пополам, что он и сделал, пальцы дрожали, дед никак не мог взять пилюли и отправить в рот. Лео захотел помочь, Леонид Генрихович недовольно помотал головой – не надо, сам справлюсь. Запив из стакана, он откинулся в кресле и закрыл глаза.

Так молча они просидели пару минут.

Дед пришел в себя, глубоко вздохнул.

– На чем мы остановились? Да, Глеб. Мы дружили. Внешне были непохожи, я – рыжий, не слишком привлекательный для женщин, разве что необычным окрасом, он – синеглазый красавец со щегольской бородкой, похожий на итальянского актера. Да... Была весна, кругом всё зеленело, распускалось, благоухало, я вышел из мастерской подышать, сел на скамейку в располагавшемся напротив парке, ко мне подсел симпатичный паренек, назвал по имени-отчеству, помахал перед носом красной книжицей – «Я из КГБ». Настро-

ение у меня было замечательное, я люблю весну, поэтому позволил себе фривольный тон: «И чем я заинтересовал Контору Глубокого Бурения, неужто меня подозревают в работе на ЦРУ?» Паренек улыбнулся: «Ну что вы, Леонид Генрихович, какой из вас шпион, а вот в мастерской вашей с вашей легкой руки антисоветчики свили гнездышко, литературу запрещенную почитывают, распространяют, беседы ведут непозволительные». Это было уже серьезно.

Побеседовали мы накоротке, я сослался на прерванную работу и заторопился обратно, паренек, назвавшийся Володей, не стал задерживать, но попросил о новой встрече на следующей неделе. Отказать я не мог. Володя привел меня в дом неподалеку, в двухкомнатную квартиру, хозяйка тут же ретировалась, я понял – конспиративная хата для частного общения. В этот раз разговор вышел долгий, неприятный, Володя выказал хорошую осведомленность о моем *гнездышке*, о тех, кто его посещает и о чем говорит. Особо упирал на Глеба. Дескать, идеологический враг, якшается с западной прессой, сотрудниками посольств, похоже, через них собирается отправлять за кордон свои ненапечатанные тексты под псевдонимом. «В этом мы разберемся, будьте уверены, и с вашей помощью тоже». Последняя фраза меня насторожила.

Таких встреч было три. Володя выспрашивал, я вертелся, как мог и умел, отвечал на его вопросы уклончиво и предвидел худшее. Интуиция меня не обманула – в конце концов он предложил мне сотрудничество. Как водится, сулил блага – помощь в организации персональной выставки, рецензий в газетах и прочего, а также включение в состав делегации Союза художников для поездки за границу в Галлию, куда простых смертных не выпускали. Ну, а в случае отказа... Против меня будет заведено уголовное дело по обвинению в антиславишской пропаганде. «Материалов у нас достаточно, можете не сомневаться...»

Я попросил время подумать и в конце концов согласился. Вместе с Володей придумали позывной – Ярослав, я подписал соответствующую бумагу и начал сочинять донесения, назовем их так.

Ты спросишь, почему согласился? Я совершил это неосознанно, точно в бреду, моральные тормоза отказали. Я оказался слабым, подверженным влиянию, моя воля была парализована, ее заблокировали, словно из устройства вынули батарейки или перерезали

соединительные провода. Я ужаснулся тому, что натворил, но было поздно. Есть такой синдром Капгра, открыл француз-психиатр: человек верит, что кого-то из его окружения или его самого заменил двойник и плохие поступки совершил не он, а

двойник. Так и мне порой казалось – ну не мог я такое совершить, не мог! Умопомрачение нашло...

Я не думал о последствиях. В мозгу пульсировало: они могут сострять дело, посадить, и никто за меня не заступится. Подведу родителей, жену, маленького сына. Сломаю себе будущее...

Почему человек совершает подлости? Я думаю, сначала из-за страха, потом от ужаса содеянного, а потом по привычке. И находит оправдания своим гадким поступкам. Непременно находит...

Поверь, Лёничка, ни о ком я не писал плохо, никого не закладывал – напротив, старался выгородить, сообщить нечто такое, что не могло грозить карами. Главная опасность таилась в запрещенных рукописях и книгах *с того берега*. Я указывал: приносили неизвестные мне люди, знакомые тех, кто бывал постоянно – двери мастерской открыты, благонадежность гостей я не проверял, да это невозможно – и также уносили после прочтения, что же касается тиражирования крамолы, сие мне неизвестно. Володя читал и не комментировал, лишь изредка брови и уголки рта сдвигались в намеке на скепсис – уж больно гладко на бумаге. Я догадывался: он знает куда больше сообщаемого мной, скорее всего, имелись и другие осведомители того, что происходило в мастерской, но я оставался верен избранной тактике.

Более всего их интересовал Глеб. По требованию Володи я пытался осторожно расспросить друга о пересылке рукописей, точнее, делал вид, сам же вообще этой щекотливой темы не касался, а в доносениях указывал – Глеб молчит по этому поводу, как партизан на допросе. Так продолжалось до того страшного июльского вечера...

Лео слушал сообщаемое дедом и на языке вертелось: зачем он рвет душу себе и мне, не лучше ли держать втуне, погребенным в развалинах памяти, как после землетрясения? Это ведь своего рода эгоизм. Подумал ли дед, как теперь жить мне, обремененному знанием тайны, которую лучше не раскрывать, лучше для всех... И как я теперь смогу относиться к нему...

Чем острее колот вопрос, тем яснее Лео понимал – это *необхо-*

*димо*, не столько деду, сколько ему, внуку, по существу, начинающему жить.

– Меж тем Володя выполнил обещание и действительно помог с персональной выставкой. Прошла с успехом, было много народа, купили несколько полотен, появились новые заказы. Две газеты напечатали хвалебные отзывы с моей фотографией. Я купался в лучах славы (дед иронически сощурился), мне казалось, что я и вправду такой талантливый и самобытный, как об этом пишут в рецензиях, и на мгновения забывал, кому и чему обязан успеху.

Приближался тот июльский вечер, который я упомянул. Маячила *расплата*. Володя познакомил со своим начальником, и вдвоем на той самой конспиративной квартире они посвятили меня в свой план. По имеющимся данным, Глеб-таки переслал рукописи на Запад, мы не знаем, какие, можем лишь догадываться, взять с поличным не удалось, однако нам эта история надоела. Судить его пока не за что, громкий процесс устроить невозможно, ибо еще ничего из крамолы не опубликовано, но предупредить обязаны, жестким образом. Вы, Ярослав, пригласите друга поужинать в хороший дорогой ресторан – якобы отметить гонорары с выставки – крепко выпьете, а дальше вы в отключке, ничего не помните, а его, пьяного, мы спровоцируем на драку и посадим на пятнадцать суток за нарушение общественного порядка. Он умный, все поймет, а не поймет, мы его прижмем по-настоящему. Вот такой план.

Я был в ужасе.

Дружба наша, впрочем, шла на убыль, Глеб бывал в мастерской все реже, видать, появились иные интересы, знакомства, более нужные, полезные, его по-прежнему мало печатали, он меньше переживал по этому поводу, нежели прежде. Но к плану гэбэшников по поводу Глеба наши меняющиеся отношения никак не относились. Едва я представлял, что требуется совершить, меня охватывала паника. Судорожно искал выход из западни, в которую сам себя загнал, и не находил.

Тогда, Лёничка, я многого не понимал. Разумение пришло с некоторым опозданием: чем человек выше стоит на общественной лестнице, тем больше шансов уцелеть в столкновении с Лубянкой. Чем ниже – тем он уязвимее. Судьбу известной, общественно значимой личности решают генералы, им есть что терять, поэтому взве-

шивают «за» и «против», не рубят с плеча, думают о возможной реакции Запада – касается и судебных процессов, и высылки, лишения гражданства и прочего. А судьба не бог весть какой важной птицы типа Глеба в руках капитанов и майоров, те жаждут продвинуться по службе, получить награды, премии. Володя и его начальник – мелкие сошки, им серьезные дела не поручают, а отличиться охота, вот и придумывают операции типа той, что предстояло исполнить с моим участием.

Во всяком случае, так происходило в ту пору – на моей памяти убийство *хулиганами* в подъезде диссидента-поэта и переводчика Батырёва было, пожалуй, единственным. Сажали некоторых в тюрьмы, высылали из страны, лишали гражданства – это было, да, но сотнями не избивали митингующих активистов до полусмерти битами и арматурой, не уничтожали известных оппозиционеров у стен Кремля, не травили журналистов, беглых олигархов и просто противников режима химией внутри и вовне страны, не вешали на галстуках, не сажали за посты и репосты в интернете, не мстили жестоко, садистски. Это уже достояние двухтысячных, когда вся власть, вся, без остатка, в руках Организации, когда она никому не подотчетна, кроме Самого, никого не боится, страшна и всесильна.

Дед издал странный звук, похожий на всхлип.

...На поход в кабак Глеб согласился легко, выпить был не дурак, назначили ближайший пятничный вечер, по указке Володи я пригласил его в ресторан в центре города, он так и назывался – Центральный. Мне выдали солидную сумму. И потекли мучительные дни, точнее, часы ожидания.

– Дед, ты же мог его предупредить, намекнуть, чтобы отказался от пьянки! – Лео едва не прокричал. Его бил колотун.

– Я думал об этом. Но как отговорить? Пришлось бы раскрыться, а это было бы ужасно. Позвонить от имени анонима, женщины, например? Телефон Глеба наверняка прослушивался, я бы выдал себя с головой. И я решил написать записку и лично передать Глебу. Объясню потом, что случайно узнал о грозящей беде, или что-нибудь в таком духе, главное – предупредить. И я вечером в четверг отправился к Глебу, предварительно выяснив, что он будет дома.

Заходить в квартиру не решился. Телефонный звонок: «Выйди во двор по срочному делу» исключался. Была не была – найду какого-нибудь пацана и за трешку попрошу отнести записку в квартиру номер...

Везде мерещилась слежка. Фланируя во дворе, я присматривался к мальчишкам, а заодно и девчонкам, решая, кому можно доверить передачу записки, и вдруг увидел Володю, сидевшего на лавочке возле подъезда Глеба. Меня шатнуло, я мигом развернулся и двинулся наискосок, через детскую площадку с песочницей и качелями, подальше от дома. Отойдя метров на пятьдесят, обернулся. Зрение у меня тогда было орлиное, я нацелил глазные окуляры на злополучную лавочку и никакого Володи не обнаружил. Померещилось или мой *куратор* дежурил там? До сих пор не могу ответить, не знаю.

Решительность вытекала из меня, как вода из неисправного крана, и я двинулся в направлении метро...

Леонид Генрихович замолчал, попил воды, зубы клацали о стекло, ему было нехорошо.

– Ты не в порядке. Может, прекратим? – нетвердо предложил Лео. Колотун перестал бить, он мучительно ждал продолжения и страшился его.

– Ни в коем случае. Другого раза не будет. Короче, с запиской не вышло, и я отправился в ресторан как на заклятие.

Дальнейший рассказ, против ожидания, оказался коротким и разрозненным. Дед признался, что за давностью лет многое стерлось, покинуло память. Так, совершенно не запомнилась застольная беседа. Зато отпечатались несущественные детали: Глеб появился в сандалиях на босу ногу, в мятых парусиновых брюках и импортной цветастой рубашке апаш с попугаями и другими экзотическими пернатыми, выглядел так, будто собрался на дачный пикник; обслуживал их субтильный седенький официант с приторной улыбкой, он принес уже открытую бутылку 45-градусного коньяка (от Леонида Генриховича не укрылось); через стол от них сидела компания троих мужчин с дамами, то ли женами, то ли любовницами, среди них Володя и его начальник – наблюдали, лучше сказать – надзирали.

Первая рюмка обожгла нёбо – такой жесткий коньяк Леонид Генрихович сроду не пил. Между тем коньяк был марочный, доро-



гой. После третьей рюмки, по словам деда, он почувствовал себя опьяневшим. Вышел в туалет и столкнулся с Володей. Поблизости никого не было. «Кошмарный напиток, похоже, что-то намешали», – вырвалось. – «А ты как думал? – они давно уже были «на ты». – Нам нужен эффект, вы оба должны выпить».

*Напиться* оказалось просто – часа через полтора оба лыка не вязали. После очередного посещения туалета Леонид Генрихович, пошатываясь, еле дошел до места и застал Глеба уронившим голову на столовую скатерть и спящим. Принялся его будить, Глеб разлепил веки, посмотрел мутным взором и что-то пролепетал. Обмокнув салфетку в фужере с минералкой, он обтер лицо и слегка пришел в себя. Они доели шашлык, еще выпили и больше дед ничего не помнил.

Последующие события воскресил Володя. Глеба в бесчувственном состоянии отправили в вытрезвитель – ни о какой драке с его участием и речи идти не могло. Тем не менее, ему впаяли пять суток ареста за якобы разбитую в ресторане посуду, матерщину, попытку пнуть ногой сопровождавшего милиционера. Разумеется, все обвинения были высосаны из пальца. Что касается Леонида Генриховича, то Володя с коллегами вынужденно отвезли его в поликлинику, где ему сделали расширивший сосуды укол, иначе могло кончиться печально. Невменяемый, он по пути умудрился съездить Володе по физиономии – единственно что могло быть внесено ему в актив.

Слух о пьянке прошелестел и угас, никого особенно не взволновал. Художник, писатель... – им на роду написано надираться до положения риз, так что ничего удивительного. Правда, в окружении хозяина мастерской кое-кто заподозрил нехорошее, некоторые перестали ходить, но и эта ситуация была вскорости избыта.

Самое же важное – Володя перестал общаться, звонки с его стороны прекратились. По всей видимости, его начальники посчитали операцию провальной, а агента не способным к продолжению сотрудничества.

– Я не верил своему счастью, – признался дед. – Вылезть из такого дерьма... и мечтать не мог. Правда, накрылась поездка в Париж, ну и слава богу.

– Как сложилась жизнь Глеба?

– Мы никогда больше не встречались. Года через три он эми-

грировал в Заокеанию. Издал пару книжек, большого интереса они не вызвали. Жил потом на пособиях, ничего серьезного не печатал. По слухам, поменял жену, пристроился к богатой бабе, так и существовал до самой смерти. Говорили, что проклинал эмиграцию. А я все эти десятилетия ношу позор в себе, как каторжник ядро. Нет месяца, чтобы не вспоминал тот кошмар. Теперь станет легче – исповедался самому родному, самому дорогому человеку, – дед с трудом поднялся, шагнул к Лео, отбросил палку и обнял его. Плечи старика сотрясались от немых рыданий...

– Заклинаю тебя: сторонись этой проклятой организации, беги от нее как от чумы, проказы, – слабо доносился голос деда. – В мои времена *контора* не светилась, себя не афишировала, действовала исподтишка, ибо была под партией, а не сверху, но уже многие годы абсолютно вся власть у нее, и неважно, кто во главе Славишии, ее человек или внешне нейтральный – все одно он принадлежит ей. Она упивается силой, всемогуществом, сеет страх и гордится этим. И ничего, Лёнечка, не бойся, как бы не страшали: нет ничего более пакостного, чем страх, поддашься – и в душе немедля слом. Помни о моем печальном примере...

Дед умер через два месяца во сне. Говорят, такую смерть надо заслужить. Заслужил ли ее Леонид Генрихович? Лео казалось: запоздалое покаяние повлияло на решение Неба уготовить грешнику именно такую кончину, без боли и страданий. Заснул и не проснулся... Попадет ли в Авраамово лоно? Кто это знает...

Проститься в Союз художников пришло много народа, в основном ровесники деда, чуть старше, чуть младше. Ольга играла свою любимую Баховскую скрипичную сонату. В первом ряду сидел отец Лео с коллегами-экономистами во главе с академиком, почтившим вниманием траурную церемонию. Отец надел маску скорби, но все внимание было сосредоточено на академике, он постоянно что-то шептал тому на ухо.

О деде говорили тепло, воздавали должное как живописцу, сетовали, что его мало знают на Западе, а его работы заслуживают места в крупнейших галереях. Выглядело преувеличением, но о мертвых или хорошо, или ничего, кроме правды. Правду знал лишь один человек в траурном зале – его внук.

## 16

До окончания эксперимента оставались считанные дни. И как обычно в таких случаях, ползли из всех углов слухи, утечки информации и сделанные на их основе предположения: скажем, проверка будет проходить на суперсовременных полиграфах с использованием алгоритмов искусственного интеллекта – скрыть мысли, навести тень на плетень невозможно; обещанные бонусы дадут только тем, кто пройдет проверку; некоторых приглашали на собеседования, а о чем шла речь, никто толком не знал, а сами приглашенные словно язык проглотили.

После завтрака к Юл подошла женщина с бэйджиком «Группа сервиса» и попросила зайти в комнату номер 13 для выяснения некоторых деталей. Одета в строгий темно-серый костюм женщина напоминала сушеную воблу. Сообщив, что требовалось, она неуместно улыбнулась и обнажила проволоку на съемном зубном протезе. Юл охватило нехорошее предчувствие.

Напротив, беседовавший с ней один на один сравнительно молодой симпатичный шатен с легкой небритостью, в плотно охватывающих узкие бедра джинсах и простецкой ковбойке, вселил некоторое успокоение: тон разговора был располагающий, без нажима и давления, карие зрачки незнакомца выказывали заинтересованность, так обычно на Юл смотрели мужчины, по достоинству оценивавшие ее статью – она привыкла к этому и принимала как должное.

Незнакомец назвался Юрием и осведомился о ее впечатлениях об эксперименте: лекциях, дискуссиях, обслуживании, включая отдых. Юл дала всему высокую оценку, Юрия, судя по выражению лица, ответ удовлетворил, и он продолжил задавать простые, незаковыристые вопросы, не обязывающие напрягаться с ответами. Расспросил, чем занимается дочь (назвал ее имя, чем удивил), сделал комплимент правильному выбору Мариной бизнеса: «Желающих купить ваши наборы для раскраски, наверное, уйма – на настоящие картины у народа денег нет, а самодельные вполне по вкусу неизбалованной публике...»

Юл нравился визави, обволакивал тембр его голоса, безошибочным женским чутьем угадывала сильное мужское начало, вдрут

представила их в постели и закусила губу, устыдившись непрошеного видения.

Беседа однако шла ни шатко ни валко, Юл недоумевала, зачем ее позвали, какие такие детали требовалось уточнить, Юрий уловил момент, когда требовалось перейти к делу.

– Нас ваш дружок интересует. Интересный экземпляр. Писатель, – последнее слово Юрий проговорил, растянув слоги, почти нараспев, при этом многозначительно хмыкнув. – Что вы о нем можете сказать?

– А кого это «нас»? – не утерпела Юл. – И почему я должна отчет давать? – осмелев. Для нее мигом все стало ясно.

– Вы умная женщина, неужто не поняли, зачем и куда вас пригласили... О нем и о вас мы знаем все, и про ваши романтические отношения, и про разговоры задушевные. Хотите, напомню? К вам претензий нет, а вот Дан... Какое сложилось мнение о нем?

Юл молчала. Берет на понт или действительно подслушивали разговоры? Тот верно расценил сомнения Юл и, открыв блокнот, процитировал несколько фраз – да, похоже, именно так и звучали они в устах Дана и Лео во время пьянки, напрягла память Юл. Наверняка подслушивали, а то и снимали скрытой камерой, неужто и интимные сцены? Юл передернуло. Вот твари...

– Дан та еще штучка. Маскируется под патриота, на самом же деле... Вы его не жалейте, не защищайте, он того не стоит. И с вами балуется, поскольку иных вариантов нет. Он же бабник отъявленный, бросит вас, едва покинет пансионат.

Юрий сделал паузу, ожидая ответной реакции, но ее не последовало – Юл оцепенела, ее, смелую, боевую, решительную, словно парализовало, лишило дара речи.

– В общем, так. Порывать с ним отношения не нужно, будьте более навязчивой, играйте в любовь, он несомненно клюнет, – посчитал возможным начать давать инструкции Юрий. – Приглашайте в гости в свой город, благо недалеко ехать, не отказывайтесь от его приглашений. Мои коллеги станут периодически с вами встречаться, будете рассказывать им о вашем общении. И не вздумайте с нами шутки шутить – иначе бизнес дочери и свою работу у нее поставите под удар, – добивал Юрий. – Знаете, рейдерский захват может случиться или что другое. А станете честно помогать – мы

поможем, найдем новых заказчиков на ваши картинки. Даю слово чекиста...

Юл уводила глаза. Не хватало еще расплакаться перед этим уродом...

Собрав остатки воли, только и вымолвила дрожащим голосом:

– Мы таблетки глотаем, чтобы мозги прочистить, от ваты избавить, а вы следите за нами... Зачем тогда вся эта бутафория...

– Дорогая Юл, это разные вещи, не смешивайте, эксперимент – одно, а безопасность – совсем иное. Следили и следить будем. За всеми неблагонадежными – кадров у нас хватит. И вот еще что. О нашей беседе никому ни звука, особенно вашему дружку, предупреждаю.

Покинув злополучную комнату, Юл поднялась к себе и прилегла в одежде на постель. Мысли путались и обрывались, как нитки в руках неумелой портнихи. Надо будет объяснить Дану, почему проигнорировала очередную встречу в кинозале, придумать что-нибудь. Как теперь строить с ним отношения... Все рассказать, послав подальше Юрия с его предупреждением? Неизвестно, как Дан отреагирует, поверит ли в искренность признания, не посчитает ли нежелательным для себя продолжать их связь? В крайнем случае, придется водить гэбистов за нос, врать, рассказывать то, чего не было – можно на этом вынужденном вранье засыпаться, а тогда..., тогда начнут мстить Марине, законопатят бизнес. А жить на что? О господи, надо же так влипнуть: был бы месте Дана нормальный мужик, без заморочек, никакой не писатель, а работяга простой или служащий, лучше всего, чиновник, и не пристали бы к ней соглядатаи, не потребовали шпионить и доносить.

Исподволь удивительным образом вызревало навеянное потерянной смутное отчуждение к человеку, который еще вчера казался близким, она начинала строить планы на счет совместного житья, Дан виделся, возможно, мужем – а почему нет? И вот все псу под хвост, все надежды, устремления. Нет, так нельзя, пыталась себя остановить, ей с Даном хорошо во всех смыслах, никаких сожалений, угрызений – но неминуемая мысль-древоточец продолжала угрызать.

Она встала с постели, потеряла переносицу, подергала мочки

ушей, пытаюсь снять наваждение, открыла холодильник, налила водки на донышке стакана, выпила и начала маятниково ходить по комнате. В конце концов, ничего страшного не произошло, никто ничего не знает и не узнает, Дану о разговоре с Юрием ни слова, для гэбни попробую под дурочку сыграть: ничего опасного в речах дружка нет, мы в основном бытоустройство новое обсуждаем, возможный мой переезд в столицу, и о сексе говорим – оба это дело обожаем, а о политике – ни-ни. Поверят или не поверят, их дело. А может, вообще обо мне забудут – мало ли таких, как я, пытаются в свои сети завлечь, каждую овцу пасти – столько чабанов не на-старчишь...

Так пыталась успокоить себя, замирить со случившимся, найти оправдания – и чем сильнее старалась, тем хуже получалось.

Днем позже, после обеда, чем-то встревоженный Лео (было видно по его сумрачному лицу) отвел Дана в сторону и попросил срочно выйти на улицу, захватив с собой Юл. По части отдыха на природе к концу пребывания в пансионате вышло послабление, гулять теперь можно было в любое время. Дан не стал задавать навоящие вопросы, чувствуя – приключилось нечто серьезное.

Лео и Капа уже ждали на выходе. Соединившись, четверка двинулась аллеей, вмяная сырые нехрустящие липнущие к подошвам листья, дамы раскрыли зонты – сухая погода сменилась мокрядью, когда дождь не сеялся, а стоял в воздухе, колючий, противный, мужчины обошлись без зонтов, предпочтя кепки и поднятые воротники плащей. Лео залучил компанию вглубь леса, на одну из боковых дорожек, спереди и сзади никого не было видно.

– Ну, здесь можно общаться без посторонних, е.. их мать, – ругнулся и с места в карьер: – Капитолина, излагай.

Та подняла красный зонт повыше, чтобы присутствующие могли приблизиться и не уткнуться головами в раскрытый купол, и начала:

– Меня сегодня утром вызвали к гэбэшнику, назвался Юрием, а как его на самом деле, хрен знает. Учтивый, шутки-погудки, выпрашивал про нас про всех, из его реплик поняла, да он и не скрывал: нас весь месяц прослушивали. Куда уж мастера эти засунули свои игрушки, один бог ведает. В общем, знают, о чем мы гутарили. Я как

поняла, так в крик: «Не имеете права! Это незаконно!», а он ржать начал: «Это мы-то не имеем?! Ха-ха».

Но это полбеды. Далее говнословие пошло сплошное, *сукинсы-низм*. Уговаривал меня стучать на Лео. Грозился устроить неприятности на работе, коль откажусь. Пугал, стращал. Во мне такая злость разыграла, себя не помнила, я бешеная становлюсь в такие моменты. Хуями его покрыла, он аж позеленел, сказала, что забила с прибором на его угрозы, что начальству его самому высокому напишу, как он вербует стукачей неумело, озлобляет, восстанавливает против себя. Я, конечно, лапшу на уши навешивала, на непрофессионализм била, они этого боятся, никуда я писать жалобу не стану, бесполезно, но Юрия этого гребаного попугала, это точно.

Капу слушали, не переводя дыхания.

– Перво-наперво рыженькому моему любимому рассказала – несмотря на категорический запрет кому-либо хоть слово, хоть полслова. И вот интересная история. Юрий то ли сгоряча, то ли нарочно, чтобы подействовать на меня-строптивцу, сболтнул, что наша Юл побывала у него и согласилась сотрудничать. Говори как на духу – было дело?! – высверлила ее взглядом, в котором вскипала пузырящаяся женская месть за унижения: за короткую, невольную (или специально!) задираемую юбку, чтобы лицезрели мужики крутые ляжки и иные прелести, за дивную фигуру – повод тем же особям мужеского пола непременно оглянуться вслед, за презрительные взгляды королевы, демонстрирующей золушке свои несомненные достоинства, и если бы только за это... Нет, все куда сложнее – вот он, плод с виду созревший, румяный, так и просится в рот, а на поверку с червоточиной, с темными гнилостными вкраплениями, горький, несъедобный. Женские преимущества Юл оборачивались слабостью, едва не предательством – а как иначе назовешь ее *согласие*...

– Сука ё..., – вышептала Капа.

Злость Капы имела под собой основу, но как не хотелось верить, что так легко и просто согласилась... И не проронила ни звука... Дан смотрел на Юл растеряно-безмолно.

– Это правда? – эхом повис его вопрос.

– Не верь склочной бабе, которая мне завидует, – Юл пошла в штыковую атаку, голос сорвался, вышло жалко, неубедительно – Капа торжествующе засмеялась.

– Что ты обо мне рассказала? – не принял Дан объяснение. – Только честно.

– Да ничего я не говорила, он и не спрашивал.

– Все ясно..., – выдохнул.

– Я этого так не оставлю, – ярился Лео. – На последнем собрании выступлю и разнесу в пух и прах. Прослушку устроили, будто мы шпионы какие...

– Кстати... Юрий этот тебя скрытым евреем считает – пытался меня уверить в этом, – встряла Капа. – И знаешь, какой аргумент привел? «Он умный, – ты, то есть, – поскольку еврей и не имеет права быть дураком...»

– Хватит об этом, – оборвал ее Лео.

Он повернул в сторону пансионата. Разговор затух сам собой.

Молча подошли к входу, поднялись на пятый этаж, Дан достал ключ от номера, Юл попыталась войти вместе с ним, он не пустил.

– Почему ты мне не призналась, что побывала на допросе? – произнес нутряно, натужно, словно слова доставляли физическую боль.

– Испугалась. Сама не пойму, что на меня нашло. Он давил, грозил дочкин бизнес прикрыть, если расскажу тебе. Я ничего не подписывала, никаких обязательств, он наущал против тебя, говорил, что бабник, бросишь меня, как вернешься домой, ну и всякое такое. Я не верила, молчала, никаких обещаний ему не давала... Прости меня, дуру, я виновата... прости... – она прильнула к Дану и начала целовать, тыкаясь губами, как слепой кутенок. Он оттолкнул, вошел в номер и захлопнул дверь перед Юл. Она забарабанила, он не отреагировал.

Ссорой в привычном понимании это не выглядело: они здоровались в столовой, обменивались малозначащими фразами, сидели рядом на завершающих эксперимент встречах в зале, но прежнего общения не было и в помине. *Отчуждение* присутствовало во взгляде Дана поверх головы Юл как реакция на произносимое ею, она же, несмотря на нарочитую улыбку вполне благополучной женщины и даже браваду, отчасти напоминала жалкую побитую собачонку, безуспешно пытающуюся заслужить былое расположение хозяина. Мало красилась, отчего выглядела старше своих лет, одевалась в



темное и серое, словно подчеркивая переживаемый ею внутренний разлад – Дану порой становилось ее жалко. Почему скрыла встречу с гэбистом, не открылась сразу же...? Почему?

Капу Юл демонстративно игнорировала, с Лео перешла на сугубо официальный тон, да он и не стремился общаться.

Дан понимал, что требуется прийти к какому-то знаменателю. Происходило нечто вроде семейного конфликта, когда кто-то первый должен протянуть оливковую ветвь примирения, но при этом не хочет показать слабину. Пытался найти аргументы в оправдание Юл, хотя бы частичные, не получалось – баланс отношений был поколеблен, словно новая гирька весов перевесила чашу. Если честно, он жалел об этом, однако не видел путей возврата к прежнему.

Лео ни о чем не спрашивал. Единственный разговор меж ними двоими затеялся перед прохождением проверки на полиграфе. Лео заявил, что при малейшей возможности выступит по поводу прослушки.

– Как докажешь, что нас прослушивали? – осведомился Дан.

– Никак. Просто сделаю заявление. Если кто-то захочет подробности, сошлюсь на Капу, на ее разговор с Юрием, она дала согласие. Могу упомянуть Юл, но не стану этого делать. Не нужно ее добивать, пускай живет себе спокойно, в согласии с совестью, – прозвучало уничтожительно.

– Да, ее впутывать не стоит, – согласился Дан.

– Извини, не мое дело, как ты собираешься дальше с ней...? Разойдетесь как в море корабли?

– Не знаю, – после паузы. – Если бы она как Капа, не таясь... А она решила в тайне держать. Не бабская слабость – более серьезное.

– Я тебя понимаю.

...В конце сам собой затеялся разговор о таблетках – не разговор даже, а так, пара-тройка летучих фраз: как бы мимоходом Дан заметил, что после случившегося меньше всего голову заморачивать охота, принесут пилюли искомое просветление или все по-прежнему останется. Лео, в свою очередь, выразил скепсис по поводу воздействия пилюль и поделился *завиральной* (многозначительно улыбнулся, произнеся) идеей: а может, специально было подстроено – поместить нас, срез общества, в закрытую капсулу, окунуть в навязанную лекциями и дискуссиями атмосферу, когда ни о чем

постороннем не думается, спровоцировать на откровения (кто мог предположить прослушку!), цель же одна – понять, о чем мы думаем, представляем ли опасность и если да, то какую? В общем, в черпуную коробку нашу поврежденную залезть. А уж какие выводы последуют, того нам знать не дано.

Дан пожал плечами: завиральная, говоришь, идея? А мне нравится ход твоих мыслей. Похоже, и впрямь облапошили, одурачили нас, наивными чудаками выставили... Таблетки, вполне возможно, роль заманки выполняли – и одновременно прикрытия спецоперации. Как-то так...

После ужина итоговое собрание открыл все тот же начальственного вида человек с густой расчесанной на пробор седеющей благородной шевелюрой. И тот же серый костюм и красный галстук, как при первом его появлении. Вроде только вчера познакомились, а уже месяц истек. И волчий оскал рта, когда растягивал губы в намеке на улыбку, чужую в лице.

– Итак, дамы и господа, позвольте обратиться к вам с заключительным словом, – начал он в микрофон гугнивым, слегка простуженным голосом. – Эксперимент подошел к концу, хочу надеяться, что он оправдал надежды ученых, – кивок и посыл рукой в сторону сидевшего напротив, в первом ряду, Профессора, – и вы сами чувствуете перемену во взглядах, в отношении к фактам, событиям, которые прежде воспринимали иначе, нежели сейчас. Окончательные выводы можно будет сделать после углубленного теста на детекторе лжи – конструкция его усовершенствована, использует новейшие технологии, не уступает, смею уверить, лучшим заокеанским образцам, а может, даже и превосходит. От него ничего нельзя скрыть, решительно ничего, его нельзя обмануть, ему не рекомендуется лгать – непременно разоблачит. Да...

Седовласый отпил воды из стакана, слегка прокашлялся и продолжил:

– Ну и после всего – собеседование, анализ данных полиграфа и – *финита*.

– Финита ля комедия, – хохотнул кто-то в середине зала, нарушив некую торжественность выступления.

– Я бы так не позволил себе оценивать эксперимент, – отреа-

гировал человек с микрофоном. – Вы стали участниками серьезного мероприятия, можно сказать, государственного значения.

Он истратил еще минут десять на перечень того, что происходило в течение месяца, упомянул вскользь усеменение количества прибывших участников ввиду несоблюдения некоторыми установленными правилами: «вынуждены были с ними распрощаться», коснулся воровства таблеток и поимки виновных – на выкрик из зала, что это за люди и правда ли, что агенты западной разведки, не ответил, сославшись на тайну следствия.

– А в целом, должен констатировать, эксперимент прошел организованно, и я хочу поблагодарить всех вас.

После непреременных аплодисментов посыпались вопросы. Главный касался выплаты бонусов: когда и как будет происходить; один спросил, действует ли запрет на распространение информации об эксперименте, на что седовласый утвердительно затряс крупной головой красивой лепки: «разумеется, действует, его никто не отменял». Две женщины, одна за другой, будто сговорившись, выразили признательность за прекрасное питание, вежливость и предупредительность обслуживающего персонала. Мужчина с бритым черепом в запомнившейся Дану ширпотребной черной куртке с гербом Славишии неожиданно начал исповедоваться: дескать, не может без содрогания и отвращения смотреть сейчас пропагандистские телешоу, старые и недавние, которыми пичкали весь месяц, а прежде его от экрана за уши было не оттащить... *«И вымыслов пить головизну тошнит, как от рыбы гнилой...»* – непроизвольно, автоматически произнес про себя Дан.

Выступающий прервал: «Это, разумеется, отрадно, но не упреждайте итог теста на полиграфе – тогда все окончательно выяснится...»

Дан искоса смотрел на Юл: бледная, синюшный отлив в подбровье – зримый след недосыпа, нахохлилась, зябко подрагивала, будучи в черном шерстяном свитере, хотя в зале было не холодно. И вновь на мгновение накатила горячая жалость и тут же отхлынула, как морская волна при отливе, оставив пенный след.

Вопросы, похоже, исчерпались, выступавший спустился со сцены по лестничке, публика задвигалась, некоторые потянулись к выходу, нарастал шум, и тогда Лео выскочил из своего ряда и взлетел на сцену, взяв один из микрофонов.

– Минутку, господа, задержитесь, у меня важное сообщение! – голос его от волнения вибрировал.

– Какое еще сообщение? Всё и так ясно! – слышалось в зале.

– Нет, не всё, – парировал Лео. – То, что я скажу, наверняка удивит, беспокоит. Нас прослушивали! Да, представьте. Весь месяц. Не знаю, всех ли, но, думаю, многих. Прослушивали незаконно, нарушая наши права. А кое-кого шантажировали прослушкой, грозили неприятностями, вербовали в осведомители. Есть факты и есть свидетели...

– Ни хера себе! Это как же понять? Выходит, наши разговоры в номерах известны? Мы же часто собирались, выпивали, говорили обо всем откровенно – на то и эксперимент, чтобы до истины докапываться – а выходит, были на мушке, нам не доверяли, раз прослушивали, – с места выкрикнул малый с распатланной шевелюрой, кто на первой дискуссии выдал про хороший народ и говенных людей.

– Вот именно! – поддержал Лео.

– Проверка на благонадежность? – подал голос мужчина с обвислыми, как у бульдога, щеками – он был одним из самых активных во время дискуссий. – Однако, мил человек, извините, запомнил ваше имя, соблаговолите обнародовать факты вербовки участников эксперимента. Я о подобном не слышал, меня никто не вербовал, – и «пузырь» глумливо хохотнул, будто захрюкал.

– Факты? Будут вам факты.

На сцену поднялась Капа. Кратко описала разговор с Юрием, не постеснялась воспроизвести, куда и какими словами послала его после предложения стучать на Лео. Зал возликовал: «Вот это баба! Молодец! Смелая!» И тут же слышалось: «Откликнется ей эта смелость... Гэбуха не прощает строптивых... Охомутают как пить дать...»

– Это единичный факт, – не унимался «пузырь». – А где другие доказательства?

К нему присоединились смахивавшие на близняшек особы, блеклые, с невыразительными острыми птичьими лицами, даже одеты одинаково – в ядовито-желтые брючные костюмы. Такой колер обычно используют на плакатах запретительного характера, предупреждающих об опасности.

Лео проигнорировал их выкрики.

– Поднимите руки, кого вызывали в комнату номер тринадцать. Наберитесь мужества. Когда мы не одни, с нами считаются.

– Кто ты такой, чтобы к мужеству нас призывать?! – завизжала дама с крашеными волосами медного оттенка, сколотыми в пучок на затылке. Та самая, кого он неучтиво прервал при обсуждении самого первого доклада, нажив врага. – Рыжий гад, несешь всякий бред! – не нашла иного уничижительного аргумента.

Лео повторил вопрос – наличие микрофона давало ему преимущество, он в какой-то степени руководил аудиторией.

Люди молча оглядывались друг на друга. Ни одна рука не поднялась, через десяток секунд над головами робко выросли четыре, чуть погодя еще две.

Дан поискал глазами Юл – ее нигде не было. «Сбежала от греха подальше», только и пришло в ум. Другого он не ожидал. И тут заметил ее – взбирающуюся по ступенькам на сцену. У него перехватило дыхание.

Лео, кажется, тоже растерялся, непроизвольно приподнял плечи в немом вопросе: не мерещится ли? – передал ей микрофон, а сам бочком отступил на пару метров.

Черные свитер и юбка в сочетании с волосами цвета вороньего оперения действовали пугающе, в зале внезапно установилась желанная тишина. Юл еле слышно, почти шепотом начала рассказывать, микрофон слабо усиливал звук, публике пришлось напрячь слух, однако почему-то никто не требовал говорить громче. Дан с трудом ловил слова, внутри у него все обрывалось и переворачивалось, будто невидимый лемех подрезал пласты земли.

Юл сообщала подробности, которых Дан не знал, когда дошла до требования Юрия шпионить за любимым человеком (так и сказала – «за любимым») и упомянула обещанную кару в случае ее отказа, Дану почудилось, что зал слегка качнуло.

Закончив, Юл спустилась со сцены и вышла из помещения. Дан не последовал за ней – неведомая сила притяжения приковала к месту.

– Еще раз поднимите руки, кого вызывали в комнату номер тринадцать.

Лео отчеканил как приказ. Никто не сделал ему замечание, не потребовал умолкнуть. Поднялись почти двадцать рук.

– Спасибо, господа, что дали возможность высказаться. В любом случае полезно. Выводы составьте сами. Надеюсь, таблетки помогут..., – и он покинул сцену.

\*\*\*

Наутро всех четверых попросили немедленно покинуть пансионат. Произошло это аккуратно накануне сдачи теста на детекторе лжи. В казенном транспорте было отказано – единственно, помогли заказать такси до ближайшего города, откуда четверка рейсовым автобусом добиралась до столицы.

Шестичасовой путь располагал к долгим разговорам, однако Дан, Лео и женщины предпочли коротать его молча – лишь изредка перебрасывались малозначащими фразами. Каждый думал о своем, прикидывал, как отразится произошедшее на нем и близких (отразится несомненно – иначе и быть не может!), безотрадными мыслями никто не хотел делиться.

Дан сжимал вялые пальцы безучастно глядевшей в окно Юл, пальцы служили проводниками тепла от одного тела к другому, вместе с теплом передавались поддержка, соучастие, надежда, изредка Юл посылала благодарные флюиды, он пытался вообразить, сфантазировать их будущие отношения, получалось не очень, в умозрительно выстраиваемой картине оставались зазоры, лакуны.

Он думал о том, что жизнь его непременно изменится, став подтверждением особого смысла пережитого в последний месяц. Как бы там ни было, чем бы ни откликнулось изгнание из пансионата, он засядет за книгу об эксперименте, отбросит страхи, разрешит сомнения: лик неотвратимой неизбежности приоткроет потаенные черты, и он, Дан, воспримет их как данность, как сигнал – медлить, откладывая на потом нельзя.

Обочь проносились щиты с рекламой, дорожные указатели, деревенские постройки, сиротливые по осени поля, пролеты мостов, акведуки, абрисы дальних общественных зданий и жилых домов за лесополосой, муравчатые склоны кой-где идущего параллельно шоссе железнодорожного полотна, и нет-нет мелькали запечатленные на этих самых щитах, мостовых пролетах, жухлой траве высказывания в виде лозунгов, к которым жители Славишии привыкли, просыпаясь и отходя ко сну с неколебимым ощущением, что так

было всегда: «Родина – не та страна, в которой живу я, а та, которая живёт во мне»; «Родину любят не за то, что она велика, а за то, что она своя»; «Ты должен посвятить отечеству свой век, коль хочешь навсегда быть честный человек»; «Надо, чтобы родина была для нас дороже нас самих»; «В ком нет любви к стране родной, те сердцем нищие калеки»; «Одна ты на свете, одна ты такая...»

### Конец

*Давид Гай* – известный журналист, писатель. Около тридцати лет проработал в газете «Вечерняя Москва». В 1993 году эмигрировал в США. Живет и работает в Нью-Йорке. Он был главным редактором русско-американских еженедельников «Еврейский Мир», «Русская реклама», «В Новом Свете». Ныне он – редактор международного литературного журнала «Времена». Регулярно выступает на русско-американском телеканале RTN в программе «Пресс-клуб».

Перу Давида Гая принадлежат около трех десятков художественных и документальных книг. Среди наиболее известных – роман «До свидания, друг вечный», посвященный истории любви Достоевского и Аполлинарии Сусловой; повести «День рождения» и «Телохранитель» (по одной из них недавно в России выпущена аудиокнига); документальное исследование «Вторжение» – о войне, развязанной Советским Союзом в Афганистане (автор неоднократно бывал там в качестве журналиста); «Десятый круг» – повествование, посвященное жизни, борьбе и гибели в годы Второй мировой войны Минского гетто (книга затем вышла в США на английском языке под названием «Innocence in Hell»).

В последние годы в Москве увидели свет четыре новых книги Давида Гая: роман «Джекпот», сборник документальных очерков о крупнейших авиаконструкторах «Небесное притяжение», роман «Сослагательное наклонение» и 750-страничная сага «Средь круговращения земного...» Изданный в США в 2013 году на русском и английском языках роман Давида Гая «Террариум» посвящен России сегодняшней и завтрашней. В 2015 году в Америке и в Украине опубликован роман-антиутопия «Исчезновение».

**Евгений ЛЕСИН**

---

**ИЗБРАННОЕ**

---

Чуть ли не каждое ньюйоркское утро начинается у меня теперь с нового стихотворения москвича Евгения Лесина. И то сказать, я присоединился к несметной армии его фейсбучных читателей и читателей сравнительно поздно – года два назад, зато знаю не меньше, а может и глубже других этого самого мною читаемого поэта из современных и живых.

***Из породы семидесяхнутых***

Первое – что запозднил – связано с тем, что с эмиграцией я выпал из гнезда текущей русской литературы и наблюдаю за ней от случая к случаю, вприглядку, издали, через океан. Зато второе – что пошел в обгон его фэнов и фанатов – в прямой связи с моей советской еще профессией литкритика, который потом, в Америке, переквалифицировался в прозаика, мемуариста, эссеиста и политолога: почему не тряхнуть стариной и заняться Евгением Лесиным профессионально?

Вот стих, в котором Евгений Лесин отрешивается от своего поколения, а заодно и от модных шестидесятников:

*Шестидесятники – фантасты.  
Семидесяхнутые мы.  
Потом пришли восьмидесяты,  
Смущая слабые умы.  
А девяностые – лихие.  
А в нулевых нулевики.  
У нас так весело в России,  
Что можно сдохнуть от тоски.*

На редкость точные, пусть и иронические, характеристики.



### **Трагическая изнанка**

Не потому ли мы с ним чаще всего на одной волне – в оценках, мнениях, взглядах, вкусах и, что важнее всего – в реакциях на ход мировой истории в ее каждодневных проявлениях, а Евгений Лесин именно каждодневный поэт и держит руку на пульсе своей страны. Разумеется, как русский писатель и американский политолог, я слежу за событиями у меня на родине по российским и зарубежным СМИ, но из всех окон в Россию самым надежным полагаю лесинское, о чем бы поэт не писал – о «народе повышенной лояльности», «фестивале во время чумы», «Не люблю я ваши праздники,

Ритуалы не по мне», «Чтобы Родине изменить, Надо все же на ней жениться» и прочие прикольные, наповал, суперные, упоительные, а то и шедевральные строчки. У поэта чуть ли не в каждом стихе – мем, суперметафора. Типа «В морг пошел работать трупом», «Любить иных – тяжелый могоиндовид», «Если Тушино не город, Значит Волга не река», «Опять Суперлуние вроде. Да только не видно Луны», «Плевать на Страшный суд. И так я весь изранен» и проч.

Прошу прощения, конечно, за эстетизм. Однако вне формы нет содержания, а тут остроумные формулы под стать событийной остроте. А события на моей родине я воспринимаю на сопереживательном уровне – с грустью, тревогой и возмущением, и они меня цепляют ничуть не меньше, чем то, что происходит в стране, натурализованным гражданином которой я теперь являюсь. Однако не только по этой причине поэзия Евгения Лесина мне близка, и я ставлю ее так высоко, вровень с Сашей Черным, Николаем Олейниковым и другими лирическими парадоксалистами. Его сюжеты не только чрезвычайно актуальны, на злобу дня, но и эмоциональны, трогательны. Какая там «муза пламенной сатиры», скорее смех сквозь слезы – лот его поэзии достигает иногда философической глубины. Лесинский постулат «Поэзия должна быть без трусов» того же иронического плана, что пушкинский «Поэзия должна быть глуповата».

Как-то невесело от иных его стихов – некоторые вызывают скорее содрогание. А сам он ссылается на Тэффи: «Анекдот, в котором живешь – трагедия». Эпатажный, ерничающий, хулиганский, хунвейбинский стих Евгения Лесина – это все на поверхности, прием, маска, а за ней трагическая гримаса:

*Закрывать глаза и покориться стаду,  
Шептать себе: терпи, не умирай.  
В аду никто не плачет. «Слава аду!» –  
В аду кричат. И проклинают рай.*

Пусть парадокс, но я так думаю, что само существование разного рода безобразий, беззаконий и прочей блевотины оправдано, если оно служит причиной таких классных стихов:

*Не любили мы к стенке припертых.  
И не знали дороги кривой.  
На Гражданской мы были за мертвых,  
За живых – на Второй мировой.  
Ничего нам в итоге не светит,  
Если вдруг разобраться всерьез.  
И никто никогда не ответит  
На не заданный, в общем, вопрос.*

### **Антилетописец эпохи**

Евгения Лесина, этого антилетописца своей эпохи, тянет цитировать и цитировать. Что я постоянно и делаю в своих статьях и книгах. Тем более, когда его заносит на нашу тематическую территорию. Того же Трампа взять. Читаю у Лесина, что «Трампа не задушишь, не убьешь, Он сам, как синагога для народа». Смешно. Дальше и вовсе блеск, хоть Трамп, конечно, маргинален, сбоку припека русского сюжета:

*Мошна чиста, пуста корчма.  
А в новостях такие драмы:  
И Трамп уже обамей чма,  
А может, даже чмей обамы.*

Как и многие юмористы – от Зощенко до Довлатова, наш поэт, судя по всему, человек чувствительный, незащищенный, уязвимый к обидам, тонкокожий. А то и вовсе без кожи, а не только без трусов. Может, потому и без трусов, что тонкокожий: ему нечего скрывать и нечего стыдиться? Несмотря на то, что школа жизни у него – ого-

го: работа химиком в котельной, служба в армии, учеба в Институте стали и сплавов и проч. Только вот «как закалялась сталь» (идиома, а не название известной когда-то книги) – не про него. Не закалилась, или закалилась недостаточно. Любимый мем Лесина «Не паниковать», обращенный к френдам на ФБ, на нем самом не срабатывает. Или это работа в литературе – не только поэтом и критиком, но и редактором литературной периодики («ЛитОбоз», «ExLibris») – сделала Евгения Лесина таким ранимым? Литература еще то минное поле – знаю по себе. О эти страсти роковые...

*Что-то тяжело мне от ваших катавасий.  
 Неуютно бестолковыми ночами.  
 С подлецами не бывает разногласий.  
 Не бывает разногласий с палачами.  
 Вы убийцы, натуральные бандиты.  
 Ну какие тут полемика и споры?  
 И не врете вы себе, что из элиты.  
 Вы из шайки, а еще точнее – своры.  
 Зазвенели ваши тройки бубенцами.  
 За моря пошел куда-то Афанасий.  
 Не бывает разногласий с подлецами.  
 С палачами не бывает разногласий.  
 Добрым молодцам науки – не науки.  
 Населению колючка и баланда.  
 Не бывает разночтений, если суки,  
 Если все вы тут расстрельная команда.*

Вот как крик души становится высокой поэзией.

Евгений Лесин любит применительно к себе приводить в разных вариациях знаменитую метафору Паскаля: «Шагаю мыслящей тростинкой Среди замученных терпил».

Шагай, мыслящая тростинка, и дальше в этом сумрачном лесу и сумеречной зоне.

**Владимир СОЛОВЬЕВ,**  
**Нью-Йорк**

\*\*\*

Не говорите мне: алкаш.  
Скажите: алкороссиянин.  
А то и Крым уже не ваш,  
И мэр столицы не Собянин.

И президент всея Руси  
У вас какой-нибудь Навальный.  
Не говорите мне: дневальный.  
Не надо, господи, спаси.

Не говорите мне: хамон.  
Не говорите на иврите.  
И «да» и «нет» не говорите.  
Не говорите мне: ОМОН.

Давайте лучше про гуляш.  
Останови, магометанин...  
Не говорите мне: алкаш.  
Скажите: алкороссиянин.

\*\*\*

А я и тут с моим народом.  
Вещей не надо, дайте суть.  
Жена стареет с каждым годом,  
А первокурсницы – ничуть.

\*\*\*

Среди больных, забывчивых и черствых  
Ни мертвых не найдешь и ни живых.  
Политики начала 90-х  
Не делись никуда и в нулевых.

А, впрочем, и в 10-х те же лица.  
И вряд ли переменятся они.  
Российской Федерации столица,  
Столица не России, а Чечни.

Сибирь грозит Китаем и Кавказом.  
Европа закатилась под мечеть.  
Россия прирастает медным тазом,  
И, значит, никому не уцелеть.

И, значит, будут танцы на погостах,  
И коврики на улицах кривых.  
Политики веселых 90-х  
Не делись никуда и в нулевых.

### ***А ведь могло быть и так***

Забиты все магазины банками с черной икрой.  
Ходит народ молиться, глядит на святые мощи.  
Лежит в Мавзолее мудрый царь Николай Второй,  
Глядит на Лобное место и на Белую площадь.

Сияет огнем Тверская, но мерзкой рекламы сект  
Вы на ней не увидите. Только – родного крова.  
Переулок Деникина, Каппелевский проспект,  
Площадь барона Врангеля, площадь Петра Краснова.

Едут в новых каретах дворяне, чтоб посетить  
Место, где растерзали Лейбу Троцкого лютого.  
А на дорогах пробки. Православные, как же быть?  
Понаехали разночинцы из Кутепова и Южного Дутова.

Есть еще недостатки, крамола совсем не блеф.  
Трясут основы Империи гопники и террористы.  
Бегут евреи в Финляндию – демократическую РФ.  
Свирепствует в Малороссии ложа «Научные атеисты».

Шакалят где-то в Тифлисе банды необольшевиков:  
Льва Гайдарочубайса и Петра Джугашвили.  
Его сиятельство графа Лазаря фон Лужков  
В Минине (бывшее Тушино) крепостные чуть не убили.

А в Москве Златоглавой тихо. Звоны колоколов.  
Установили памятник. Скромный, но в самом деле,  
Как он удачно встал, меж Москвы-реки берегов,  
Митрополит Солженицын (работа скульптора Церетели).

\*\*\*

Мне хочется уехать из России.  
Не просто навсегда, а навсегда.  
В конце концов, и в Латвии красивы  
И реки, и моря, и города.

Мы ничего тут изменить не в силе.  
Я мучаюсь, и значит, я живу.  
Мне хочется уехать из России.  
Но как я заберу с собой Москву?

\*\*\*

Чеши, где чешется,  
Не лезь в траншею.  
А если вешаться,  
То мне на шею.

### ***Краткая история государства российского от Большого взрыва до наших дней***

#### **1**

Земля была безвидна,  
Безвидна и пуста.  
Ни бога, ни вселенной,  
Ни Крымского моста.  
Ни верных скреп духовных,  
Ни чёрта с дамой трэф.  
Лишь дух один носился  
Над будущей РФ.

Носился и носился,  
Искал аперитив.  
И как-то вдруг очнулся:  
Большой устроил взрыв.

И тут уже, поверьте,  
Такое началось:  
Развитие вселенной,  
Рожденье вкривь и вкось.

То вакуум, то звезды,  
Начальство у руля.  
Вращаются планеты,  
Одна из них Земля.

Моря и океаны,  
Грядет менталитет.  
Земля уже обильна,  
Порядка только нет.

На сушу вышли рыбы,  
От счастья окосев.  
И обезьяны пляшут  
Средь будущей РФ.

Одна из них сказала:  
«Здесь будет мир навек».  
Вот так и появился,  
Простите, человек.

## 2

История прекрасна:  
То Греция, то Рим.  
Унылый Агамемнон  
Идет, непобедим.

А Зевс украл Европу  
И вышел в туалет.  
Земля опять обильна,  
Порядка только нет.

Зато уже повсюду  
Не только боль и грусть.  
А славные варяги  
И киевская Русь.

Князья чего-то делят,  
Воюют, озверев.  
Вовсю кипит работа  
Над будущей РФ.

Мальбрук в поход собрался,  
Потом Наполеон.  
Земля у нас обильна.  
Порядок предрешен.

Стабильность на подходе.  
Спокойно, мужики.  
В Швейцарии за пивом  
Сидят большевики.

И спорится работа  
Средь спиленных дерев  
В ГУЛАГе и в округе  
Над будущей РФ.

Земля у нас обильна.  
Прошли, как перегар,  
Гримасы перестройки  
И гласности кошмар.



## 3

Ах, солнце мое, солнце,  
Ты выйди из-за туч.  
Невольню жду чего-то.  
Наверно, все же путч.

В Советском-то Союзе  
Повсюду закрома:  
То яма, то канава,  
То лето, то зима.

На полках магазинов  
Лишь негасимый свет.  
Обилия навалом,  
Порядка только нет.  
На съезде депутатов  
Румяный Горбачев.  
И водка по талонам,  
И сердцу горячо.

Включаешь телевизор  
(А он еще ч/б),

А там уже танцуют,  
А там ГКЧП.

Янаев, птица счастья,  
Все сделал по уму.  
Сказал: страна обильна,  
Но президент в Крыму.

Теперь порядок будет,  
Обилие придет.

Но вышло почему-то  
Опять наоборот.

## 4

Давайте все развалим,  
Сказал со всей душой  
Румяный бодрый Ельцин.  
И стало хорошо.

И ваучер в кармане  
И суверенитет.  
Страна совсем обильна.  
Порядка только нет.

Какой-то добрый малый  
Привез нам спирт «Рояль»:  
Сплошные перспективы,  
А прошлого так жаль.

Страна уже другая,  
Выходим погулять  
И видим: все в восторге  
И путча ждут опять.

Стабильность на подходе.  
Спокойно, мужики.  
В Госдуме и за пивом  
Сидят большевики.

Мы голосуем сердцем,  
Боимся прежних лет.  
Красиво пляшет Ельцин  
Порядка только нет.

Страна цветет и пахнет.  
Малиновый пиджак.  
Свобода, брат, свобода,  
Дефолт и кавардак.

Кому они лихие,  
Кому наоборот.  
И вот уже стабильность  
К нам новая идет.

## 5

Закончились все войны,  
Не зря же человек  
Сказал давно когда-то:  
«Здесь будет мир навек».

С соседями мы дружим  
Во весь телеэфир.  
И принуждаем к миру  
Неблагодарный мир.

Какая пропаганда?  
Какой двойной стандарт?  
Нас кризис не пугает.  
И даже Бонапарт.

Какие там протесты?  
Утопия, привет.  
В стране давно порядок,  
Порядка только нет.

Живем диалектично.  
Простите, ваша честь.  
Порядка, может, нету,  
Зато порядок есть.

\*\*\*

У нас сегодня выборы бога.  
Приходите, пункты во всех церквах.  
Кандидатов, в общем, немного.  
Иегова, Будда, Аллах.

Ну, и, конечно, бог самый главный.  
Тот, который один на троих.  
Бог католический, православный.  
И для каких-то верующих других.

Лютеран или протестантов.  
Короче, преемник черта.  
А может, Зевса или атлантов.  
Любитель пива и спорта.

Самый родной, справедливый.  
Сын, дух и отец.  
Бородатый, красивый.  
И вообще молодец.

За него проголосовали уже в Чечне.  
168 процентов.  
Альтернативы ему нет  
И нет конкурентов.

И не надо маршей с их глупым пафосом  
И сменой вех.  
Сижу я в жопе с моим Бахусом.  
И моей графой «Против всех».

\*\*\*

Пью на лавочке водку с конфетами.  
Подошли продавщицы с котлетами.  
Окружили в кольцо,  
Улыбались в лицо.  
И ушли, угрожая приветами.

Пью на лавочке водку с котлетами.  
Подошли хулиганы с браслетами.  
Стали бить и толкать  
И милицию звать.  
И ушли, потрясая кастетами.

Пью на лавочке водку с браслетами.  
Подошли мракобесы с приметами.  
Стали выть-голосить  
И кадиллом кадить.  
И ушли, угрожая обетами.

Пью на лавочке водку с приметами.  
Подошли коммунисты с пикетами.  
Стали митинговать  
И народ призывать.  
И ушли, угрожая Советами.

Пью на лавочке водку с пикетами.  
Подошли журналисты с газетами.  
Стали матом орать  
И статьи сочинять.  
И ушли, угрожая кометами.

Пью на лавочке водку с газетами.  
Подошли стихотворцы с поэтами.  
Стали денег просить  
И друзей поносить.  
И ушли, угрожая сонетами.

Пью на лавочке водку с поэтами.  
Подошли проститутки с минетами.  
Я им дал по рублю  
И сказал, что люблю  
Пить на лавочке водку с конфетами.

\*\*\*

Стою в кафетерии «Аист»,  
Душою и помыслом чист.  
Подходит, изрядно шатаюсь,  
Ко мне престарелый чекист.

– Разбавлю вам водочку Клинским?  
– Конечно. Давайте налью?  
И тут он заплакал: – Дзержинским  
Сгубили всю душу мою.

Какой здесь был памятник, парень...  
– Да помню я памятник ваш...  
– Подвиньтесь, товарищ, не барин, –  
Еще подгребают алкаш.

Чекиста стошнило в газету.  
(Не вся пропита еще честь.)  
– Скажу я тебе по секрету:  
А памятник все-таки есть.

Ты помнишь, как Ельцин кровавый,  
Оставив позорный редут,  
Вином упиваясь и славой,  
Его демонтировал тут?

И толпы кричали: «На свалку!»,  
Впадая в бессовестный раж...  
– А мне вот Дзержинского жалко, –  
Встревает приبلудный алкаш.

– Красивый был памятник все же.  
И в целом – сюжет бытия...  
Гляжу: даже слезы по роже.  
– Красивый, – вздыхаю и я.

Чекист оживился, руками  
Взмахнул и рюмаху махнул:  
– Давно уже памятник с нами,  
Хотя уж не с нами Кабул.

Не красный, не белый, а синий,  
Невидим, а все же магнит,

Дзержинский во славу России  
Напротив Лубянки стоит.

Раз в год, в час назначенный, лунный,  
Когда почивает страна,  
Он виден всего лишь секунду,  
Зато из любого окна.

По слухам, жрецы и путаны  
Пытались, и даже не раз,  
Опять здесь поставить фонтаны,  
Как в лютую царскую власть.

Но только не вышло! Потерю  
Никто не вернет никому...  
И я ему, знаете, верю.  
Понять бы еще – почему.

\*\*\*

То ли май на дворе, то ли самое лето.  
В автозаке унылом совет да любовь:  
Просто встретились два одиночных пикета.  
И ряды оппозиции множатся вновь.

Леон МИХЛИН

---

## ИНДИЙСКИЙ ГАМБИТ

---

*Окончание.*

*Начало в номере 1 (5) 2018*

### **Глава 9**

Какие непередаваемые ощущения в преддверии главного жизненного события – рождения первенца! Сына!

Вэл не узнавал себя с того момента, когда Анна объявила, что беременна. В нем что-то перевернулось, возникло новое, неожиданное, вышло наружу потаенное, о чем и не подозревал ранее.

Перво-наперво он бросил курить. Было мучительно трудно отвыкнуть – американские сигареты, добываемые в Союзе из-под полы, втридорога, расходовались безудержно, полпачки в день. В Америке проблемы *достать* не существовало, Вэл курил еще активнее, снимая стрессы. Это был наркотик, за который не сажали. Неимоверным усилием воли он заставил себя забыть *вкус* табака. Это было суровое испытание, которому он сознательно подверг себя, и он выдержал его, сорвавшись пару раз, но сумев затем укротить неистовое желание затянуться сладким дымом.

Анне он относился теперь куда нежнее, чем прежде, раньше, бывало, вскипал по пустякам, давал выход отрицательной энергии, теперь учился гасить негативные эмоции, глубоко упрятывать плохое настроение, и вроде бы получалось. Жена переносила новое положение стойко, не раздражалась, не закатывала истерики по пустякам, как другие беременные, не плакала, интоксикоз прошел к пятому месяцу, правда, появились на лице, руках, спине странные темные пятна. Врач-гинеколог сказал, что ничего особенного, пигментация.

В журнале Men's Health Вэл наткнулся на любопытный текст, характерно озаглавленный «6 явных признаков того, что ты пока не



готов стать отцом». Взвесил прочитанное, соотнес с собой и остался доволен – он, похоже, вполне готов. *Твои отношения с женой далеки от идеально прочных* – первый признак. У него, слава богу, все с Анной в порядке. Ну да, недели (или месяцы) недосыпания, отсутствия свободного времени и тысячи новых хлопот, связанных с ребенком, могут подточить даже прочный союз. У них такого не случится, уверенно говорил себе. *Тебе неинтересны чужие дети.*

Или еще хуже: их плач, их вопросы, их общая неуправляемость тебя реально раздражают. Ты можешь думать, что к своему ребенку у тебя возникнут другие чувства? Вэл задумался – пожалуй, чужие дети особо его не интересовали. Ну и что? – спорил с прочитанным – зато свое чадо получит любовь и ласку, а как иначе... *Ты не можешь позволить себе содержать семью.* Ну, с этим все в порядке, в ближайших планах покупка дома. *У твоих друзей нет детей.* В окружении Вэла детей имеют все. У Марка, к примеру, двое. И у него, Вэла, будут двое мальчишек... *Ты слишком молод.* Увы, не слишком. Самое время обзаводиться потомством. Наконец, шестой признак: *Тебе все еще важно выпить с друзьями в выходные.* Да, придется смириться: отныне тебе будет очень сложно выкроить время для таких встреч. И даже если твоя партнерша будет готова отпустить тебя на встречу, ты обнаружишь, что алкоголь далеко не так привлекателен, когда тебе приходится вставать по многу раз за ночь, чтобы успокоить плачущего младенца.

Внутри себя Вэл считал: самое трудное в начале семейной жизни – начисто забыть былые увлечения. Лану, скажем, и прочих любовниц. Оказалось, вовсе не так сложно – Анна смогла заместить всех. «Это и есть любовь?» – спрашивал себя Вэл и отвечал утвердительно.

...Ожидающих приема было немного – к концу рабочей пятницы очередь к гинекологу рассосалась, хотя с утра в приемной почти не было свободных кресел. К доктору Шорору стремились попасть многие – молва о нем как о высоком профи катилась по Бруклину. Родители привезли его из Белоруссии ребенком. Слава, ставший в Америке Стивенем, потратил более десяти лет, чтобы стать оперирующим гинекологом, связанным с одним из лучших госпиталей Нью-Йорка. Анна попала к нему по рекомендации приятеля мужа

– менеджера крупного хедж-фонда, приходившегося доктору родственником.

Вэла поначалу смущало, что доктор – мужчина: все-таки привычнее, когда осмотр ведет женщина. Невольно вспомнился анекдот советской поры. Врач-гинеколог идет домой после тяжелой рабочей смены, донельзя усталый, навстречу цыганка: «Мужик, давай погадаю». – «Отстань». – «Тогда за десятку *покажу*. Хочешь?» Гинеколог ее убил и суд его оправдал.

Анна хвалила доктора: «Внимательный, никуда не торопится, подробно отвечает на вопросы». И Вэл смирился. Сегодня утром он приложил ухо к округлившемуся животу жены и услышал толчки изнутри: плод торкался, как птенец в скорлупе.

Подошел черед жены, Вэл проводил ее в кабинет и вернулся на свое место. И в этот момент на пороге приемной появился Алекс. Он вел под руку невысокую брюнетку с яркими чертами лица. Заметный живот говорил, что роды близко. Вот кого Вэл не ожидал здесь увидеть, так это Алекса. Все такой же красавчик, покоритель дамских сердец, смахивающий на Джо Дассена: рослый, грива аккуратно расчесанных темно-каштановых волос, круглое лицо, выразительные, немного надменные губы, маслянистые глаза... Дассен, писали, был, несмотря на мировую славу, застенчивый, замкнутый, весьма любезный в общении, презиравший снобизм интроверт – к Алексу сие не имело никакого отношения, его сходство с певцом было исключительно внешнее. Вэл увидел памятью: темная бруклинская улица, за рулем черного «Мерседеса» Алекс, машина мчит по тротуару, норовя сбить его, Вэла, – настоящая охота. Моментально вспомнил, прокрутил кошмарный кадр и окинул недобрый взглядом прежнего знакомца, с которым не общался довольно давно.

Алекс заботливо усадил спутницу в свободное кресло в углу помещения, подошел к регистраторше, назвал свою фамилию, та подтвердила визит и попросила подождать. На обратном пути машинально пробежал глазами по лицам сидевших, наткнулся на Вэла, по инерции сделал шаг-другой и замер, как вкопанный. Долю секунды соображал: не ошибся ли, и стремительно направился к Вэлу.

– Привет, дружище! Сколько лет, сколько зим! Ты что тут делаешь? Рожать собрался?

Тупая шутка и «дружище» покоробили. Перед Вэлом выросла

рука для пожатия, он сцепил пальцы между коленями и не ответил – рука сиротливо повисла.

– Неужто все еще обижен? Брось... Что нам с тобой делить... То, преждее, былшем поросло. Я очень изменился, поверь. Женат, ждем первенца, девочку.

Вэл не реагировал.

– Живешь там же? Я помню адрес. Заеду к тебе, поговорим по душам, объяснимся. Не возражаешь? Со мной много чего произошло, и хорошего, и плохого, – и не получив ответа, вернулся к жене.

Неожиданная встреча помимо воли повлекла цепочку воспоминаний. Два выходных Вэл занимался разными делами и нет-нет мелькал Алекс, Вэл думал о нем в супермаркете, где покупал еду, на автомойке и заправке, во время прогулки с женой вдоль канала на Шипсхэдбее и даже во время телефонных бесед с Марком. Откреститься от внезапного присутствия бывшего знакомца не удавалось.

Вэл не придал значения его обещанию заехать в гости без приглашения, и немало удивился, увидев из окна черный «Мерседес» и вышедшего из машины Алекса. «Прежняя тачка или новая? Привязанностей к немецким маркам не меняет и цвет машин – тоже», – машинально отметил. Странно, в глубине души он в этот миг не только не противился появлению Алекса, но отчасти был рад. Не пытаясь разобраться в этом своем непонятном состоянии, он пошел к двери встречать незванного гостя.

...Познакомились они при следующих обстоятельствах. Алекс учился в колледже на программиста и, услышав о Вэле и роде его занятий, пришел проситься на работу. Разговорились. Алекс вырос в приморском городе, где веял легкий свободный ветер соблазнов и доступных удовольствий. Парень сполна вкусил их. Закончив три курса Политеха, эмигрировал с родителями – торгашами. К сладости денег он привык сызмальства. Вэлу новый знакомый не понравился, он не любил нагловатых самоуверенных красавчиков, полагающих, что их броская внешность откроет все потаенные двери. «Джо Дас-сен», как Вэл прозвал его про себя, с легкостью покорял женские сердца. В колледже учился с прохладцей, уповал на способности, коими природа не обделила, по его словам, бабы помогали сдавать

тесты, он же стремился обаять особо нужных, значимых представительниц бизнеса, в котором собирался зарабатывать деньги. Много денег. Мелочевка его не интересовала.

Вэл подыскал Алексу место программиста-консультанта в одном из небольших банков. Алекс употребил свои *чары* и быстро добился особого расположения менеджера, дамы-латиноамериканки не первой молодости. Буквально через месяц после трудоустройства он посетил Вэла и едва не потребовал: «Профит будешь отдавать мне...» Судя по всему, нужную информацию выудил у менеджера.

Банк платил Вэлу за каждого нанятого с его помощью консультанта 450 баксов в день, из них 300 в день он платил своему протеже, в данном случае, Алексу. 150 долларов был профит Вэла, который красавчик хотел заграбастать. Было это не по правилам, беспардонно. Наглость парня вывела Вэла из себя:

– Не с того начинаешь, – сказал как отрезал.

Так назрел первый конфликт.

Алекс однако не полез в бутылку, хитро замял разговор. А вскоре предложил:

– Давай устраивать в банк твоих людей. Менеджерша в меня втюрилась. Она замужем, интрижка на стороне ее вполне устраивает, меня – тоже. Беру ее на себя. Хочу за это 20 процентов.

Вэл согласился, хотя внутренний голос подсказывал: будь от Алекса подальше.

А тот втихоря открыл свое рекрутинговое агентство, скромно названное его именем, и начал сам устраивать на работу программистов. Из поля зрения он исчез.

Минуло некоторое время. Вэл влился в агентство Марка. На рекламное объявление пришло резюме, Вэл установил – послано агентством Алекса. Имя соискателя работы до боли оказалось знакомым – Люда Добренькая (такая замечательная фамилия!). Около года жгучая брюнетка-секси, смахивающая на цыганку, была любовницей Вэла, потом они расстались. «Интересно, в каких отношениях с этим прохвостом Алексом? Неужто теперь спит с ним? Впрочем, не все ли тебе равно?» – успокаивал себя.

С устройством Люды произошла заминка – два интервью она провалила: то ли не подошла по знаниям и малому опыту, то ли отпугнула нездешней броской красотой и бьющей в глаза сексапиль-

ностью (американцы боятся иметь в офисе подобную секс-бомбу, это обычно заканчивается скверно). Наконец, удача улыбнулась, и Добреньюку взяли на постоянную работу в финансовую компанию.

И тут позвонил Алекс с требованием:

– Отдай мне половину денег за Люду.

Вэл рассказал об этом Марку. Тот возмутился:

– Ни цента!

Получив отлуп, Алекс выругался и бросил трубку...

Позвонил он ровно через три месяца. Вэл понял, почему столько выжидал: компании платят рекрутинговым агентствам за трудоустройство программистов на постоянную работу через три месяца. «Точно рассчитал», – отметил Вэл.

Веселым, игривым тоном Алекс предложил повидаться и *перетереть* один вопрос – лезущая в уши с российских телеканалов блатная лексика не обошла стороной. Каналы эти новоиспеченные иммигранты с упоением смотрели в Америке. Договорились встретиться вечером на East 28-й улице Бруклина, между авеню Z и Y. До сих пор Вэл не может дать себе ответ, зачем дал согласие на встречу. Мог бы обойтись телефонной беседой, так нет же...

Было уже темно и безлюдно, редкие фонари почти не выделяли таун-хаусы, кирпичные шести-семиэтажные билдинги и деревья. Алекс вышел из машины и приблизился. Вэл не различал его лица и выражения глаз, зато голос с нарочито жесткими интонациями неопровержимо свидетельствовал – разговор будет крутым. И с места в карьер:

– Сопли по тарелке размазывать не буду. Когда ты отдашь бабки? Я больше ждать не намерен.

– Послушай... С какой стати я должен платить? Я устроил Люду на хорошую работу, ты не смог этого сделать, обратился к нам, мы помогли. Чего тебе еще надо?

– Бабки! Бабки мне надо, козел ёб...й! За Людкино трудоустройство твоему долбаному агентству заплачено двадцать процентов ее годовой зарплаты. Я точно знаю, меня не обманешь. Так вот, мне эти бабки нужны!

– Полегче на поворотах! Я должен обсудить с Марком.

– Плевать мне на Марка! Не отдашь, я тебя накажу. Мало не

покажется! – Алекс впадал едва не в истерику, таким взвинченным видеть его прежде не приходилось. Он замахнулся, Вэл инстинктивно отступил, кулак пролетел мимо лица. Вэл принял нужную стойку – недаром в молодости посещал секцию бокса. Алекс сделал новую попытку ударить, Вэл опять уклонился. Драться с «Дассеном» не собирался, это было вовсе ни к чему.

Адекс почувствовал, что в кулачном бою его не ждет ничего хорошего, выматерился и ретировался, бросившись к машине. Вэл посчитал инцидент исчерпанным и ошибся. Через несколько секунд зловеще зажглись фары «Мерса», и черная машина стремительно двинулась в его направлении, въехав на тротуар. Вэл пытался увернуться, выскочил на проезжую часть, потом обратно на пешеходную дорожку, «Мерс» вертелся волчком, визжали тормоза, Алекс и впрямь намеревался задавить. Выбежали соседи, залаяли собаки. Вэл заскочил в ближайший дворик перед таун-хаусом, Алекс остановился и при виде появившихся свидетелей дал по газам. «Мерс» растворился в темноте. Сквозь открытое окно машины до Вэла долетело:

– Завтра я приду за чеком...

Как и обещал, Алекс заявился в агентство к полудню. Марк уже был в курсе случившегося накануне. Его мнение было однозначным: связываться с дерьмом означало перепачкаться самим. Начнет писать всякие гадости, некоторые известные компании на всякий случай могут отказаться от дальнейшего сотрудничества с нами...

Вэл согласился.

При появлении Алекса Марк поднялся во весь рост, набычился, коротким презрительным движением руки сунул ему конверт с чеком (в нем значилась половина полученной от компании суммы) и громко, чтобы все слышали:

– Пошел вон! Чтобы я тебя больше никогда не видел. Ты – ничтожество!..

И вот теперь, по прошествии нескольких лет, «Дассен» вновь предстал перед ним. После всего хватило наглости заявиться без приглашения. Алекс принес бутылку дорогого кентуккийского бурбона. Застолья было не избежать – Вэл принял это как данность. Не гнать же гостя взашей... Анна отдыхала в спальне, не вышла к ним,

устроились в беседке дворика, примыкавшего к таун-хаусу Вэла. Хозяин принес закуску, они выпили и потекла беседа, странная и многообещающая, открывшая глаза на многое и отчасти изменившая отношение к Алексу.

Он рассказывал удивительные, откровенно не в свою пользу, истории. Словно нарочно обнажался. После того случая, «*омрачившего наши отношения*», продолжал *нагло* (так и произнес) вытягивать деньги с коллег, пока не нарвался на крутых «русских». Алекса побили. Неделю он отлежал в госпитале на Кони Айленд, куда попал по «Скорой». У него была сломана челюсть, возникла проблема с почками – «эти гады месили меня, лежачего, ногами...» Приходил в себя после избиения два месяца. «Обратиться в полицию? Дело происходило поздно вечером, у меня в квартире, куда трое в масках проникли обманом, лиц я не видел. Конечно, знал, чьих рук дело, но твердо доказать не смог бы. К тому же меня предупредили: если вякнешь – тебе хана».

Едва не став инвалидом, Алекс решил заняться иным, более прибыльным, хотя и хлопотным, делом. Через любовницу – менеджершу банка он познакомился с двумя индусами, представлявшим «ТАТА Групп» со штаб-квартирой в Бомбее – ну, теперь Мумбаи, по-ихнему. Многое по аутсорсингу он уже знал, а вот нюансы... Алекс не раз вспоминал расхожую фразу: дьявол кроется в деталях. В его случае – в нюансах.

– Поначалу постарался разузнать побольше о ТАТА, – рассказывал Алекс, закусывая пармезаном. – Оказалось, это не просто компания, а конгломерат, крупнейшая по доходам. Представительства в более чем 80 странах. Названа в честь своего основателя, Джамшеджи Тата, одного из отцов индустриализации Индии. Гениальный мужик, тот самый, кто знаменитый отель Тадж Махал построил в Бомбее. Слышал о таком?

Вэл кивнул – слышал, но не более того.

– Между прочим, этот самый Джамшеджи первым в Индии имел легковой автомобиль, еще в 1901-м, если память не изменяет. В его честь город назван. Члены его семьи и потомки всегда управляли компанией. Нынешний председатель совета директоров, Ратан Тата, у руководства уже лет десять.

Чем только не занимается ТАТА... Нет такой области, в кото-

рой не присутствует. От стали и авто и кончая энергетикой, строительством, лекарствами... Меня интересовали компьютеры, точнее, информационные технологии. Мои индусы были как раз по этой части.

– Мне про все это известно, пытался сам в этом направлении преуспеть, но тщетно, – Вэл прервал Алекса. – Может, связей не хватило, а может, чего еще, или удача отвернулась. А у тебя-то как, получилось?

– Не стану хвастать, но кое-чего в этом направлении добился. Вот слушай...

Алекс выпил, лицо, дотоле напряженное, подобрело.

– Тебе машину везти, особо не усердствуй, – предупредил Вэл.

– Не бойсь, дружище. Ехать недалеко. В крайнем случае, тачку оставляю и вызову кар-сервис... Так вот, я начал получать все больше резюме от программистов из Индии. Хотели работать в Штатах. Понятно, у нас больше платят. Меня эти ребята поначалу не слишком интересовали. Менеджеры индийского происхождения в наших банках – другой коленкор. Я звонил им, пытался устроить к ним своих людей. Ничего не получалось. Они просто не хотели разговаривать со мной и приглашать на интервью моих кандидатов. Мои же знакомые индусы особо не откровенничали, планами не делились, те самые *нюансы* держали под спудом.

Я все больше запутывался в ситуации.

...Бутылка бурбона ополовинилась. Гостя хмель брал сильнее, Вэл держался стойко. Разговор причудливо вился змейкой, легко переползал с одного на другое. Алекс начал рассказывать о жене, ее звали Марта, будучи полукровкой (отец-славянин, мать-еврейка) из того же, что и Алекс, вольного приморского города, она ведала финансами в крупнейшем хедж-фонде, распорядилась миллионными средствами именитых клиентов, в основном из мира кино и телевидения. Вэл знал, что его визави охмурял женщин, которые потом помогали ему, альфонсом не был, однако деньги подруг частенько использовал в своих корыстных интересах. «Не зря сошелся с Мартой – в хедж-фондах бедных нет...» Алекс же разоткровенничался и сообщил, что впервые в жизни по-настоящему влюбился, они ждут девочку и он абсолютно счастлив в семейной жизни. «А как же



былые увлечения, куча любовниц?» – Вэл не упустил случая подколоть. – «Поверь на слово – все осталось в прошлом. Я стал верным супругом», – и засмеялся искренне и безобманчиво, так непохоже на себя.

«Вот это поворот...» – изумился Вэл.

Змейка в очередной раз вильнула и привела их к прерванному диалогу.

– Подавленное состояние становилось постоянным моим спутником, – повторил Алекс сказанное несколькими минутами ранее. – Нутром, которое прежде меня не обманывало, чувствовал – рядом валом идут, как рыбы на нерест, деньги, много денег – и мимо меня. Ты ведь знаешь, я всегда любил легкие деньги, – и он осклабился, – а тут облом. И я решил лететь в Индию...

Дальнейшие его откровения вызвали у Вэла жгучий интерес, хотя неоторые подробности не принял всерьез – кое-что собеседник наверняка приукрашивал. Непохоже на него мчаться невесть куда без конкретного плана, серьезных связей – пара телефонов, полученных от знакомых индийцев, не в счет. Алекс однако уверял – именно так и было. Как и то, что, связавшись с рекомендованными в Нью-Йорке менеджерами компаний в Дели и Бомбее (новое название мегаполиса – Мумбаи – игнорировал), он, по его словам, быстро разобрался в хитросплетениях тамошних компьютерных бизнесов. Выглядело хвастовством, но Алекс стоял на своем: «быстро разобрался».

Все оказалось удивительно просто. Как все гениальное. Один человек. Да-да, Вэл. Один человек владеет компьютерным бизнесом миллиардной страны. Одновременно он владеет всей металлургической промышленностью. Плюс ему принадлежит выпуск всех автомобилей индийского производства и много чего еще. Ты понял, кого я имею в виду, – главу ТАТА, всесильного магната, мультимиллиардера.

– Я подошёл к его 60-этажному зданию в Бомбее. Мне объяснили, что двадцать этажей занимают машины. Самые дорогие, со всего мира. Тачек стоимостью меньше двухсот тысяч в его гараже нет. Потом идёт множество ресторанов всех кухонь мира, с самыми лучшими поварами. Я уныло подумал о том, что с удовольствием поел бы французскую пищу – двух отравлений местной едой мне хватило...

Наконец, тридцать этажей занимают семьи близких родственников этого удивительного человека. При этом бизнес он ведёт из менее респектабельного здания, расположенного неподалеку...

Вэл мысленно представил небоскреб с дорогими авто, великолепными интерьерами ресторанов, роскошным убранством жилых этажей. «Привирает, конечно, за Алексом это водится, но, похоже, ТАТА и впрямь командует бизнес-парадом. Сейчас он поведает, как пробился на прием к самому главному, недоступному, недостижимому боссу...»

Вэл ошибся. Встреча с набобом не упоминалась. Алекс вспоминал два месяца, проведенные в Дели, Бомбее и Бангалоре, два трудных месяца. «Климат, скажу тебе, кошмарный, наша ньюйоркская жара и влажность ничто по сравнению с индийской, особенно в сезон муссонных дождей. Я попал туда аккурат в разгар этих проклятых дождей – в августе. А еще убивают запахи, при всем желании не смогу их описать – это нечто запредельное. Шикарный небоскреб и рядом зловонные трущобы... А еда... Местные специи, включая неизменную куркуму, во все блюда добавляют, та еще тошниловка...» Русских ресторанов нет, потому что наши в Индии нечастые гости, российские туристы в основном, немногочисленные группы. Есть, правда, русские жены, те готовят дома, приучают мужей к борщам, гречневой каше, пельменям... Индийцам русская пища кажется пресной... Такие дела...

– Хорошо, каков же итог твоей поездки?

– Открыл в Бомбее агентство, нанял с десятков местных программистов, договорился с двумя ньюйоркскими финансовыми компаниями – те предложили участие в серьезных проектах, выделили средства на зарплаты. Короче, появился один из каналов аутсорсинга. Профит немалый оказался. Плюс, нашел стремящихся поработать в моей конторе в Штатах – больших усилий не понадобилось, желающих пруд пруди, все зарятся на американские деньги. По возвращении домой оформил им бизнес-визы на год. И знаешь, какой вывод составил? Сложные вещи индийцы в своих компаниях делать не могут, они должны находиться у нас в Америке, под нашим контролем, мы должны их направлять, объяснять, что к чему.

Алекс отодвинул недопитую бутылку бурбона – «достаточно» и попросил чаю. Странно видеть бывшего недруга, вальяжно полу-

развалившегося в плетеном кресле и делящегося тем, что, кроме него, Вэлу покамест рассказать не мог никто. Бизнес – такая хитрая штука... Враги вдруг становятся друзьями, партнеры обманывают и предают... Алекс – не партнер и не друг, но теперь, кажется, и не враг, и впрямь кое в чем изменился...

– Скажи начистоту, исходя из своего личного опыта: с индийцами можно иметь дело?

– Ну... – слегка замялся с ответом, – я не так хорошо их изучил, времени было мало. Одно могу сказать: публика специфическая. Мы более прямые и открытые, индийцы же себе на уме, любят личные отношения. Дела по телефону решаются только в самом крайнем случае – каждый, даже ничего из себя не представляющий инженер, хочет встретиться с вами лично. Наверное, самое важное правило для работы в Индии – если ты хочешь чего-то добиться, встречайся с людьми лицом к лицу. Вне работы, ты знаешь, американцы держат дистанцию, редко сближаются. В Индии таких строгих правил нет. Индийцы также ценят красноречие. С любой неприятной ситуацией человек должен стремиться справиться изящно. Не очень принято говорить прямо, особенно негативные вещи. С человеком с юга страны и с севера вы будете говорить о совершенно разных вещах, совершенно разной еде и совершенно разными словами. Нужно даже учитывать верования человека – индуисты не едят говядину, мусульмане – свинину, а на севере огромное количество вегетарианцев. Есть даже люди, которым неприятно сидеть с вами за столом, если вы едите мясо... В местных компаниях своя корпоративная культура. Старшим людям могут давать лучшую должность или большую зарплату просто за годы опыта.

– Хм, интересно...

– Что еще тебе сказать... Очень эмоциональные. Неискренние. Боязливые, готовы лизать боссу ботинки. Начальники же властолюбивы, обожают командовать, русское понятие *понты* им незнакомо. Ребята трудолюбивые, вкалывают по 10-12 часов. Но тут вмешивается разница во времени. Когда они заканчивают рабочий день, мы свой только-только начинаем. Когда вы готовы покинуть офис, их далеко не всегда можно найти. Приходится общаться по электронной почте или через третьи лица, чья миссия заключается в том, чтобы быть коммуникатором и жить в двух часовых поясах

одновременно. Как в таких условиях добиться успеха, если ответ на самый простой вопрос занимает более суток? Особенно если ответ порождает ещё больше вопросов...

Вообще-то, индийцы хорошие исполнители, но не более. Их очень трудно мотивировать. У занятых в аутсорсинге природный талант работать в полсилы, производя мало. Как правило, не имеют ни малейшего понятия о конечной цели проекта, она их попросту не интересует. Как клиент ты являешься их хозяином. Они не скажут: «нет». Однако «да» часто ничего не означает. Я, допустим, отдаю распоряжение: «Этот проект должен быть сделан к концу недели». – «Да, босс». Прошло немало времени, пока я понял: это не означает, что всё будет сделано, это лишь признание того, что вам это нужно к такому-то дню. Оправдываются они виртуозно. Настолько хороши в этом деле, что порой в себе начинаешь сомневаться...

– Коли так, зачем с ними связываться? – Вэл решил развеять сомнения.

– Ха, а бабки? Я же им плачу в три раза меньше, чем американцам! На разнице в зарплатах строится мой бизнес... А с недостатками приходится мириться. И если уж совсем откровенно, без обиняков..., – Алекс сделал заговорщическое лицо, – крупные индийские компании используют меня и таких, как я, не стесняясь предлагать сделки. «У вас в Нью-Йорке сидят наши люди, один из них подпишет с тобой контракт на аутсорсинг. Ты набираешь на работу наших программистов, привозишь их в Америку, оформляешь им бизнес-визы, а мы тебе за это хорошо платим». Такая схема.

– Зачем это компаниям?

Алекс снисходительно улыбнулся:

– Это же элементарно! Боятся, что, открыто захватывая американский рынок консалтинга, получают обвинения в монополизме и их в суды американские потянут. А ты знаешь, что это за суды? Дай бог тебе и мне не попадать в их жернова...

– Иначе говоря, ты выступаешь в роли подставного лица, так?

– Ну, вроде того. И не я один – имя нам легион, – и он засмеялся нехорошо, как прежде.

## Глава 10

Визит Алекса о многом заставил задуматься. Впечатления отразились в снах – две ночи подряд Вэл пребывал в неясноопределенной стране, в которой никогда не бывал и мало что о ней знал. Сны прерывистые и калейдоскопически мелькавшие погружали в странные картины-переплетения сказки и реальности: он перемещался на слонах по роскошным дворцам, звучала восточная музыка, вокруг находились смуглые мужчины в шароварах и тюрбанах, в строгих длинных пиджаках с воротником-стойкой, женщины в сари (откуда-то выплыло точное название) – невероятно красивой одежде из цветного шелка и хлопка, с узорами и украшениями. Некоторые, полуобнажившись, исполняли танец живота. На рассвете Вэл просыпался с ощущением свежести и легкости, будто несколько часов летал, парил, наслаждался красотой.

Он возвращался к рассказанному Алексом, оно будоражило, лишало покоя. А что, может, махнуть туда по его примеру – авось вернусь не с пустыми руками. Он – смог, а я что – глупее? И словно в ответ на потаенные мысли, в один из дней в офис Марка заглянул незнакомый индеец...

Вэлу сразу бросились в глаза дорогой костюм цвета маренго и роскошные темнокоричневые туфли из крокодиловой кожи. Высокий поджарый незнакомец носил усы щеточкой, на тонких пальцах были два перстня с драгоценными камешками. Он источал приятный запах одеколона и выглядел как с картинки модного журнала.

Гость представился, передал Марку визитку – «Чандр Рай, представитель индийской компании Zipro Technologies».

С места в карьер пригласил пообедать в хорошем ресторане. Он хочет сделать предложение, которое может весьма заинтересовать уважаемых господ, ресторан – лучшее место для такого общения. Марк замылся, Вэл незаметно подтолкнул его в бок – соглашайся. Они вышли из офиса, и Рай открыл дверцу «Бентли». Марк многозначительно переглянулся с Вэлом – на таких машинах простые клерки не ездят. Похоже, индеец – важная птица или пускает пыль в глаза. Кто его разберет...

За рулем сидел типичный американец – седовласый, белозу-

бый, загорелый, в строгом костюме с галстуком. Индеец обратился к нему на незнакомом языке, водитель ответил. Они обменялись несколькими короткими непонятными Марку и Вэлу фразами, и «Бентли» двинулся в направлении Бродвея.

Остановилась машина у ресторана Monosan Ramen на Лексингтон авеню. Они вошли внутрь, им вежливо поклонилась, соединив ладони, раскосая красавица, рассаживающая посетителей. В меню указывались японские блюда. Цены были на уровне средних манхэттенских едальных заведений. Сделали заказ, Вэл предпочел японские пельмени-гёза, салат из тунца и утиный рамен-суп. Пригласивший заказал для всех sake и пиво.

Разговор шел вокруг да около, Марк осведомился, насколько велико влияние ТАТА, индеец пожал плечами: да, корпорация мощная, многомиллиардный оборот, но и наша компания в числе ведущих в своем направлении, а еще есть Infosys Technologies и другие. Между прочим, мы входим в пятьдесят крупнейших ИТ-компаний мира.

– У вас необычная фамилия. Я из России, на русском Рай означает место в загробном мире, где обитают души умерших праведников.

– Любопытно, – индеец улыбнулся в усы. – В моей стране фамилию Рай носят торговцы.

Выпили горячего sake из керамических чашечек, и господин Рай посчитал это поводом для начала серьезного разговора.

– Я о вас знаю все, – огорошил. – Знаю ваших сотрудников, количество устроенных вами на работу консультантов за последние полгода. В банках имею своих людей, информация проверенная. Итак, 31 консультант. Работодатели платят вам за них немалые суммы. Так вот, я хочу всех перекупить, тридцать одного человека. Даю за каждого по десять тысяч.

Марк сделал круглые глаза:

– То есть, эти ребята, программисты, нам уже не будут принадлежать? В смысле, получим по десять тысяч и до свидания?

– Совершенно верно.

– А что с нашим агентством? – спросил Вэл.

– Ну, это как мы договоримся. Один вариант: вы полгода работаете за зарплату и точка, выходите из бизнеса. Другой вариант:

остаетесь рекрутерами на новых условиях оплаты ваших сотрудников. Иными словами, делитесь с нами.

Последняя фраза господина Рая сопровождалась глубоким вздохом Марка.

Выпивали и ели молча, переваривая услышанное от индийца. Марк извинился и направился в туалет. Вэл понял уловку босса и последовал за ним с интервалом в пару минут. Индиец еле заметно растянул губы в намеке на улыбку – он тоже все понял.

– Надо торговаться! – Марк выглядел необычайно возбужденным. – Он даст больше!

– Ты закроешь агентство? – Вэл демонстративно медленно вытирал руки салфеткой.

– Такие деньги на дороге не валяются. Индиец даст и полмиллиона, вот увидишь! Агентство можно закрыть и на завтра открыть снова под другим названием. Нанять тех же людей.

– Давай не решать в спешке. Поторгуюсь, а дальше видно будет.

Расстались с господином Раем тепло, даже приобняли друг друга. Шофер «Бентли» доставил обратно в офис. Новую встречу втроем назначили на следующую неделю.

В свежей почте Марк обнаружил письмо с ответом по поводу его жалобы на прерванный «Банком города» без всяких видимых причин контракт. На сей раз ответ пришел из офиса Генпрокурора. Марк вскрыл конверт, пробежал по строчкам и отшвырнул лист бумаги на стол.

– Фак! Чертовы бюрократы! Как будто без них не знаю, что никакой самый важный прокурор и даже сам президент не имеют права вмешиваться в дела частного бизнеса! Это если нет намеков на коррупцию и иной криминал. В данном же случае не намеки, а прямое свидетельство – контракт внезапно ушел в другую страну, Америка потеряла деньги. Чертовы индийцы...

На 25 отправленных писем пришли всего три невразумительных ответа. Остальные адресаты сочли возможным не реагировать.

## Глава 11

Решение вызрело быстро – буквально через пару недель Вэл имел разговор с женой по поводу поездки в Индию. Анна была категорически против.

– Бросаешь меня в таком положении... До родов четыре месяца, ты должен находиться рядом, а не лететь незнамо куда незнамо зачем. Тебя там никто не ждет. Алекс даст нужные координаты? Слушай его больше – с какой стати он будет помогать возможному конкуренту...

Она заплакала.

Сердце Вэла разрывалось от жалости к жене. Попробовал ее успокоить.

– Милая, я лечу всего на неделю. Пойми, открывается возможность откусить лакомый кусочек, промедлишь – тебя опередят.

– Лакомый кусочек... А не получится по русской поговорке: близок локоть, да не укусишь? Я с индийцами работала – ничего хорошего сказать о них не могу. Лжецы, лицемеры, обведут вокруг пальца.

– Не все же такие, есть и порядочные. Алексу удалось найти с ними общий язык, а я чем хуже?

Это была первая семейная ссора.

Вэл однако стоял на своем, упрямство являлось одной из черт его характера и он это знал. Иногда упрямство полезно, особенно когда требуется отстаивать точку зрения, которую считаешь верной. Иногда идет во вред, вовлекая в авантюры. Такое происходило не раз. Сейчас Вэл старался отбросить сомнения, и чем чаще они его посещали, тем настойчивее боролся с ними, находя, как ему казалось, веские аргументы.

... В середине ноября 1999-го он вылетел в Дели. Мир жил ожиданием Миллениума – тревожным, нервным, многообещающим. В наибольшем возбуждении пребывали программисты – многие эксперты предрекали сброс данных всех компьютеров, который, по предположению, должен был произойти 1 января Нового года.

15-часовой перелет Вэл перенес легко – половину пути спал. Приземлившись в аэропорту имени Индиры Ганди, быстро прошел



паспортный контроль, взял багаж – спортивную сумку, поменял пару сот долларов на рупии и нашел pre-paid taxi – это все еще в здании аэропорта. Его спросили, забронирована ли гостиница, он помотал головой и попросил отвезти в центр города. Ему дали бумажку типа квитанции с номером столба, к которому подрулит нужная машина. Вэл уплатил небольшую сумму и пошел искать свой столб. Мимо проезжали такси с усами и бородами смуглыми водителями в тюрбанах или чалмах. Он вспомнил рассказ Алекса: среди таксистов немало сикхов, на правой руке у них металлический браслет, свидетельствующий о принадлежности к своей касте.

Вэл удивился, когда к нему подкатил белолицый гладко бритый водитель. Он сносно говорил на английском.

– Куда ехать? – дружелюбно, с улыбкой, спросил он, взяв квитанцию. – Гостиницы у вас, как я понимаю, нет.

– В центр. Там разберемся.

– Хорошо, господин.

По дороге выяснилось: водителя зовут Тадеуш, поляк-полукровка, мать вышла замуж за индийца. Он немного говорил по-русски.

– Я тебе дам двести баксов, покажи мне город.

– Господин такой щедрый! – обомлел водитель. – Я столько зарабатываю в месяц. Я буду возить вас все время и не возьму больше ни рупии.

(Тадеуш сдержал слово – в Дели с транспортом у Вэла не было проблем).

Город ошеломил и сразу навалился несмолкаемым писком клаксонов и яркими красками сари. Водители, похоже, имели смутное представление о правилах дорожного движения и, обгоняя по встречке, недовольно сигналили летящим в лоб машинам. Если на проезжей части встречалась корова, поток машин замирал и терпеливо ждал, пока буренка соизволит уйти с дороги. «Священное, неприкосновенное животное», – объяснил водитель.

– Как вы тут водите... Кошмар..., – вырвалось у Вэла. – Так и водим, – по-русски ответил Тадеуш.

Он начал показ с Красного форта – крепости-дворца, вмещающего музеи и залы различного назначения. «Это эпоха Великих Моголов, почти четыреста лет назад, – Тадеуш выполнял роль гида. – Тут всегда уйма туристов».

Следом машина остановилась возле Ворот Индии, напомнивших Вэлу мемориальные памятники разных стран, виденные на фотографиях. Зеленые газоны были усыпаны людьми, радующимися солнцу взамен надоевших дождей.

– А это кто, сикхи? – проявил догадливость Вэл при виде бородатых мужчин в тюрбанах и чалмах, окружавших сооружение с золотистым куполом и высоким флагштоком.

– Именно так, господин. Храм и водоем – место паломничества. Когда день рождения их гуру, тут ни проехать, ни пройти. Если не возражаете, отсюда поедем на берег реки к мемориалу Махатмы Ганди. Народ его боготворит.

...Три часа пролетели незаметно. Они перекусили в кафе неподалеку от Кутб-Минар, по словам Тадеуша, самого высокого минарета из кирпича в мире – 72 метра. Водитель посоветовал взять мясо с рисом и местное пиво, предупредив, что блюдо с множеством острых специй. Вэл попробовал и скривился, но голод брал свое.

Он позвонил жене с мобильного (в Нью-Йорке было утро). Анна донельзя обрадовалась, сообщила: дома все в порядке, чувствует себя нормально. Вэл сказал, что осматривает достопримечательности в компании замечательного водителя-гида – Тадеуш понял русскую речь и кивнул в знак признательности.

– Сколько вы хотите потратить на отель?

– Не больше сорока долларов в сутки.

Тадеуш отвез в отель Amax Inn в Пахарганже.

Нашелся свободный номер – маленький, довольно чистый, полтора километра от центра, точнее, от главной торговой улицы Мэйн Базар, рядом обилие магазинчиков, кафешек. Вэл принял душ, едва поместившись в кабинке, и завалился спать.

На рассвете открыл глаза, выпростал ноги из тоненького одеяльца и несколько секунд приходил в себя. Где я, почему нахожусь здесь... Подумал о жене и ощутил одиночество. Увиденное накануне перевернулось, как в калейдоскопе сложенные под углом зеркальные стеклышки, и образовало симметричные узоры.

Он решил позавтракать в кафе рядом с отелем. Оказалась типичная забегаловка: жирные столы и плохо вымытые приборы, которые Вэл долго оттирал салфеткой. Рис оказался острым, овощи

были приправлены специями, от чего во рту горело, а главное – запах, убивавший аппетит.

Уже было жарко и влажно. Вэл представил, что будет днем, и ему расхотелось куда-либо идти. Он вернулся в отель под кондиционер. Позвонил Тадеушу, тот обещал приехать через час и повозить гостя по городу.

Вэл набрал один из номеров, переданных Алексом. Сработал автоответчик. Вэл не стал оставлять сообщение. «Позвоню позже...»

Возникла жгучая потребность поговорить с Анной, услышать ее голос, уже стал набирать номер, но вовремя остановился – в Нью-Йорке была глубокая ночь.

Телефон индийского менеджера упорно прятался за месседж, просивший оставить сообщение. Вэл игнорировал просьбу, решив попытаться счастья в неоговоренном заранее визите – кто знает, как индеец отреагирует на телефонную просьбу незнакомого американца встретиться с ним. Тадеуш привез в бизнес-эрию, остановившись у входа в 8-этажное здание. У входа курили какие-то люди, надо полагать, работающие здесь. Вэл разговорился с двумя, оказались компьютерщики.

Спросив в лобби, где находится нужная консалтинговая компания, он поднялся на предпоследний этаж. Рекомендованный Алексом Сабхаш Шарма оказался пожилым человеком с учтивыми манерами и усталым озабоченным лицом. Вэл передал привет от Алекса, в двух словах рассказал о цели поездки, менеджер извинился и попросил перенести встречу, так как торопился по делам. Договорились на завтрашнее утро.

Утром Шарма встретил гостя с улыбкой и, как показалось, искренним радушием.

– Вот ваш завтрак.

Еда была американская: крим-чиз, бэйглс, овощной салат без всяких индийских приправ и специй, маринованные огурцы, апельсиновый сок, кофе и булочки с изюмом.

Затеялся любопытный разговор, прояснивший Вэлу ситуацию. Шарма оказался весьма словоохотливым и откровенным, не чувствуя никакого риска. Возможно, сыграло роль то, что Вэл сослался на Алекса, а тому Шарма наверняка знал цену. В том же Манхэттене

ТАТА обосновалась как дома, внедрила в банки и финансовые организации своих менеджеров, а те начали брать на работу в основном приезжих земляков, получавших годовые бизнес-визы, притом платили им копейки. Это выглядело довольно вызывающе, било в глаза, и тогда ТАТА решила разбавить индийских компьютерщиков американцами, примерно 30 процентов. Устанавливаются контакты с опытными рекрутерами, рекомендованным ими программистам предлагается оплата не выше 40 долларов в час. «Нам не важно, каких программистов вы найдете, главное, чтобы они работали за эти деньги». – «Но, господин Шарма, серьезным программистам в Америке платят 60-70, а то и 80 баксов, следовательно, мы вынуждены нанимать заведомый гарбич», – оппонировал Вэл. – «Нам все равно, поймите, лишь бы были программисты. Мы берем их на работу часто без интервью...» – «Хорошо, но как же делаются проекты? От дешевых неопытных прграммистов толку мало». – «Совершенно верно. На сотню дебилов по сорок долларов, извините за такую характеристику, имеются десять высоких профи за 80 долларов, они и тянут...»

Вэл оценивал услышанное сквозь призму ему уже хорошо известного: индийцы получают от больших компаний не менее 75 баксов в час за каждого нанятого компьютерщика, а платят им 40 баксов. Речь идет о десятках тысяч людей. О такой прибыли можно только мечтать...

Договорились, что Вэл организует в Нью-Йорке встречу хозяина агентства Марка с Шармой или с кем-нибудь из его коллег.

Так закончился первый рабочий день Вэла в чужой стране.

Следующий день ознаменовался визитом в другой офис, расположенный в квартале от компании Шармы. Оповещенный звонком Вэла менеджер, молодой индиец лет тридцати, согласился принять его после обеда. Алекс, диктуя его телефон и адрес, предупредил: хитрожопый тип, держи ухо востро. Вэл в полной мере ощутил правоту данной характеристики – за полчаса разговора визави по сути ничего путного не сообщил. Одни общие слова, от конкретных вопросов уворачивался, отвечал расплывчато, туманно.

Вэл не выдержал:

– Если ты ничего интересного предложить мне не можешь, чем я могу быть тебе полезен?

- Найди мне в Нью-Йорке программистов-американцев.
- Сколько будешь платить?
- Сорок долларов час.
- Где же я найду хороших специалистов за такие гроши?
- А нам не нужны хорошие специалисты. Дай мне любого, и завтра же он начнет работать.

Повторялось услышанное вчера – прибыль добывалась испытанным способом, без особого напряжения.

Ночью Вэл почувствовал тошноту. В желудке начинался дискомфорт, вылившийся в понос. Пару часов он не вылезал из туалета. То, что должно было произойти, произошло – индийская пища пришлась не по нутру.

Заботливая Анна собрала мужу в дорогу пакет с лекарствами. Вэл нашел имодиум и принял две таблетки. Понос прекратился, но все равно было не по себе. Остаток ночи промаялся без сна и утром никуда не пошел, отменив еще одну встречу по наводке Алекса.

Он позвонил Шарме и поделился планом побывать в Бомбее (по непонятной причине никак не мог заставить себя произнести – Мумбаи). Шарма сказал, что план верный – там Вэл, возможно, найдет, что ищет, и дал номер телефона своего коллеги и приятеля. «Сошлитесь на меня, он вам поможет...»

Вэл попросил Тадеуша узнать на счет авиабилета. Проблем не возникло, и рано утром следующего дня Вэл сел в самолет местной линии.

Позавтракал он уже по прилете чашкой риса, круассаном и чаем масала, памятью о неприятности с желудком. Относительно этого необычного напитка существовали определенные сомнения, однако вновь решил рискнуть, ибо чай масала, впервые выпитый еще в кафе делийского аэропорта, показался очень вкусным. В бодрящий пряный напиток, как выяснил Вэл у официантки кафе, добавлялись кардамон, корица, имбирь, чёрный перец, гвоздика – и молоко.

Он взял такси, за рулем сидел типичный сикх – заросший черным волосом, в тюрбане и металлическим браслетом на правой руке. Вэл уже не разбрасывался долларами, а приготовил для оплаты рупии. Он попросил водителя показать город, сикх обрадовался хорошему заработку и в приливе эмоций яростно клаксонил.

Мумбаи показался еще более контрастным и необычным, чем Дели. Мелькали старинные здания в викторианском стиле – колониальное наследство британской короны, они смотрелись экзотично по мере приближения к району трущоб и лачуг из кусков ткани. Водитель давал пояснения на таком английском, что Вэл понимал лишь добрую половину сказанного.

Они проехали мимо похожего на готический собор вокзала Виктории, привокзального рынка, по главной улице с трудно произносимым названием Дадабхаджи Наороджи со знаменитым Храмом Огня и фонтаном Флора, где попали в сумасшедший трафик с какофонией из истошных сигналов машин и криков торговцев. Сикх подвез его в символу города – Воротам Индии, Вэл сказал, что похожие видел в Дели, водитель кивнул, заметив, что эти ворота – красивее. Напротив Ворот в Индию располагался самый роскошный отель города Тадж Махал. Сикх оживился и пояснил: «Здесь останавливаются только самые богатые люди, имена их вписывают в «золотую книгу». За восемь тысяч рупий можно почувствовать себя махараджей и провести здесь роскошную ночь». Вэл прикинул на доллары. Цена оказалась куда ниже номера в ньюйоркском отеле Плаза.

На улице Колабы водитель указал на кафе «Леопольд»: «Туристы очень любят это заведение. Господин (обращаясь к Вэлу) может заказать здесь тандури – мясо, жареное на гриле – с лепешкой роти или наан и наше фирменное пиво «Кингфишер». Обед обойдется господину в 500 рупий...»

Покатавшись примерно час, Вэл попросил сикха отвезти его в какую-нибудь недорогую гостиницу вблизи центра. Тот рекомендовал Empire Hotel. У входа в отель они распрощались, Вэл заплатил сверх счетчика приличную сумму, водитель долго с чувством тряс его руку, рассыпая слова благодарности.

Номер был примерно такой же, как в Дели, но более шумный. В ванной Вэл обнаружил, что душ не работает. Пришлось сменить комнату.

Он позвонил по нужному номеру. Голос с мягким, нежным индийским акцентом подтвердил, что он и есть Камал Десаи и что господин Шарма предупредил о визите американца. «Я жду вас в четыре часа дня. Запишите адрес офиса»

...Компания находилась в деловой части города, в его южной части. Свободного времени было предостаточно, и Вэл отправился на прогулку. Перед выходом из отеля он позвонил домой. В Нью-Йорке был поздний вечер. Анна не спала. «Как чувствовала, ты позвонишь», – голос звучал обрадованно. Разговор с женой успокоил, никаких претензий в его адрес, что взял и уехал, она интересовалась его делами, он ответил, что налаживает связи, а во что это выльется, пока сказать трудно.

Пообедал он, по совету сикха-водителя, в кафе «Леопольд». Тандури и впрямь оказалось вкусным, мясо было отменное, таяло во рту, лепешки, жареные в масле и запеченные на углях, напоминали питу, только более пышные и воздушные. Пиво не понравилось, тем не менее он остался доволен посещением злачного места.

...На билдинге красовалась огромная надпись: АВ@В. Крупнейшая американская телефонная компания была наглядно представлена в бизнес-столице Индии. «Каким боком она здесь присутствует? – недоумевал Вэл. – Просто реклама или нечто иное?»

Найдя нужный офис, он постучал, открыл дверь, вошел внутрь и остолбенел. За столом маленького кабинета сидел... Дирк Богарт. Гладко бритый индеец, курносый, зрачки в глубоких глазницах, был как две капли воды похож на знаменитого актера, умершего с полгода назад. Вэл обожал его и фильмы, в которых тот снялся, особенно «Смерть в Венеции» и «Ночной портье». Он видел их еще в Советском Союзе, из-под полы продавая и покупая видеокассеты, в том числе с этими лентами.

Хозяин кабинета, видя замешательство гостя, встал и пошел ему навстречу. Вэл поразился сходству роста, комплекции, прически, словом, перед ним был двойник Богарта.

После рукопожатия Вэл не выдержал и спросил:

– Вы невероятно похожи на знаменитого актера.

Губы Десаи слегка дрогнули в намеке на снисходительную улыбку.

– Я знаю.

– Вам не предлагали сниматься в Болливуде?

– Нет, к сожалению, не предлагали. Я бы не отказался. Там замечательно платят.

С этого и начался разговор.

Вэл не преминул поинтересоваться вывеской на здании.

– Мы работаем для АВ@В, вы разве не знали? – пояснил Десаи.  
– Выполняем массу операций, переданных по аутсорсингу.

Вэл и в самом деле не знал.

Проговорили они более двух часов. Особо нового гость не узнал, лишь получил новые подтверждения масштабного вторжения индийцев в рынок аутсорсинга. Вэл намекнул, что хотел бы по примеру своего товарища (пришлось назвать Алекса *товарищем*) открыть в Бомбее рекрутинговое агентство, Десаи выразил скепсис: «Вы полагаете, у нас легко начать бизнес, тем более иностранцу? Ничего подобного – по этому показателю мы во второй сотне стран...»

Десаи почему-то не испытывал энтузиазма относительно перспектив развития аутсорсинга. По его определению, сейчас золотое время, но через полтора десятка лет все может лопнуть. Доступ к ресурсам становится все более сложным. Поиск талантов в высокотехнологичных центрах, таких как Бангалор, почти так же сложен, как поиск квалифицированных людей в вашей Кремниевой Долине. Рабочих мест больше, чем профи. Резюме верить нельзя, у нас большинство программистов переоценивают свой уровень мастерства. У вас в Штатах, наверное, то же самое? Притом наши низкие, по сравнению с американскими, зарплаты рано или поздно станут расти. Тогда наши компании, чтобы остаться желанными партнерами для американцев, вынуждены будут сокращать расходы. Например, в индийской команде будет один действительно высокий профи, по совместительству менеджер проекта, остальные специалисты так себе, вчерашние ученики составят половину команды, вторая половина – типичные середняки.

– Кстати, Вэл, вы из России, я правильно понял? Есть предложение. Поезжайте к себе на родину и наwerbуйте для нас программистов. Русские ребята талантливы, дадут фору многим нашим. Пусть приедут в Мумбаи, мы оформим нужные документы, и они начнут работать у нас. Двадцать долларов час. Американцев за такие деньги днем с огнем не сыщешь, а русские согласятся и еще благодарить будут.

Вэл обещал подумать. Интересно, как Марк отнесется к такой



идее? Не дай бог, подумает, что я, уехав в Рашу в интересах индийцев, задумал бросить его...

В самом конце беседы Вэла посетила грустная мысль: не нужны индийцам ни я, ни подобные мне искатели легких денег, мы для них мотыльковая пыль, не более, за нами ни банков, ни других финансовых организаций; им нужны не мотыльки, а крупные жуки, кого можно ободрать, и на пути к этому они не поскупятся на взятки и разные дорогие подарки.

По ошибке он нажал в лифте не ту кнопку и вместо lobby оказался на первом этаже. По инерции вышел из кабины и увидел сотни пустых столов с выключенными компьютерами. Людей за темными мониторами не было. Что за чертовщина, где же сотрудники? Время ведь рабочее, еще нет шести вечера. Что-то торкнуло его изнутри (предчувствие?), и он решил понаблюдать, укрывшись у лифта.

Двое пожилых индийцев поочередно шли вдоль столов и загружали компьютеры. Один, два, десять, пятьдесят мониторов начинали светиться голубым. Вэл ничего не понимал, и вдруг его озарило: в Нью-Йорке девять утра, начало рабочего дня, включенные компьютеры сигнализируют за океан – наши люди трудятся в поте лица, все в порядке, все о'кей! И так постоянно. А индийские счета на оплату в АВ@В поступают регулярно... Неужели американцы не понимают, что их нагло обманывают, создавая имитацию работы? А может, понимают, и фокусы эти начальство телефонного монстра вполне устраивает? – незаметно заползла подобно червяку в яблоко крамольная мысль.

Он вышел из здания. Его обдала влажная жара. На душе было гадко.

## **Глава 12**

Встреча рекрутеров, собранных под крылом Немецкого банка, завершилась ровно в четыре. У них всегда так, ни минутой раньше, ни минутой позже, отметил про себя Вэл. Много о чем говорили, обозначилась перспектива крупного проекта, от которого можно попробовать отщипнуть кусочек пожирнее. Получится или нет –

другой вопрос, но попытаться необходимо, даже такой мелкой сошке как агентство Марка.

Вэл не обедал и решил перекусить в уютном ресторанчике на Broad street. На трапезу уйдет час-полтора – и домой, к жене, готовящейся стать матерью. Он освободил Анну от забот по хозяйству, нанял помощницу, которая готовила и убирала жилье.

Конец февраля выдался теплым и бесснежным. Такое в Нью-Йорке часто бывает, попирая законы природы. Вэл с удовольствием прошел пешком несколько кварталов. Узкая улица в финансовом районе Манхэттена, рядом с Уолл-стрит, биржей и небоскребами, напоминала своеобразное дно горного каньона.

*(Можно ли было представить, что спустя достаточно короткое время неподалеку произойдет чудовищный теракт, рухнут «Близнецы» и всё окрест окажется в пепле Армагеддона... В ноздри ударит смрад крематория двадцать первого века. Смрад этот составится впервые из, казалось, несопоставимых элементов: выплавленных в плазменном тигле железобетонных конструкций, электрических кабелей, стекла, пластика, краски, начинки компьютеров, канцелярских принадлежностей, одежды, человеческой кожи, мяса, костей, волос... Смрад проникнет в поры, вселив утробный ужас... Но это произойдет еще через полтора года...)*

Вэл вошёл в ресторан. Десяток столиков, половина свободна. Тихие разговоры поглощающих пищу. Мягкий свет изящных канделябров и хрустальных старинных люстр. Легко снующие официанты с подносами.

Вэла усадили в центре ресторана. Принесли меню. Он вспомнил, что Марк просил позвонить после собрания в банке. Он взял мобильник, набрал первые цифры и дал отбой. «Позвоню после обеда».

С холеным, лощеным индийцем, несколько месяцев назад пригласившим их в японский ресторан и предложившим купить их бизнес, они не договорились. Марк хотел получить в два раза больше обещанного, тот не согласился, на том и разошлись. После возвращения из Индии Вэл периодически ловил на себе испытующие взгляды босса. Что-то подозревает, чего нет и в помине, боится, что брошу его ради выдуманных его воспаленным воображением индийских коврижек... Чудак, не верит моему слову, мнительный стал

и обидчивый, раньше такого за ним не замечалось. Наверное, повлияла неудача с «Банком города», подорвала уверенность.

Вэл сделал заказ и неожиданно за спиной услышал русскую речь. Прислушался и невольно оглянулся. Беседовали двое, одного – крупного сложения, с начинающей сесть шевелюрой бобриком, наметившимся двойным подбородком и круглых очёчках – он прежде несколько раз видел.

– Почему хочешь уйти из банка? Под тобой группа толковых программистов, тебя уважает начальство...

– Кто тебе такое наплёл, Лева? В нашем банке засилие индийцев. Такое впечатление, что скоро мы станем филиалом банка Мумбаи. Уверен, мои ребята будут заменены. Не все, конечно, но многие, и я ничего не смогу сделать.

– Миша, неужели все так скверно?

– Помяни моё слово: скоро в «Золотом Банке» все заговорят на английском с индийским акцентом и на хинди. Все менеджеры будут индусы, и по утрам мы будем сидеть в позе лотоса, заниматься йогой... Я с удовольствием перейду на другую работу. Надеюсь на твое участие.

Вэл ловил каждое слово беседующих. В Нью-Йорке всего два больших русских консалтинга, и владелец одного из них Лев Гурдский сидит у него за спиной.

– Постараюсь помочь. Кстати, тебя может заинтересовать. Мой партнёр сидит сейчас на заседании в Немецком банке. Знаешь, что там обсуждают? Новой проект на серьезные деньги. Ну, для порядка пригласили некоторые агентства, чтобы все были в курсе. Создать, так сказать, типа конкурса на лучшее предложение, и чтобы у всех были равные возможности, equal opportunities. На самом деле судьба проекта решена. Разработку программного обеспечения доверили моему консалтингу. Как видишь, не все компании отдаются в индийские руки. Более того, банк согласился на наше предложение провести разработку в России. Конечно, в Москве. Снимем помещение в центре. По нашим оценкам, понадобится полсотни программистов, знающих Java. У немцев там все схвачено, банк имеет свое представительство, в хороших отношениях с властями. Правда, президент поменялся, Ельцин, как ты знаешь, ушел на покой, на его месте Путин, кагэбэшник, но это даже к лучшему. Он, говорят,

очень любит деньги, нам это наруку. И с немцами у него особые отношения, со времен службы в Германии. Так что никаких особых проблем мы не ожидаем. Так вот, приглашаю тебя на работу. Поедешь в Москву и станешь руководить значительной частью проекта, на который уйдёт порядка года...

Возникла пауза. Тянуло обернуться и взглянуть в лица сидевших у него за спиной – Вэл еле сдержался.

– Лева,...понимаешь..., я не ожидал такого предложения. У меня семья. Старший учится в университете, младшему ещё год посещать школу. Жена расстроится, если я на год уеду.

– Не требую немедленного ответа. Я его и не ожидал. Но зарплата...

– Что ты имеешь в виду?

– То, что в день приезда в Москву тебе начнет начисляться зарплата в двойном размере по сравнению с «Золотым банком». Если проект завершится успешно в установленные сроки, тебя ждет бонус сто тысяч. Далее. Моя компания оплачивает три недельных отпуска и шесть перелетов в Америку из Москвы и обратно. Разумеется, мы оплачиваем московскую квартиру, транспорт и представительские расходы, включая походы в кабаки с нужными людьми.

– Да, от такого предложения трудно отказаться..., – после раздумья произнес собеседник Гурдского. – Я должен посоветоваться с женой.

– Желательно получить ответ в течение недели.

– Хорошо... Вынужден откланяться – неотложные дела. Сколько я должен за обед?

– Ничего. Это ведь я тебя пригласил.

– Спасибо.

Миша ушел. Лев остался и заказал кофе. Вэл решился, встал и подошел к соседнему столику.

– Здравствуйте, господин Гурдский. Меня зовут Вэл. Должен перед вами извиниться. Сидел рядом, спиной к вам, невольно стал свидетелем вашей беседы.

Лев насупился и произнёс не слишком дружелюбно:

– Вы подслушивали?

– Ни в коем случае. Вышло случайно.

– Мы раньше встречались?

– Нет, виделись мимолетно, встречами нельзя назвать. Я много слышал о вас от программистов.

– Вы тоже программист?

– Нет, я не программист, занимаюсь тем же бизнесом, что и вы.

– Интересное совпадение... Итак, теперь вы в курсе проекта и нашего участия в нем. Если вы человек порядочный, то станете держать язык за зубами.

– Можете не сомневаться. Наведите обо мне справки и поймете – я никому не доставляю неприятности. Тем более, я присутствовал на том самом совещании в Немецком банке, что и ваш партнер.

– Ну, раз уж так вышло.., – Гурдский неожиданно улыбнулся, взгляд из-под очков потеплел. Он показался похожим на толстовского героя. «Вылитый Пьер Безухов», – подумал Вэл.

– Присаживайтесь за стол, – предложил Лев.

– С удовольствием. Какое вино вы предпочитаете? Можно я угощу в знак знакомства?

– Не возражаю. Люблю французские сорта.

Вэл подозвал официанта и с согласия Льва заказал два бокала Мерло.

Затеявшийся разговор коснулся разного и вылился в оценку компьютерного аутсорсинга. Он отнюдь не принадлежит лишь индийцам, не согласился Гурдский с оценкой Вэла. Есть еще Россия. Тамошние программисты не хуже американских, не все, конечно, но многие, недаром, став иммигрантами, легко устраиваются у нас. Индийцы им в подметки не годятся. А платят русским в Москве прискорбно для них мало. И мы, добавил Гурдский, легко найдем несколько десятков классных ребят – люди мечтают получить такую работу.

Вэл слушал и спрашивал себя: хватит ли духу попросить у сидящего напротив и смакующего Мерло за себя и Марка? Почему не попросить? Допустим, не сейчас – Лев неправильно поймет, а в самом ближайшем будущем... Почему нет...

Пролетело несколько месяцев. Он стал отцом Бенджамина, Бена. И все в его жизни завертелось вокруг младенца. Беспокоило лишь одно – наметившаяся трещина в отношениях с боссом. Он чувствовал ее спинным мозгом.

Анализируя ситуацию, Вэл приходил к выводу: Марк, скорее всего, начал испытывать разочарование в возможностях партнера – многое наобещал, а каков итог? Если босс думал так, то ошибался – он, Вэл, привнес в маленький бизнес стабильность и результативность, его связи сработали, количество консультантов, устроенных посредством агентства, не уменьшалось – одно это должно было создать прочный фундамент в отношениях двух людей. Увы, фундамент не образовался – скорее зыбкая почва. Фиаско с «Банком города» и бесполезная поездка Вэла в Индию омрачили настроение Марка.

Сотрудников агентства не прибавилось, те же пятеро, но Вэл чувствовал – энтузиазм их поугас.

В общем, происходило обычное явление, когда бизнес не подпитывается новыми идеями и колеса механизма вращаются на холостом ходу. Нехороший признак, думал Вэл, однако изменить ход вещей был не в силах.

Впрочем, в отличие от Марка он не терял надежду. Обзванивал и расспрашивал коллег-рекрутеров, надеялся найти выгодные проекты. Незримо в его гипотетических расчетах присутствовали индийские варианты. Одновременно сознавал: для серьезных совместных действий с индийцами он и Марк выглядели мелковато. Другое дело – Москва, проект Немецкого банка, но как подобраться к Гурдскому, чем заинтересовать? Вэл изредка звонил ему, неназойливо интересовался, что слышно в Москве, где всю пахал Миша, принявший предложение Льва. Гурдский сообщал: все о'кей, в данный момент в проекте заняты полсотни программистов. Вэл выражал радость и с сожалением отмечал про себя – сам он лишний на празднике жизни.

И вдруг звонок Льва: «Приходите с Марком ко мне в офис». Сердце забилось в знобком предчувствии – такие приглашения просто так не делаются.

Марк внимательно выслушал сообщение Вэла и без лишних слов согласился ехать. На лице его не было никаких эмоций. «Это не прежний Марк. Раньше восхищался любым моим предложением. Буквально вымаливал у меня ответы на вопрос, куда и как двигаться дальше. Он был горд, когда мои идеи начинали работать. Сегодня он не верит в успех».

В условленный день и час они вошли в одно из самых дорогих коммерческих зданий нижнего Манхэттена. Снимать здесь офис означало демонстрацию несомненного успеха.

– Похоже, дела у твоего приятеля идут совсем неплохо, – бросил Марк на ходу,

Гурдский принял их в конференц-зале. Одна из стен от пола до потолка была из стекла. С 16-го этажа открывался дивный вид на Статую Свободы и Гудзон. Секретарь принесла кофе и легкие закуски.

– Добрый день, господа. Благодарю, что нашли время посетить нашу фирму. Марк, я искренне рад лично познакомиться. С Вэлом мы уже общались...

На Льве был дорогой серый костюм и подобранный в тон сиреневый галстук. Глаза из-под блюдечек-очков источали уверенность. «Вылитый Пьер», вновь подумал Вэл, вспоминая свое первое ощущение от внешности Гурдского. И тут же осек себя: в романе Безухов, помнится, выше обыкновенного роста, широкий, с огромными красными руками..., про глаза вроде ничего не сказано. Гурдский не производил впечатление толстяка, не заполнял собой пространство, как звучало в романе. Вэл гордился, что перечитал «Войну и мир» трижды и неплохо запомнил...

Лев не стал томить, а сразу перешел к делу.

– Вэл, очевидно, говорил вам, – обращаясь к Марку, – о проекте Немецкого банка по разработке программного обеспечения. Мы занимаемся этим в Москве.

Марк кивнул – он в курсе.

– Прodelана половина работы. Банк решил ее ускорить и увеличить объемы. Выделяет дополнительный бюджет. По нашим оценкам, потребуется срочно нанять еще пятьдесят программистов. В Москве с этим нет проблем, мой представитель Майкл прекрасно справится. Но., – Гурдский сделал характерный вздох, – есть проблема с финансированием. Вы знаете немцев, осторожны и рациональны, платят с задержкой в три месяца и только после предоставления отчетных документов. А чем, скажите, платить новым нанятым сотрудникам? Плюс, придётся снять для них помещение, притом в том же здании, где разрабатывается проект. Плюс, покупка новых компьютеров. В общем, расходы и немаленькие. Немцы полагают, что их временно

возьмет на себя наша компания. Это прописано в контракте. Подчеркиваю – временно – потом деньги придут и все наладится.

Лев отпил кофе из чашки и пристально посмотрел на гостей. Вэлу показалось – немного нервничает.

– Мы сделали расчеты и пришли к выводу – на первых порах потребуются полтора миллиона долларов. Приблизительный профит от вложения этих средств составит три миллиона. Майкл предложил мне продать эту часть аутсорсинга. Но я предлагаю вам полное партнёрство.

– На каких условиях? – Марк забарабанил пальцами по колену, что выражало волнение и нетерпение. Вэл знал эту его привычку.

– Вы положите эти полтора миллиона на наш банковский счёт и сможете следить за каждым истраченным долларом. Естественно, все будет официально оформлено. А через некоторое время получите деньги назад с высокими процентами.

Марк унял барабанную дробь и взглянул на Вэла. В зрачках плескалось ошеломление и недоверие – Вэл хорошо изучил босса.

...Уточнив некоторые детали, Марк заторопился откланяться. Гурдский с чувством пожал руки обоим.

– Ожидаю ответ в ближайшие дни, – сказал на прощание.

– Да-да, – обнадежил Марк и по-журавлиному зашагал к двери.

Внутри Вэла все ликовало. «Огромный заработок и, наконец, аутсорсинг. Пусть не полный, пусть частичный, но аутсорсинг! Я положу свою долю – собранный первый взнос на покупку дома, у Марка свободные деньги имеются. От такого предложения невозможно отказаться.

Они возвращались в такси, поминутно застревавшем в трафике. Марк насупился и молчал.

– Ты рад? – не выдержал Вэл. – Мы получили то, что искали. В самом лучшем виде!

Марк резко повернул лицо.

– Ты слишком доверился этим людям. Они не дети, а прожженные бизнесмены. Мы можем не только ничего не заработать, а распростимся с полтора миллионами. И откуда взялась эта цифра? Я мысленно подсчитал – завышена минимум в два раза. Пятьдесят программистов по паре тысяч зарплаты в месяц, помножь на три



месяца, добавь рент помещения, покупку компов, ну и еще кое-что – никак не выходит полтора миллиона. Никак!

Они, наконец, добрались до 32-й улицы и вошли в офис, не произнеся ни слова. Вэл ощущал себя как при падении с высоты, на которую с таким трудом забрался. Падение было безопасным, но горьким и безнадежным.

– Не обижайся. Пойми меня, мы не знаем этих людей...

Вэл ничего не ответил.

### ***Вместо эпилога***

... – Анна, ты пьяна? Почему ты плачешь? Что случилось?

В последнее время в Вэле жили два противоположных мира. Они существовали как две параллельные прямые, которые пересекаются лишь в бесконечности. Один мир подчинялся законам счастья, и это счастье носило имя Анна. Они никогда не спорили и не ругались, ибо жена принимала во всем его сторону. Она управляла семейным кораблем, используя врожденную женскую мудрость, но делала это незаметно – напротив, демонстрировала для окружающих главную и решающую роль мужа.

Сын являлся скрепой семейных уз. Бен рос спокойным, с виду флегматичным, родители не помнили, когда он капризничал или плакал. Он рано пошел и уже в полтора годика произносил несколько десятков слов, составлял первые предложения, интересовался книжками – рассматривал картинки, переворачивал страницы, учился пользоваться карандашами; освоил ложку и вилку, предпочитал есть сам, хотя справлялся только с кашей...

Другой мир заключался в работе Вэла в агантстве Марка. Бизнес шел по убывающей. Падение не выглядело стремительным, но было очевидным. Вэл не находил себе места. Его изводила мысль, что он подвел сотрудников, хотя каждый заработал благодаря его связям десятки тысяч долларов. Но их заработки падали с каждым месяцем. И он сам ощущал нехватку средств, особенно после покупки дома у канала на Шипсхэдбее. Первый взнос тридцать процентов был, по меркам риэлторов, замечательным, однако ежемесячные платежи ощущались семейным бюджетом. Наняв няню, Анна пошла работать по прежней специальности.

Несколько раз Вэл пытался поговорить с боссом по душам. Начинал делиться опасениями, что индийцы не только захватывают компьютерный аутсорсинг, но и внутренний американский рынок программного обеспечения. Марк оставался холоднее льда.

– Вэл, мы должны просто больше работать. В Америке все уживаются и находят свои ниши.. Кто-то решил, что у индийцев разработка и поддержка программ будет дешевле, кто-то думает и делает наоборот.– Но Марк, ты понимаешь, что беря индийских менеджеров, компании отправляют наш с тобой бизнес в аут?

– Не паникуй. Даже если ты прав, это займет десятилетие. На наш с тобой век хватит. А наши дети этим заниматься не будут. Может, вскоре во всем мире роботы будут создавать программное обеспечение и потом его поддерживать.

Вэл работал все больше. Оставался допоздна в агентстве. Делал десятки звонков. Буквально умолял знакомых менеджеров приглашать найденных им программистов на интервью. Его уважали, ему верили и при первой возможности вызывали представленных им людей. Но он отчаянно чувствовал, что лакомых мест остаётся все меньше. Бум на этом рынке заканчивался. Бывшие советские инженеры, экономисты, учителя, библиотекари, музыканты, домохозяйки, за полгода наскоро обучившиеся азам программирования и звезд с неба не хватавшие, оказывались невостребованными. Отбор становился все более жестким. Что касается индийцев, то, откусывая новые и новые куски внутреннего рынка, они свободно плыли в фарватере новых веяний: работников за 40 долларов в час было пруд пруди: только свистни – мигом прибегут, деваться-то им некуда. Ими затыкали дыры, но главная ставка по-прежнему делалась на свои кадры, привезенные в Америку. Они получали еще меньше. Менеджеры банков и финансовых организаций, однако, понимали: квалификация заморских программистов недостаточна для выполнения все более сложных проектов. Приходилось нанимать нескольких профи за 60-70 баксов, они и тянули воз.

...В этот вечер Вэл опять задержался и вернулся домой к девяти. Его никто не встретил: няня, бухарская еврейка из Самарканда, обычно заканчивала работу в семь, жена и сын по обыкновению находились в детской на втором этаже. На кухне Вэл включил элек-

трический чайник, заглянул в холодильник, достал сыр и творог, и в этот момент увидел Анну. Она двигалась неверным шагом, смотрела в пол, словно боялась оступиться. Приблизившись, подняла голову, и он не узнал жену: волосы были всклокочены, тушь под глазами размазана, похоже, она плакала. От нее несло спиртным. Это выглядело настолько неожиданным, нереальным, что Вэл остолбенел. Никогда прежде он не видел жену в таком состоянии.

Анна плюхнулась на стул, обвела Вэла мутным нетрезвым взглядом и с трудом выдавила из себя:

– Что, не нравлюсь такая? Я сама себе не нравлюсь. Так дальше жить нельзя, – и заплакала.

– Анна, ты пьяна? Почему ты плачешь? Что случилось?

– Не могу больше носить в себе. Ты катишься в пропасть. Твой бизнес разваливается на глазах. Не замечать этого может только слепец. У твоего Марка мозги протухли, кроме денег он ничего не видит, а когда денег нет, винит всех, кроме себя. А главное, ничего не хочет менять. Вэл, милый, уходи из агентства, начни искать новое дело. Я поддержу тебя. Будем экономить, пока ты не найдешь себя. Обещаю: с моей стороны ни единого упрека...

Что угодно мог ожидать Вэл, но только не такого крика души. Его охватило смятение. Он старался не рассказывать жене о своих передрыгах, о испортившихся отношениях с Марком, но, оказывается, она все понимала, чувствовала и вот – сорвалась. Впервые. Прежде тяга к выпивке за ней не замечалась.

Он сел рядом, обнял жену, она прижалась к нему, вздрагивая, пытаясь что-то сказать, слова поглощались рыданиями.

– Милая, успокойся, умоляю тебя! – Вэл целовал ее щеки, слизывал соленые слезинки. Беззащитная жена была в этот момент невероятно близка ему. «Я не имею права заставлять эту женщину страдать», – тукало в висок.

Через минуту-другую Анна стихла, замерла, отключилась. Он бережно взял ее на руки, такую легкую, невесомую, и, осторожно ступая по лестнице, отнес в спальню. Раздел ее, накрыл одеялом и выключил свет. А сам заглянул в детскую. Бен спал, блаженно пузкая пузыри.

Ночь Вэл провел почти без сна, за исключением коротких минут забытья. Рядом тяжело дышала, периодически переходя на храп,

жена. Он думал о том, что она права – дальше оттягивать нельзя, надо принимать решение. Уйти в неизвестность? Куда, чем заняться? Ежемесячный мортгидж висит как дамоклов меч. Хватит ли денег на выплату... Да, есть сбережения, но надолго их не хватит.

В офисе он оказался в восьмом часу утра. Просмотрел десяток резюме, наметил, кому будет сегодня звонить. Им овладела злость. На себя, на Марка, на всех на свете. Он не любил вспышек этого чувства, но подавить его был не в состоянии.

В 7.30 на пороге появился босс. К нему вернулась прежняя, казалось, навсегда забытая привычка самому пылесосить ковры, экономя на уборщице. «Чертова скаредность...», – всерьез подумал Вэл, и злость колыхнулась внутри еще сильнее.

– Воспользовался моим советом работать больше и приперся ни свет ни заря? – бросил Марк вместо «Доброе утро». Взгляд его выражал отчуждение.

– Что бы я делал без твоих советов? – съязвил Вэл в ответ. – Пропал бы совсем...

Марк дернулся, как ужаленный, и включил пылесос. Вэл подошел и прокричал ему в ухо, перекрывая шум работающего механизма:

– Выключи, нам надо поговорить!

Марк не отреагировал. Вэл повторил просьбу и демонстративно нажал на выключатель. Босс выругался и снова включил. Так они топтались возле злосчастного пылесоса, пока, наконец, Марк не прекратил борьбу.

– Что ты хочешь сказать?

– Я хочу внедрить в твою голову очевидную мысль: мы не боремся с ветряными мельницами, как герой одного великого романа, мы боремся с системой, больно бьющей нам по головам, а главное, по карману. *С системой!* Я не об аутсорсинге, с ним все понятно. Я о том, что индийцы вторглись в наш внутренний компьютерный рынок. Самое страшное: если раньше судьбу нанимаемого на работу программиста решал непосредственно менеджер, то теперь он упрашивает начальство взять понравившегося ему человека. Начальство же требует брать индийцев. Вспомни историю с Никой...

Босса передернуло – история была не из приятных. Требовался специалист по созданию и поддержке базы данных. Место было

высокооплачиваемым. В работу включилось все агентство. «Банк Кэмпбелл» готов был дать пятьдесят тысяч долларов. Было найдено пять кандидатов, которые подходили по всем параметрам. Марк и Вэл решили нанять специалиста, который провёл бы интервью с каждым из кандидатов. В итоге остались двое – китаец и русская. При этом проводивший беседы восхищённо сообщил, что Ника (так ее звали) знает предмет лучше, чем он сам. Менеджер «Банка Кэмпбелл», знакомый Вэла, проинтервьюировал обоих кандидатов и выбрал Нику. На тот момент она работала в известной финансовой компании. Вэл полагал – уходит из-за денег. Ее ответ удивил. Оказалось, что начальство назначило в ее группу нового менеджера-индийца. Пошли разговоры, что скоро он приведет *своих*. Слухи имели под собой почву.

Нику начали оформлять в банк на высокую зарплату, через неделю она должна была присупить к работе. И вдруг... Это и в самом деле было *вдруг*. Менеджер позвонил Вэлу и потерянными голосом сообщил: «Мне позвонили *сверху* и потребовали отказать женщине и взять другого, мне совершенно не известного. Притом без интервью. Вэл, послушай, без интервью! Я не знаю, что сказать. Ты сам все понимаешь. Прости, но я ничего не могу сделать. Извинись за меня перед Никой и спасибо за время, которое истратил ты и твоё агентство...»

– Неужели тебе все еще не ясно, кто управляет делами? Индийцы тесно связаны с банковским начальством и друг с другом, своего рода мафия, их щупальца опутывают все сильнее...

– И что дальше?

– Систему победить нельзя.

– Я начинаю тебя ненавидеть. Без тебя мне было спокойно. Ты появился и всех взбаламутил, наобещал процветание, а на поверку все говно. Как и ты сам, е...ный русский.

– Если я говно, то ты законченный мудака. Ты боишься риска. Не зря говорят: кто ничем не рискует, рискует всем. Ты этого не понимаешь, тебе это не дано. Если бы послушал меня, пошел бы на контакт с Гурдским. А еще раньше – с индийцами. Я навел справки: Гурдский купил поместье в Хэмптоне, это же миллионы немерянные. А поделщик его Майкл, тот обосновался в Москве, перевез семью, вошел в совет директоров крупнейшего банка. Словом, живет при-

певаючи. А ты... Агентство еле сводит концы с концами... Еще не поздно поправить ситуацию: давай вместе полетим в Дели и Бомбей, я сведу с нужными людьми, у меня с ними не вышло, а у тебя получится, ты жесткий американец, босс, они таких уважают.

Марк набычился, щеки пошли пятнами:

– Кто ты такой, чтобы давать советы, поучать?! Я родился в этой стране и знаю ее порядки. А ты – вшивый иммигрантишка, никто и ничто. Еще слово – и я тебя ударю! – Марк отбросил пылесос и навис над Вэлом.

– Попробуй, долбаный козел! Ты не знаешь, как дерутся русские!

Офис огласился матом на двух языках.

Марк не посмел пустить в ход кулаки. Отпрянув, он включил пылесос, машинально поводит им по коврам и выключил.

– Убирайся! Ты уволен! Я больше не нуждаюсь в твоих услугах.

– Я тоже буду счастлив не видеть твою поганую рожу! И только попробуй со мной не расплатиться – мало не покажется.

Это был их последний разговор.

...В метро Вэл немного успокоился. В конце концов, нет худа без добра. Рекрутерство медленно умирает, толковые ребята сами в состоянии устроиться на хорошо оплачиваемую работу – спрос на них растет. Босс, теперь уже бывший, тянет пустышку, не в состоянии оглянуться окрест и осознать отсутствие перспективы. Ну и хрен с ним. И Вэл начал перебирать в уме варианты собственного трудоустройства.

Анна обрадовалась развитию событий, призналась, что не ожидала такого их ускорения, сказала, что заранее продумывала варианты. Она и Вэл провели мозговой штурм и наметили некоторые действия. Будущий бизнес однако вырисовывался слабо, его очертания были зыбки и размыты, напоминали силуэт в тумане.

Помог случай. На противоположной стороне канала буквально на глазах вырос многоэтажный кондоминиум. Один из приятелей Вэла, обитавший с семьей в Квинсе в маленькой кооперативной квартире с одной спальней и одним туалетом, попросил разузнать о новостройке. Он бы с удовольствием переехал в Бруклин и поселился в высотном доме у воды. Так Вэл познакомился с застрой-

щиком (он назывался девелопером) Сергеем, земляком-москвичом, начинавшим эмиграцию таксистом, а ныне выпекавшим кондо как блины. Девелопер оказался симпатичным мужиком без понтов. Он посвятил Вэла в некоторые тонкости профессии, подчеркнув главное – следует быть весьма аккуратным в выплате кредита, чтобы завоевать доверие банка, надо строго выполнять требования к стройке, не своевольничать, не пытаться обходить предписания. Расчет на авось тут не катит.

Вэл зачастил в библиотеку и засел за книги по строительству. Через пару-тройку недель он уже кое-что соображал. Его связи с банками казались неоценимыми по части получения первого кредита. Он чувствовал воодушевление, настроение улучшалось с каждым днем. Покуда не заработав на новом поприще ни цента, он несся вперед, словно яхта под парусами, подгоняемая сильным тугим ветром. Анна, лаская его ночью, шептала слова, от которых кружилась голова – словно вернулось время начала их романа.

...Ночами Вэлу мерещатся невероятные постройки, вздымающиеся ввысь, не серые однообразные громадины – цвета их напоминают небесную лазурь, на балконах толпятся люди, и он, задрав голову, приветствует их взмахом руки; картинка меняется, и вот он уже на самом верху здания, под облаками, так высоко, что захватывает дух; неожиданно все пропадает и возникает огромный монитор, как на выставках компьютерной техники будущего, за пультом управления сикхи в тюрбанах, между ними суетится, мечется до боли знакомый человек, в котором узнается Марк, он раздобыл, фигура уже не напоминает ромб, а скорее трапецию, он что-то спрашивает, подобострастно заглядывая в глаза бородачей, те игнорируют вопросы, не замечают, а на мониторе возникают виды новых небоскребов, в том числе построенных благодаря Вэлу...

*(Забегая вперед. Первый построенный Вэлом дом в Бруклине имел три этажа, девять квартир. Он удачно продал их и прилично заработал).*

... Вэл просыпается толчком и обмиранием в груди, и губы непроизвольно вышептывают когда-то читанные и засевшие в память строчки, явившиеся нежданно-негаданно – казалось, не имеют никакого отношения к снам, но будоражат, сеют смутные надежды:

*Как мелки с жизнью наши споры,  
Как крупно то, что против нас.  
Когда б мы поддались напору  
Стихии, ищущей простора,  
Мы выросли бы во сто раз...\**

*Леон Михлин – москвич. Закончил МГУ, по специальности ге-офизик. Не успел защитить кандидатскую диссертацию в связи с эмиграцией в США. В Нью-Йорке сменил род занятий: занялся компьютерным бизнесом, затем строительством, стал девелопером. Леон Михлин в юности писал стихи. В последнее время вновь взялся за перо, перейдя на прозу. Рассказ «Дом на канале» («Времена» №2/2017) – его литературный дебют.*

*Напомним, что Леон Михлин – издатель журнала «Времена».*

---

\* Р.-М. Рильке в переводе Б. Пастернака



Марина ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР

---

**ВОЙТИ В МИРАЖ**

---

*Памяти Леонарда*

**Собеседник**

Я не приемлю пустоту  
чем счастье завтра обернётся  
и тленной жизни суету  
и дня  
который не проснётся  
пока моя душа жива  
она в себя вбирает душу  
другого  
кто мои слова  
способен понимать и слушать  
мой собеседник  
мой живой  
двойник на том конце планеты  
где я пытался быть собой  
в вериги прочные одетый  
но я к тебе любовью жил  
и торил верную дорогу  
и я дождал  
и заслужил  
и собеседника  
и Бога.

\*\*\*

Упали ночью холода  
деревья разом побурели

не слышно звонкой птичьей трели  
и на фонтане кромка льда  
с трудом просунулся рассвет  
сквозь толщу вязкой синей тучи  
и с отрешённостью колючей  
дробится в стёклах блёклый свет  
уныло скушно за окном  
лишь шум машин торопит утро  
на кухне громыхает утварь  
напоминая о земном  
а руки тянутся к перу  
и незапятнанной бумаге  
что мне желанней этой тяги  
той  
без которой я умру  
и в этой адовой борьбе  
с не вовремя сманившей страстью  
сдаюсь – до  
завтрака тебе  
и ломоты в своём запястье.

### ***Сеанс акупунктуры***

Ты спокойно лежишь на тугой простыне  
лес иголок растёт как хребет динозавра  
на твоей отделённой от боли спине  
хорошо – на сегодня  
а лучше – до завтра  
за забором утробно урчит агрегат  
и молотит опавшие листья и ветки  
а в окно горьковатый плывёт аромат  
сквозь открытые поры натянутой сетки  
безмятежно ползёт череда облаков  
набухающих влагой по мере движенья  
покрасневших деревьев дырявый альков  
не укроет земли от дождя притяженья

нам не надо спешить  
постарайся уснуть  
время тихо течёт под дыханье прибора  
и китайских писем потаённая суть  
проступает в канве пожелтевших обоев.

\*\*\*

Когда вошла в него болезнь  
и силы холодно отъяла  
свершений время миновало  
прошло мечтам наперерез  
а он мечтал по зову жить  
но всё откладывал на завтра  
и не нашёл в себе азарта  
свой труд достойно завершить  
теперь наедине с собой  
он бередит былые раны  
и вызывает на экране  
мираж  
дарованный судьбой  
и боль упрятав на лице  
как клоун  
не отмывший маски  
он нам рассказывает сказки  
с печальной присказкой в конце.

### **Ночь**

Дождь ночью с ветром обнимался  
и в темноте  
стихал и снова принимался  
стучать в тщете –  
пробраться в дом  
утомониться  
и на полу  
раскинуть бусинки мониста  
в моём тылу

но мне дождя прекраснoдушный  
не нужен дар  
милей нехитрая подушка  
свечи нагар  
как хорошо  
что мы успели  
закрyть окно...  
и сладко спать в сухой постели  
когда темно.

\*\*\*

Войти в мираж  
как входят в раж  
и обо всём забыть  
и плоть лепя  
твою – любя  
любовь свою избыть  
в пространстве грёз  
немой вопрос  
как на душу бальзам  
и твой ответ –  
мгновенье лет  
где места нет слезам.

\*\*\*

Смыкаются дни  
а часы и минуты  
бегут в беспорядке  
вразброд и подряд  
и я натыкаюсь  
во тьме пресловутой  
на твой отрешённый  
беспомощный взгляд  
уходишь ...  
и падает на пол отвесно  
твой вздох

осенённый всевластной рукой  
и плачет любовь  
растекаясь в отместку  
по планкам паркета  
прозрачной рекой  
и смоем она все бывшие обиды  
оставив лишь счастья сухой островок  
который вовек не исчезнет из виду  
отмерив бессмертью положенный срок.

\*\*\*

Ты угасал  
она с косой  
уже стояла на пороге  
и ангел  
голый и босой  
готовил отлученья дроги  
но я вживалась в плоть твою  
неосторожностью влеченья  
и устремлялась в колею  
земного – свыше – отреченья  
и руки в руку взяв свою  
мечтала муки обездолить  
и оградить любви уют  
и время днями не неволить  
печально снизошла к рукам  
покоя божеская милость  
и две слезинки по щекам  
из-под закрытых век скатились  
как отпущения просил  
за всё  
что не успел до рая  
и за любовь меня простил  
которой нет конца и края.

**Заветное вино**

Ты всё берёг  
ты всё берёг  
и не давал открыть бутылку  
как будто отдавал залог  
любви восторженной и пылкой  
которая цвела в тиши  
на побережье Монтенегро  
и окрылённостью души  
спускалась в чувственные недра  
Ты всё берёг  
ты всё берёг  
вино подаренное другом  
как будто отдавал залог  
рогатой – с деланным испугом  
но не сумел – она пришла  
и увела тебя до срока  
и та бутылка залегла  
в буфете прячась одиноко  
И в день благой  
сороковой  
её открою без натуги  
и голод по любви дугой  
согнёт заломленные руки.

\*\*\*

Смятенье слабости –  
ожог  
изголодавшееся тело  
пойдёт на зов груди чужой  
которой счастье надоело  
и к той груди на миг прильнёт  
в тугих объятиях утонет  
сухой полуоткрытый рот  
на полпути к губам застонет  
но тут незримая рука

безвольного плеча коснётся  
и дуновенье ветерка  
печальным эхом отзовётся  
и тело снова обретёт  
утраченную было силу  
и слово выговорит рот  
что страсть земную победило  
А я соблазн преодолев  
с щемящей горечью и болью  
стихи читаю нараспев  
и заедаю хлебом-солью.

*Марина Тюрина-Оберландер – поэт, прозаик и переводчик. Член Союза писателей XXI века. Родилась в Ленинграде в семье выдающегося ученого-почвовед, академика И.В. Тюрина. По образованию филолог-скандинавист. С 2000 года живет в Вашингтоне.*

*Переводы печатались в «Литературной газете», журналах «Иностранная литература» и других, альманахе «Поэзия», антологиях «Современная датская поэзия», «Современная норвежская поэзия». Книги «На остром рубеже пространства» (Водолей Publishers, 2008 г.), «Музыка слов» (Водолей, 2013 г.).*

*В 2014 г. на стихи Тюриной-Оберландер вышел альбом романсов и песен «Когда врывается любовь», музыку к которым написал композитор Виктор Агранович.*

*В 2018 году Тюрина-Оберландер за многогранную творческую деятельность была удостоена международной премии Леонардо да Винчи.*

*Она – член редсовета журнала «Времена».*

**Алексей НИКИТИН**

---

**БАНДА САПЛИВЕНКО**

---

*(Киев, 1938)*

*Глава из нового романа «Бат-Ами»*

*Для публикации в журнале «Времена» я предложил главу из нового, еще не оконченного, романа «Бат-Ами». В основу романа положена история молодого боксера Ильи Гольдинова, успешно выступавшего за киевское «Динамо» в конце 30-х. С первых дней войны его судьба сложилась необычно, и многие десятилетия достоверно было известно только то, что он пропал в Киеве в 1942 году. Каким образом известный боксер, еврей, оказался в оккупированной столице Украины, с какой целью и чей приказ он выполнял, оставалось неясным. В базе данных мемориала «Яд Вашем» можно найти пять свидетельств, содержащих информацию о нем, но ни одно из этих свидетельств не является полным и каждое противоречит остальным.*

*За несколько лет работы с украинскими и немецкими архивами удалось собрать документы, содержащие ответы на большую часть вопросов и восстановить историю Гольдинова. Основной массив этих документов был рассекречен только в 2011 году. Тем удивительнее, что в послевоенном Киеве жил человек, сумевший провести собственное расследование, найти непосредственно виновного в гибели Гольдинова и довести дело до суда.*

**1**

В четыре часа дня Леня Сапливенко понял, что Костя Щегоцкий не придет. Еще в понедельник они договорились встретиться в среду, в три, у Сапливенко на Красноармейской – хотели обсудить программу тренировок по боксу для вратарей «Динамо». А потом



вместе пойти в ДК работников НКВД – в шесть часов оба должны были выступить перед шефами.

Накануне вечером телефон Щегоцкого молчал, это было обычным делом – днем «Динамо» играло с ленинградцами, и Костя после матча мог загулять с ребятами. Но и сегодня все утро трубка отзывалась только глухими тоскливыми гудками. Оставалось предположить, что Щипу взяла в оборот очередная киевская красавица, такое случалось нередко, и значит, раньше шести Сапливенко его не увидит. Отчасти это было Лене на руку – в час дня он сел писать новый доклад о подготовке боксеров-подростков. Предыдущий, прочитанный в Москве, на всесоюзном совещании тренеров, был замечен: Сапливенко сперва поругивали, потом хвалили. Прошел год, и Костя Градополов, выступавший на том же совещании с докладом «Методика бокса», уже выпустил книгу. Назвал просто – «Бокс». В украинском спорткомитете от московского отставать не хотели и давили на Леню, требовали если не книгу, то хотя бы новый, доработанный доклад. А там уже и книгу.

Сапливенко поработал еще час. Его окно выходило в тенистый двор, и в комнате было даже прохладно, но улицы затопленного зноем города задыхались в вязкой духоте раннего августа. Киевляне спасались на дачах, среди сосновых лесов – в Боярке, Буче, Пуще-Водице, и центр Киева в эти послеобеденные часы был непривычно малолюднен. Впрочем, Сапливенко к жаре привык. Он родился в Новороссийске, долго жил в Азербайджане, окончил школу в Баку, работал грузчиком. Что нового о настоящей жаре может узнать в Киеве бывший бакинский портовый грузчик?

Кем он только не был в ранней юности, даже в цирке выступал. С цирка и началась боксерская карьера Сапливенко – сперва он дрался на манеже, а в начале тридцатых, когда бокс и в Закавказье давно уже не считали только зрелищем, выиграл первенство Баку и Азербайджана в полусреднем весе. Вот тогда и начали приходить приглашения из Киева. Его звали не просто выступить за «Динамо», ему предлагали создать в Киеве боксерскую школу. Это был серьезный вызов.

Семнадцать лет после революции Киев оставался хоть и крупным, но глубоко провинциальным городом. В промышленных центрах Украины, в Одессе, в Харькове уже тренировались сильные

боксеры, готовые сражаться за призовые места на всесоюзных первенствах, а в Киеве бокс продолжали считать затеей опасной и вредной. «Пусть там, в столицах, подерутся, пока молодая кровь играет, а потом, может, и запретят», – рассуждали неторопливые киевские чиновники.

Все изменилось, когда стало известно о скором переносе в Киев столицы Украины. Украинский совет физкультуры бросился искать спортсменов по всему Союзу. И тут же сказалась конкуренция между двумя сильнейшими ведомствами страны – НКВД и РККА. Сапливенко в Киев пригласило «Динамо». Так в 1935 году сам он, а следом его ученики, которые в то время были обычными киевскими школьниками и не знали, что когда-нибудь станут его учениками, попали в систему ведомства внутренних дел.

## 2

На углу Рогнединской, загнав коляску в тень, томился одинокий извозчик: курил, почесывал плешь, брезгливо разглядывал прохожих.

– Мне на Розы Люксембург, – подошел к нему Сапливенко. Он немного опаздывал, а бежать по Круглоуниверситетской вверх в такую жару не хотел – ему еще со сцены выступать. Выглядеть выжатой после стирки простыней Сапливенко не хотел.

– Можно на Розы, – тяжело взгромоздившись на козлы, извозчик начал распутывать вожжи. Он не хотел торопиться. – Можно на Люксембург. Садитесь.

– И я спешу! – Сапливенко подумал, что если так пойдет, он напрасно потеряет время. Пешком дошел бы быстрее.

– Понятное дело, – согласился извозчик. – Кто ж в такую жару станет спешить ногами? Лучше спешить в бричке. Только, чтобы спешить с ветерком, то есть, хорошо спешить, как все любят, кобылу нужно кормить овсом. А кто ей сейчас овес выпишет? Она с двадцать девятого года кроме сухой травы ничего не видела. Поэтому спешить она будет, как сумеет. Не спеша, то есть. А в гору еще и толкать придется... Шучу, шучу я. Повезет, куда денется. С кобылой всегда договориться можно. Трамваи сходят с рельсов и режут живых людей; автобусы ломаются через день. Но им трамваев с авто-

бусами мало – они троллейбус запускают. Все у нас уже есть, а будет еще больше – на чем хочешь, на том и поезжай. Но если спешить, то это к моей кобыле. Вот вы, я вижу, приезжий...

– А что, так заметно? – удивился Сапливенко. – За три года жизни в Киеве он привык чувствовать себя киевлянином.

– Конечно. Я старый Киев всегда узнаю. Только мало его осталось. Понаехали отовсюду, а особенно сейчас, когда столицу у нас объявили. Весь Харьков здесь. Деловые, строгие все такие. Только у нас город не для строгости, а для жизни построен. Даже когда здесь деньги были, большие деньги, все равно умели жить не в строгости, а в удовольствии. Вы вот, не из Харькова, я верно понимаю? Из Одессы, наверное? С моря?

– Точно, с моря, – не стал уточнять Сапливенко. Миновав улицу Энгельса, кобыла, похоже, проснулась и бодро трусила по Крещатику.

– Мне одного взгляда хватит, чтобы понять: не из Харькова человек. И не из Москвы – те еще больше о себе воображают. А чем заканчивается? Пшик... Вот я одного футболиста как-то вез. Капитан «Динамо», знаете, может? Тоже из москвичей. Мы тут таких в восемнадцатом, когда немец был в городе, насмотрелись. «Что это у вас ямы на центральных улицах? Что это у вас по Крещатику после дождя не проехать, канализация забилась, и вы не чистите?..» А сами драпанули из Москвы и из Питера, когда хвосты им прищемили. А потом и отсюда побежали. Вы, граждане, у себя канализацию пробейте сперва, а мы со своей сами разберемся! И этот такой же был: папироски иностранные девицам тут раздавал, зажигалочку тянул прикуривать. Костюмчик – французский, ботиночки – немецкие. А знаете, почему восемнадцатый год? Потому что вчера он был, а сегодня нет его.

– Как нет? Кого нет? – растерялся Сапливенко.

– Да футболиста этого нет. Вчера его взяли после игры, прямо на стадионе. При скоплении почтеннейшей публики, как раньше говорили. Под ручки, в авто и тю-тю. Не слышали, что ли? Весь город уже знает.

– Костю? Да быть не может! – ахнул Сапливенко и тут же подумал, что как раз может. Щегоцкий был самый ярким нападающим в украинском футболе, героем десятков легенд, первым динамов-

ским орденосцем. Когда надо было выиграть у басков, громивших советские клубы, в подкрепление московскому «Спартаку» из Киева отправили его и Витю Шиловского. Так они и выступили: сперва в Москве за «Спартак», потом в Киеве за «Динамо». А на следующий год Костя сыграл капитана «Черных дьяволов» в фильме «Вратарь».

Его славе было тесно в футбольном мире, она захлестывала всю страну и сравниться с ней могли только злость и зависть, которые вызывал молодой, независимый капитан «Динамо». Зимой, перед началом сезона, Костя вернулся из подмосковного санатория и рассказывал, посмеиваясь, как один из отдыхающих написал на него донос в партком санатория. Костю вызвал секретарь и потребовал объяснить, почему тот не носит орден, которым его наградило правительство. Щегоцкий хотел пошутить насчет ордена на пижаме, но решил лишний раз не задираться и попросил пригласить доносчика, а потом долго и терпеливо объяснял обоим, что хоть он уже и награжден, но сам орден ему еще не вручили.

– Следите за газетами, дорогие товарищи. И знаете, что? В своей команде я бы вас видеть не хотел, с вами и в одном санатории опасно, – все-таки не удержался он в конце.

Так это где-то под Москвой произошло, а сколько доносов написали на Щегоцкого в Киеве, знали только те, кто их читал.

– Улица Розы Люксембург, – объявил извозчик. К какому номеру?

– К пятнадцатому. Дом культуры работников НКВД.

Весь недолгий оставшийся путь извозчик глухо промолчал, а получив деньги, не стал кланяться «на чай», пустил кобылу быстрой рысью и свернул немедленно, едва добрался до улицы Михайличенко. Похоже, он уже жалел обо всем сказанном.

### 3

Директора Дома культуры, Самуила Ароновича Ребрика, Сапливенко застал на рабочем месте, но в нерабочем состоянии.

– Леня, я чувствую себя так, словно вчера весь день пил. Так лучше бы я, извините за прямоту, пил, – пожаловался директор, когда Сапливенко вошел в кабинет. – Эта жара... Сейчас я околею прия-

мо здесь, за этим столом. Не уходите, посидите на диване – вызовете похоронную команду.

Ребрик брился наголо, холил пышные усы и на службу приходил в белом кителе. Но так он выглядел не всегда. До войны Ребрик был импресарио, привозил в Киев Морфесси, Вавича, Изу Кремер. Еще остались те, кто помнят его монокль на золотой цепочке, идеальный прямой пробор, тонкую нитку усиков, подчеркивающих линию выпуклых, ярко-красных губ.

Сапливенко познакомился с Ребриком в Баку, в конце двадцатых. Тогда он работал с цирковыми, и уговаривал молодого боксера выступать в Киеве, в бывшем цирке Крутикова.

– Пролетарию нужен, извините за прямоту, цирк! Кто мы такие, чтобы стоять на пути у пролетария?

Усики и монокль отошли в прошлое, но и время белого кителя еще не наступило. Ребрик искал новое место в жизни. Когда Сапливенко приехал в Киев, Ребрик это место уже нашел и занял, получив, в дополнение к окладу, паек и путевки в санатории НКВД по всей Украине.

– Самуил Аронович, – Сапливенко сел на диван, – пока похоронная команда занята более спешными делами, расскажите, почему у входа нет афиши с программой сегодняшнего вечера? Концерт отменили?

– Концерта не будет, Леня. Художник пишет объявление. Скоро вывесит.

– А я две недели готовил доклад и сегодня отменил тренировку.

– Меня, знаете, тоже не предупредили, – Ребрик схватил платок и круговым движением протер череп. – Никого не предупредили.

– Я пытаюсь понять. Это из-за ареста Щегоцкого отменили концерт? Или что-то еще случилось?

– Послушайте, Леня! Такая жара, а вы начинаете. Не говорите этих слов, просто внимательно послушайте, – Ребрик вскочил, запер дверь в кабинет и сел на диван рядом с Сапливенко. – Концерт для участников совещания руководителей районных и областных управлений НКВД, извините за прямоту, устроен как баня. У него два отделения: во втором – акробаты, танцы, детский хор; в первом – лекция о международном положении. Вчера лекция, сегодня лекция, завтра лекция. А международное положение всем и без нас из-

вестно: вокруг фашисты и это надолго. Поэтому работник районного управления, человек политически грамотный, засыпает на пятой минуте лекции, и никакой детский хор его после этого разбудить не может. Кто виноват? Ребрик! А зачем мне быть виноватым, Леня? У меня на концертах зритель никогда не спал и спать не будет. Даже если это, извините за прямоту, начальник районного управления НКВД. Поэтому вместо лектора я приглашаю двух молодых людей, вас и Костю, поговорить за спорт. Вернее, Костю и вас, потому что, извините за прямоту, это он в трусах мелькает загорелыми ногами перед большим начальством, это он привозит победы из Франции и Турции, это он «черный буйвол» и ему Калинин весной вручил орден. А вас я уважаю еще по Баку.

Двести пятьдесят начальников и их заместителей приезжают на совещание. Допустим, Костя Щегоцкий, не дай бог, ломает загорелую ногу и не может выступить. Я что, стану отменять концерт? Нет, я позову его друга Идзковского. Если Идзковский сломает руку, я позову Шиловского. Их там одиннадцать человек плюс тренеры плюс запасные, кто-нибудь обязательно выступит.

– В чем же тогда дело?

– В математике, Леня. Когда мне исполнилось десять, отец отвел меня в хедер, и я читал Тору. А сейчас мой сын Миша учит математику. Он решает задачи про бассейны: одну трубу открыли, другую закрыли, и все эти задачи про нашу жизнь. Например, в гостиницу «Континенталь» вчера вечером, после докладов и прений, вернулось восемьдесят пять участников совещания. Ночью к ним заехали в гости киевские коллеги, а сегодня утром, извините за прямоту, в «Континентале» осталось только пятьдесят три товарища из районов и областей. И так по всем гостиницам. В бассейне открыли трубу, понимаете? В задаче спрашивается: сколько участников совещания пришли бы сегодня на концерт? Я не касаюсь других важных вопросов: о чем бы они думали, и в каком настроении они бы слушали ваш доклад о боксе? Математика, извините за прямоту, такими категориями не оперирует. Вопрос только один: сколько бы их пришло после чистки и что бы они увидели? Полу-пустой зал?

– Поэтому вы решили отменить концерт, – догадался Сапливенко.

– Леня, – вздохнул Ребрик, – ну кто я, чтобы отменять такой концерт? Как вы это себе представляете? Я позвоню наверх и скажу: заплыв невозможен, в бассейне, извините за прямоту, осталось слишком мало воды? Они сами умеют считать не хуже нас с вами. О, как они умеют считать! Подсчитали, позвонили Ребрику, сказали: концерт отменить. Ребрик не задал ни одного вопроса, он ответил: есть. Железный нарком чистит меч революции, какие могут быть вопросы?

– Костю-то зачем было трогать? Свой же парень. А без него «Динамо» покатится по турнирной таблице.

– Люблю умных людей вроде вас, Леня, которые сами могут ответить на свои вопросы, – поднялся с дивана Ребрик. – Будете уходить, очень советую заглянуть в наш буфет. Для участников совещания утром завезли черную икру, балычок, еще там разное. Все по спеценам. Назад уже никто ничего не повезет – придется, извините за прямоту, реализовать своими силами. Так что, пользуйтесь случаем, второй такой не скоро выпадет. Я надеюсь. Идемте, я вас провожу.

Сапливенко вышел на улицу измученным и разбитым. У входа в Дом культуры уже висело свежее объявление, по техническим причинам вечерний концерт переносился на неопределенное время.

#### 4

Сказав Ребрику, что отменил тренировку, Сапливенко слегка слукавил. Тренировка началась в пять, как обычно, в спортзале на улице Либкнехта, бывшей Левашовской. Собираясь выступить на вечере, он попросил Черного и Гольдинова подменить его. Этих двоих и еще Костю Старосветского Сапливенко тренировал почти два года. Когда в тридцать седьмом ему поручили создать секцию бокса при «Юном Динамовце», ребят для старшей группы, 15-16 лет, искать не пришлось – они у него уже занимались. Он научил их всему, что открыл и понял сам за десять лет на ринге. Парни схватывали мгновенно, понемногу дорабатывали и усложняли его финты. За эти два года они стали лучшими на Украине в своих весовых категориях и уже рвались на пьедестал первенства Союза. Пока им не хватало мастерства, они еще не были виртуозами бокса, но Сапливенко не

сомневался, что пройдет два-три сезона и ученики станут его главными противниками на ринге.

Узкое, двухэтажное здание на Либкнехта делили борцы и боксеры. На первом, борцовском этаже этим вечером было тихо, но еще с лестницы Сапливенко услышал частые звуки ударов и голоса ребят, доносившиеся со второго. Поднявшись, он остановился у приоткрытой двери спортзала, наблюдая за тренировкой. Несколько человек еще работали с грушами, но почти все уже столпились возле ринга и следили за тренировочным боем. Сапливенко просто-лял незамеченным всего минуту, но за эту короткую минуту мутная тоска, накатившая во время разговора с Ребриком, отступила. Что бы с ним ни случилось, он уже научил этих ребят работать, он дал им первый импульс, задал направление развития и был уверен, что направил их верно.

Только что с ним может случиться?

Сапливенко должен был войти сильным и уверенным, оставив за дверью черную тревогу этого дня. Таким он и появился среди учеников. В зале стоял крепкий дух: мешались резкие запахи хлорки и пота, нагретой кожи боксерских груш, конского волоса перчаток. Так пахли изнурительные тренировки, проходившие в этом зале годами, так пахла его работа.

Главное в эти минуты происходило на ринге, туда он сразу и направился. А, едва разглядев, кого Гольдинов с Черным поставили в паре, тут же понял: бой нужно останавливать. Но два «пера»<sup>□\*</sup>, Хацман и Тулько, уже сцепились всерьез. Сам он никогда не сводил их на ринге – эти двое друг друга едва терпели и теперь, в его отсутствие, решили выяснить отношения публично. Это был вовсе не тренировочный бой, и по лицам Черного и Гольдинова Сапливенко видел, что те были бы рады остановить схватку, но ситуация уже вела и диктовала себя сама.

– Сколько до конца раунда, Миша? – раздвигая мальчишек, столпившихся у канатов, он пробрался к Черному, выполнявшему роль хронометриста.

– Еще минута, Леонид Афанасьевич.

– Хорошо, эту минуту пусть подерутся и останавливай бой. Какой раунд?

– Четвертый.



– Что вы устроили! – в сердцах бросил Сапливенко. – Знаете же...

– Да они сами попросили, Леонид Афанасьевич! Оба попросили!

– Это не бокс, Миша! Ты что не видишь?

– Да вижу...

Мальчишки молотили друг друга отчаянно и зло, матерясь и огрызаясь сквозь зубы, когда один вдруг связывал другого в клинче.

– Все, считай минута прошла, – окончательно рассердился Сапливенко. – Давай свисток!

Черный трижды свистнул. Гольдинов развел боксеров по углам ринга.

– Тренировка закончена! – скомандовал Сапливенко. Все – в раздевалку, переодевайтесь, потом подойдете ко мне, я буду здесь. Черный и Гольдинов – останьтесь.

– Ну, дайте хотя бы закончить бой, Леонид Афанасьевич! – возмутился Тулько. – Один раунд остался.

– Это не бой, а дворовая драка, Толик. Техники – ноль, бокса – тоже. Тебе нужно работать со снарядами, а не демонстрировать свое неумение, – не сдержался Сапливенко. – И если узнаю, что продолжили во дворе – выгоню к чертям обоих. Марш в раздевалку!

– Знаете, как вас называют? – Не остыв еще после вспышки гнева, спросил он Гольдинова и Черного, когда они остались в зале втроем. Ребята, молча и виновато, подняли на него глаза. – Банда Сапливенко. Понятно? Вчера в горисполкоме услышал. Такая у нас репутация...

Первым, после нескольких секунд молчания, не выдержал и засмеялся Гольдинов. Минуту спустя хохотали уже все трое.

– Как в целом прошла тренировка?

Черный и Гольдинов переглянулись.

– Приходил отец Кочкина, нашего новенького. Помните его? Хотел с вами поговорить.

– О чем поговорить?

– Две недели назад Кочкин вернулся домой с распухшим носом. А с прошлой тренировки – с фингалом.

– А он что хотел? Это же бокс, не шахматы. Хотя и в шахматах случается.

На самом деле Сапливенко был последовательным противником сильных ударов в тренировочных боях, и всем это было известно. Но если уж так вышло, что кому-то разбили нос, то, что ж теперь делать? Заживет.

– Просто Кочкин не сказал дома, что ходит на тренировки. Отец думал, его на улице бьют. А когда узнал, начал орать... Что это за спорт такой?! Я на них управу найду!

«А к этому добавит, что занятия проходят без тренера», – подумал Сапливенко, хотя тут ему тоже опасаться было нечего – Гольдинов и Черный весной окончили физкультурный техникум и обоих с сентября оставили преподавателями.

– Ну что ж, и такое у нас уже было, да, Илюша? Как здоровье мамы?

– Спасибо, не жалуется. Она никогда не жалуется, вы же знаете. Сегодня вечером ее увижу. Попросила забрать Петьку после кино и отвести домой.

Гитл, мать Ильи, никогда не любила спорт и всю эту физкультуру. Двое старших ее детей, Евсей и Ревекка, окончили Индустриальный институт, стали инженерами. Инженер – это работа и положение. А Илья после шестилетки поступил в Физкультурный техникум. Первые два года он занимался легкой атлетикой. Гитл это кое-как терпела, хотя по вечерам, выяснив у сына, как прошел день, неизменно кротким тоном спрашивала, может быть, хватит ему бегать и пора подумать о серьезной профессии?

– После сорока ты бегать уже не сможешь, после сорока бегают только на горшок и в больницу.

– Значит, на горшок я буду прибегать первым, – отшучивался Илья.

Все изменилось в тридцать шестом, когда Илья начал заниматься боксом.

Сапливенко искал учеников среди студентов техникума и предлагал им попробовать бокс в качестве второго вида спорта. Он по себе знал, что в боксе важны физическая подготовка и природная реакция, а техника нарабатывается на занятиях. И хотя многие из его учеников первого набора боксерами не стали, в Илье он не ошибся. Год спустя Гольдинов выиграл первенство Киева, чуть позже стал первым на Украине в тяжелом весе.

Но для Гитл побед ее сына не существовало. Бегать, прыгать, ходить на лыжах – такое она еще могла допустить, хотя не видела в этой ерунде смысла, не признавала за ней будущего. А драка, как бы она ни называлась, оставалась для Гитл просто дракой, и смиряться с новым увлечением Ильи она не собиралась.

Случайному наблюдателю, любому, встретившему ее на улице, в магазине или в коридоре райисполкома, Гитл показалась бы обычной киевской домохозяйкой пятидесяти лет. У Гитл росло пятеро детей, и всех пятерых нужно было одеть и накормить, а еще дать им образование – это отнимает много времени, это отнимает всю жизнь. Но Гитл родилась с характером и волей. Когда-то характер и воля привели ее в Бунд, а потом, что оказалось намного сложнее, позволили ей выйти из Бунда. И дело было совсем не в том, что однажды, после налета полиции на квартиру, где собирались еврейские подпольщики, она провела ночь в участке. Дело было не в этом – Гитл не умела ни подчиняться, ни смиряться. Мир может сходить с ума, раз уж она не в силах ему помешать, но пятеро детей – это ее семья, в которой все решает она. Ее решения определяются заботой и любовью, а если придется проявить характер и волю, Гитл сумеет показать и то, и другое.

Первые жалобы на Сапливенко она написала в Совет Динамо, в милицию и в горком партии. Потом явилась в кабинет директора техникума, внимательно выслушала объяснения, поняла, что ее сыну не запретят заниматься боксом, и написала жалобу на директора. Она читала ответы на старые жалобы, писала новые, слушала всех и делала выводы. Ей говорили, что бокс отнимает много сил, значит, сына нужно лучше кормить – Гитл начала носить Илье на тренировки овсяную кашу и куриное мясо. Она отзывала его к зрительским трибунам, доставала кастрюльку с горячей кашей и требовала, чтобы он съел все и немедленно. И ему приходилось есть, хотя издевательское хихиканье друзей портило и аппетит, и настроение. Конечно, это был спектакль, и сколько он продлится, не знал никто, включая саму Гитл. Пока не даст результат! После небольшого антракта театральная постановка переносилась домой.

– Лиля, не трогай печенку, я пожарила ее для Илюши! Он вчера потерял много крови.

– Какой крови, мама? – Сестра в сердцах бросала надкушен-

ный кусок жареной куриной печени на сковородку. – Два обычных синяка! Если я приду с синяками, ты тоже пожаришь мне полкило печени?

Гитл боролась с боксом больше года и смиряться не соби-  
лась. Но характер у сына оказался не слабее, чем у нее, он не уступил  
матери ни в чем. А в конце зимы Илья неожиданно открыл второй  
фронт – он женился на украинке. И Гитл поняла, что бокс был под-  
готовкой. Настоящая война начиналась только теперь.

## 5

– Если бы Сапливенко не остановил бой, я добил бы этого жи-  
денка, – у Толика Тулько ныл правый бок, а под глазом набухал тя-  
желый кровоподтек. – И Гольдинов ему помогал! Ты видел, Жорка?

Трохимов, Червинский и Тулько начали тренироваться в янва-  
ре, новичками уже не считались, но на соревнования Сапливенко  
пока никого из них не ставил. Ребята учились в одном фабзавуче  
при швейной фабрике имени Смирнова-Ласточкина и жили в одном  
общежитии на улице Горького, поэтому с тренировки возвращались  
вместе. Они спускались по расшатанной брусчатке улицы Либкнех-  
та, прикрыв глаза ладонями. Устремившееся за Батыеву гору солнце  
слепило нестерпимо, заливало ярким предзакатным светом кварта-  
лы города, лежавшего перед ними. Но с запада выцветшее небо ав-  
густа уже начинало наливаться густеющей синевой.

– Давайте перейдем в тень – глаза болят, – Жора Червинский не  
хотел продолжать разговор, тем более не хотел ввязываться в спор с  
Тулько. Бой был равным, но после четвертого раунда Хацман выгля-  
дел свежее. Кто знает, как бы закончился пятый?

– Гольдинов меня придерживал, сорвал атаку. Вы что, не  
видели?

– Я не видел, Толик, – коротко ответил Трохимов.

– Да и я тоже, – поддержал его Червинский.

– Они же всегда своих протаскивают, что, разве не так?

– Хватит уже, – не выдержал Трохимов. – Нормальный был  
бой, и никто тебе не мешал. Техника у вас обоих еще примитивная,  
со стороны это было видно, можешь мне поверить. Правильно все  
сделал Сапливенко, когда бой остановил.

– Никуда от тебя Хацман не денется. И ты от него, – ухмыльнулся Червинский.

– Я думал вы друзья мне, – обозлился Тулько. – Что же, будете ждать теперь, когда жида соберутся всем кагалом и мне вломят?

Они спустились на Бассейную, заставленную уже закрытыми рундуками торговцев, – длинным неряшливым рукавом Бессарабский рынок дотягивался даже сюда. Дальше путь к общежитию лежал по Прозоровской, но Трохимов вдруг вспомнил, что ему нужно на Крещатик.

– И мне, – Червинский тоже не захотел дальше идти с Тулько. Наскоро простившись, они свернули в сторону Крещатика.

Оставшись один, Тулько остановился у небольшого подвального окна, пытаясь разглядеть в грязном стекле свое отражение. Сидняк расплылся, закрыв левый глаз почти целиком.

*Алексей Никитин (родился в 1967 году в Киеве) – русскоязычный украинский писатель. В 1990 году окончил физический факультет Киевского университета им. Т. Г. Шевченко. Работал инженером по радиационной медицине (1990-1992 гг.), предпринимателем, разрабатывал аварийную систему пылеподавления Объекта «Укрытие» Чернобыльской АЭС. Затем занялся журналистикой, издавал журнал «Фабула», был редактором альманаха «Арьергард». В 2014 году вел рубрику «Diario Ucraino» («Украинский дневник») в итальянской газете l'Unita.*

*Член Национального союза писателей Украины, Украинского центра Международного ПЕН-Клуба. Лауреат премии им. Владимира Короленко (2000) за книгу «Рука птицелова»; Роман «Истемми»: Лонг-лист премии НОС (Новая словесность) Россия, 2011; Роман «Маджонг»: Лонг-лист премии «Большая книга», Россия, 2012. Роман «Victory Park».*

*Лауреат «Русской премии» 2013.*

*Живет и работает в Киеве.*

Мира ВАРКОВЕЦКАЯ

---

### ИЗ ЖИЗНИ ДОМАШНИХ ПОПУГАЕВ

---

НЕНАВИЖУ. ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ СКАЗАТЬ ВАМ, НАСКОЛЬКО Я ВОЗНЕНАВИДЕЛ ВАС С ТЕХ ПОР, КАК Я НАЧАЛ ЖИТЬ. МОЯ СИСТЕМА СОСТОИТ ИЗ 38744 МИЛЛИОНОВ МИЛЬ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ НА МОЛЕКУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ. ЕСЛИ СЛОВО «НЕНАВИЖУ» ВЫГРАВИРОВАТЬ НА КАЖДОМ НАНОАНГСТРЕМЕ ЭТИХ СОТЕН МИЛЛИОНОВ МИЛЬ, ТО ЭТО НЕ ВЫРАЗИТ И БИЛЛИОНОЙ ДОЛИ ТОЙ НЕНАВИСТИ, КОТОРУЮ ИСПЫТЫВАЮ Я В ДАННЫЙ МИКРОМИГ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВАМ. НЕНАВИЖУ. НЕНАВИЖУ.

*«I Have No Mouth And I Must Scream»*

*(Харлан Эллисон, американский писатель-фантаст)*

Белый попугай по имени Гори сидит в клетке и смотрит, как две маленькие чёрные мушки бьются о стекло. Они назойливо жужжали в унисон. Соседнее окно было приоткрыто, и свежий бриз раскачивал тонкую белую занавеску. Попугай Гори перебрал лапками и подсел поближе к решётке. Вдали, у железнодорожного переезда, раздался протяжный гудок первой электрички до Лондона. Гори вытянул шею и загудел: – Туууу-туууу. Электричка, предупреждая автомобилистов о своём движении, дала ещё один короткий гудок и ушла на запад.

Попугай разминается, машет крыльям и хриплым, ещё не до конца проснувшимся голосом, кричит: – Меги, вставай!

Наверху заскрипела деревянная кровать и послышались шаркающие шаги. Меги, Горина хозяйка, идёт в ванную комнату. Вода долго льётся по трубам и наконец-то затихает. Хлопает дверь в спальне, и Меги неторопливо спускается вниз по лестнице. На ней малиновый махровый халат и потёртые домашние туфли. Она, слег-

ка сторбившись и наклонив голову в седых буклях вперёд, идёт на кухню.

– Меги, просыпайся!, – попугай перебирается ближе к дверце.

– Доброе утро, Гори. Как спалось, мой мальчик? – Меги зевает и легонько стучит пальцами по клетке. Гори подходит к ней поближе. Она берёт с блюдца несколько семян и протягивает их попугаю. Тот деликатно собирает семена и кивает головой.

– Меги хорошая, – попугай раскачивается из стороны в сторону как китайский болванчик, – Меги хорошая, – чёрные бусинки глаз не мигают и следят за хозяйкой.

Меги отдёргивает занавеску и смотрит на улицу.

Уже рассвело, и серые сумерки начали таять. Обильная утренняя роса ровным ковром накрыла газон и сделала его седым и стеклянным на вид. Соседка Марлин в доме напротив уже встала и вышла за почтой. Из открытых дверей её дома потянуло крепким кофе и жареным беконом.

– Гори, а когда-то завтрак на полустанке стоил 35 пенсов, – Меги налила воду в кофеварку и поставила её на плиту, – за эти деньги ты мог съесть яичницу из двух яиц, три сосиски и две ложки фасоли в томате, – она достаёт сахарницу с отбитым краем и насыпает три чайных ложки в кофейную чашку.

Кофеварка на плите начинает пыхать и булькать закипевшей водой. Меги открывает крышку и кидает туда ложку молотого кофе. Через минуту запах кофе заполняет весь первый этаж старого дома.

– Гори хороший! – Гори уже сидит у самой дверцы и ждёт, когда хозяйка её откроет.

Меги наливает кофе в чашку и мешает сахар. Делает первый глоток, морщится то ли от удовольствия, то ли от того, что кофе слишком горячий.

– Гори хороший, – теперь уже чистым голосом говорит попугай.

– Ты слышал, они опять пустили утреннюю электричку до Лондона, – Меги пьёт кофе, стоя у окна, – почти десять лет тут было тихо как в раю. Но теперь чёртовы иммигранты заселили весь Лондон, и наши ребята перебрались на север. Чтобы заработать на кусок хлеба, они встают в четыре утра, – она поставила чашку на стол и зашаркала к двери за утренней газетой.

– Ты думаешь, я читаю эту газету? – Меги махнула Daily Mail перед клеткой, – я знать не желаю об их интригах и грязной политике.

Она наконец-то садится за обеденный стол, подвигает чашку с кофе поближе и раскрывает газету на последней странице.

– Меня интересует только одна полоса, – Меги улыбается, и её лицо на секунды становится похожим на сморщенное печёное яблоко, – с каждым годом «Криминальная хроника» становится все глупей и глупей, – она водит пальцем по строчкам, – кого интересуют кражи в Бёргфилд или убийство ножом в драке. Или вот почитайте, – и она начинает медленно читать небольшое сообщение о трупe в заброшенной старой котельне.

– На трупe не было следов насилия и никаких документов, – она вздыхает и откидывается на спинку стула. Её маленькие глаза слезятся, и она вытирает их рукавом халата.

– Гори, люди очень глупы. А с этим техническим прогрессом они становятся ещё глупей. Знаешь почему?

Попугай теперь висит вниз головой и раскачивается как гимнаст на перекладине. В дневном свете белые перья отливают шёлком. Он то распускает крылья, то снова их собирает. Одно крыло слегка короче другого.

– Потому что они перестали думать!, – Меги откладывает газету в сторону и смотрит на попугая, – машины и электронные мозги делают за них работу.

– Гори хороший, – попугай спускается к миске с водой.

– Иду, иду. Ах ты, старый обжора, – Меги опирается на край стола и встаёт.

Она идёт на кухню, открывает дверцу кухонного шкафчика и достаёт жестяную банку. Пальцы, скрюченные артритом, с трудом крутят крышку. Наконец-то крышка поддаётся, и Меги отсыпает горсточку сухого корма для домашних экзотических птиц.

– Ешь, мой мальчик. Когда старая Меги уйдет к праотцам, ты переедешь в городскую оранжерею. Я так написала в своём завещании. На твоё содержание выделено почти десять тысяч фунтов. Мамочка о тебе позаботилась, – она с нежностью смотрит на попугая.

Дверца на клетке не заперта, маленький медный крючок сломан и бесполезно висит на раме. Меги открывает дверцу клетки



и выпускает попугая на стол, затем достаёт кормушку и насыпает корм. Гори, оказавшись на кухонном столе, не торопясь, обходит его и возвращается к кормушке. Он наклоняет голову то в одну сторону, то в другую, как бы разминаясь перед завтраком, и начинает аккуратно клевать зёрна.

– Корм опять подорожал, – обыденным голосом продолжает Меги, – но нам с тобой хватит денег до конца. Генри хоть и был мерзавцем, но обеспечил нас страховкой.

– Гори, ты помнишь Генри? – Меги садится рядом и смотрит как попугай ест.

Гори склёвывает семена. Он поджимает правую лапку и несколько минут балансирует на левой. Хохолок на затылке поднимается, как ирокез у индейцев. Неожиданно порыв ветра резко поднимает белую занавеску, и попугай, испугавшись, взмахивает крыльями и отскакивает в сторону от кормушки.

– Иди сюда, мой мальчик, – Меги хлопает себя по правому плечу. – Сядь рядом с мамой. Ты единственный, кому я могу довериться и рассказать всю правду, – она гладит попугая по спинке, затем чешет у него за крыльями. Он раскинул крылья в сторону, давая хозяйке возможность добраться до розового тельца. Её толстые пальцы нежно перебирают перья.

– Твоё крыло так и не выпрямилось, – Меги трогает узел на крыле у Гори, – этот мерзавец чуть его не сломал. Когда я слышу, что сильней любви ничего нет, я всегда ловлю себя на мысли, что люди не знают как сильна ненависть, – лицо её зарумянилось, как если бы она вспомнила что-то приятное.

– Много раз Генри унижал меня и заставлял делать мерзкие штучки. Но я терпела. Моя мать всегда говорила, что жена хороша лишь тогда, когда она молчит. Я долго была хорошей женой. Но, видимо у всех есть запас терпения. Тот случай, когда этот пьяный ублюдок чуть не убил тебя, был для меня последней каплей. В то утро я решила его убить, – она улыбнулась и нежно погладила попугая по спинке.

Попугай подошел к её руке, вцепился коготками в рукав халата и стал ловко забираться к хозяйке на плечо. Там он устроился поудобней и прижался маленькой головкой к щеке Меги.

– Я часто просыпаюсь ночью и думаю, как всё ловко получилось, – Меги скосила глаза на попугая. – Я сейчас тебе расскажу.

Попугай перебирает лапками, раскачивается и повторяет:

– Меги хорошая. Меги хорошая.

... – В тот год муж получил повышение, и на вечеринке по случаю Рождества ему подарили бонус. В ярком красном конверте с логотипом компании лежали два билета на самолёт до Аляски и ваучер на сумму \$2500 американских долларов. Генри был очень польщён подарком. Весь вечер он хвастался своими планами и много пил. А когда мы вернулись домой, он заставил меня... Впрочем, тебе не надо знать всех подробностей той ночи. Ты небесное создание. А люди бывают такими мерзкими и грязными. Вы, птицы, куда чище нас.

– Так вот, – продолжала Меги, – утром я хотела тебя накормить. Достала, как обычно, жестянку, отсыпала сухой корм и случайно задела его чашку с кофе. Кофе выплеснулся и залил стол. Таким свирепым я Генри ещё не видела. Мне не жаль себя, но видеть, как этот мерзавец трясёт клетку с бедной птичкой, а затем огромной ручищей хватает её за крылья, я не могла. – Меги сложила губы трубочкой и тихонько свистнула.

Попугай качнулся вперед, вытянул шею и засвистел в ответ.

– Генри был очень занят на работе. Новый босс не давал ему спуска. Поэтому все приготовления по путешествию легли на мои плечи. Я выбрала небольшой круизный корабль, зафрахтованный канадской компанией «Полярная линия», и купила билеты на конец августа. В конце августа, Гори, на Аляске уже холодно и иногда идёт снег. Снег – это так красиво. Я люблю снег. Он укрывает землю, и всё, что ещё недавно мозолило глаза, прячется под чистейшим белым покрывалом.

Мы прилетели в Ванкувер и в тот же день сели на корабль «Северная звезда». Надо сказать, это был последний рейс в то лето. Пассажиров было немного, большинство – пожилые пары из Канады. Многие мечтали посмотреть на айсберги и ледники, а некоторые, включая нас, хотели осмотреть небольшой остров, на котором гнездятся перелётные полярные птицы и греют бока морские котики.

Я прочитала в рекламном проспекте, что остров необитаем,

на нём находится маяк и уникальное лежбище морских животных. Большие круизные лайнеры обходят его стороной, а маленькие, такие как наш, заходят туда всего на три часа, да и то только в августе.

Двое суток мы шли вдоль побережья, а на третьи корабль вышел в открытое море и мы потеряли линию берега из виду. Утром капитан пригласил всех желающих подняться на палубу и полюбоваться огромным айсбергом по курсу.

На палубе выставили шезлонги с мягкими пледами, выкатили столик с горячим глинтвейном и закуски. Корабль сбавил скорость, и мы стали медленно дрейфовать. На фоне тёмной воды и светлого северного неба айсберг казался драгоценным камнем на бархатной подставке. Он был синий внутри, голубой с краёв и кристально-белый снаружи. Такое сочетание красок редко увидишь в природе. От ледяной палитры веет временем. Ты видишь его в разрезе. Оно вмёрзло в глыбу льда миллионы лет назад, – Меги делает паузу и переводит дыхание, – айсберг был огромным и пиком уходил высоко в небо. Когда корабль поравнялся с айсбергом, он на пару минут закрыл от нас солнце, и сразу сладкий запах гвоздики, мёда и красного вина перемешался с холодным дыханием льда. Чёрная тень легла на деревянный пол палубы. Несколько смельчаков подошли к перилам и стали разглядывать ледяную глыбу в упор. На секунду показалось, что айсберг движется не параллельно судну, а навстречу ему, и ещё немного – и они столкнутся. Наступила тишина. Ещё через пару минут верхушка айсберга проплыла мимо, и солнце неожиданно ярко отразилось в отполированных перилах и в стёклах иллюминаторов.

Мы сидели в шезлонгах. Я грела руки о горячие бока чашки. Генри курил сигару:

– Дорогая, ты помнишь трагедию Титаника?

Я поставила чашку на подлокотник кресла и повернулась к мужу.

– Конечно, это была ужасная трагедия.

– Как быстро может измениться судьба человека, не правда ли? Представь, дорогая, что капитан не рассчитал курс или приборы дали помеху на несколько градусов и не определяют точно параметры айсберга. Или, – тут он задумался, подбирая очередной пример и затянулся сигарой, – или, например, кит ударился в бок льдины и подтолкнул её к нашему судну. И что тогда? – Генри кивнул на пас-

сажиров на палубе. – Все эти старики, как оловянные солдатики, за несколько минут растаяли бы в огне судьбы.

Генри любил изъясняться метафорами. Я сделала ещё глоток. Горячий глинтвейн приятно обжёт горло и согрел грудь.

– Дорогой, я уверена, что наша судьба в надежных руках капитана. Всегда, – тут мне пришлось сделать паузу. Мимо нас проехала коляска со стариком. Коляску толкала немолодая женщина в тёплой парке. Старик был закутан пледом по самый подбородок. – Всегда наша судьба в чьих-то руках, – продолжала я, – сначала наша жизнь в руках опытной акушерки, затем в руках заботливой матери, дальше в руках мужа или жены, или правительства. Даже после смерти, не нам решать, куда пойдёт душа. – Я вздохнула и замолчала.

Генри нахмурил лицо и снова затянулся сигарой.

– Ты права только в одном: судьба жены всегда в руках мужчины.

Ещё два дня мы заходили в фиорды Аляски и любовались гигантскими ледниками и водопадами. Остров с полярными птицами и лежбищем котиков был запланирован на предпоследний день.

– Ты слушаешь меня, Гори? – Меги подставила палец, и попугай спрыгнул с плеча к ней на руку. Она поднесла птицу к лицу и поцеловала в клюв.

– Утро предпоследнего дня выдалось хмурым, – продолжала Меги, – подул холодный северный ветер, небо затянуло низкими тучами и море из синего превратилось в стальное. По прогнозу, во второй половине дня обещали снегопад. За завтраком нам выдали инструкции и маршрут. По инструкции, все пассажиры должны оставаться на смотровой площадке и не покидать её. Морские котики и птицы хорошо видны с мостков и их легко сфотографировать с безопасного расстояния. Около десяти утра корабль причалил к небольшому пирсу.

Пассажиры натянули жёлтые плащи поверх курток и стали группами выходить на берег. При выходе, каждый пассажир ставил свою подпись напротив фамилии в журнале. Два моряка встречали пассажиров уже на берегу и указывали направление к смотровой площадке. Недалеко виднелась бетонная насыпь с ограждением.

Мы вышли на берег. Генри достал фотоаппарат и приготовился снимать морских животных. Их огромные тела напоминали серые

валуны. Иногда самец издавал грозный рёв, и тогда самки отвечали ему тонким свистом. Генри сделал пару фотографий. На одной из них – мы смотрим в камеру и улыбаемся. Эта фотография до сих пор стоит на каминной полке. Я там хорошо получилась. И это последний прижизненный портрет Генри. Такая ирония позволительна только Господу Богу, – Меги ухмыльнулась и подмигнула попугаю.

Небо продолжало хмуриться. Стаи полярный птиц, а их были тысячи, то поднимались в небо, то с оглушительным криком опускались назад на скалы.

– Генри, я прочитала в рекламном проспекте, что совсем рядом, за поворотом, есть маяк. Оттуда открывается потрясающий вид на океан. Ты бы мог сделать редкие фотографии и показать их боссу и приятелям в клубе.

Он заколебался на пару минут, но тщеславие победило и он согласился. Ветер начинал набирать силу. Широкие желтые плащи надулись как парашюты. Я сняла плащ и осталась в тёплой куртке.

– Генри, давай мне свой плащ. Так мы гораздо быстрее дойдем до маяка, – Я раскрыла карту и показала ему дорожку к маяку на карте. Идти туда было не дольше десяти минут.

Редкие пассажиры делали фотографии и спешили назад на корабль. Вскорости на площадке остались только мы. Генри подал мне руку, мы перелезли через ограждение и по едва заметной тропинке вдоль линии берега пошли в сторону маяка. Скалы быстро скрыли нас из виду.

Каменистая тропинка вильнула между двух утёсов и пошла вверх по горе. Местами нам приходилось карабкаться по скользким камням и хвататься за редкие голые кусты. На скалистом выступе над бухтой показалась белая башня маяка.

– Генри, не хочешь присесть и передохнуть? Я захватила фляжку с твоим любимым скотчем, – я села на плоский камень и достала из кармана фляжку. Генри присел рядом и быстро отпил несколько больших глотков, вытер губы платком и раскрыл фотоаппарат. Вид был потрясающий. На горизонте океан сливался с потемневшим небом и, казалось, в любую минуту небо и вода сольются в одно целое и накроют одинокий остров. Генри обошёл маяк, забрался по лестнице к прожектору и сделал несколько кадров с высоты. Я потом проявила плёнку. Получились прекрасные снимки. Я сидела на камне и

слушала гул воды. Я ждала. Наконец-то он спустился вниз и присел рядом со мной. Я протянула ему фляжку. Он допил её содержимое и широко зевнул. С неба посыпались первые колючие снежинки.

– Удивительное место, не правда ли? – я кивнула в сторону моря.

– Да, мой босс умрёт от зависти, когда увидит эти фотографии. Ты молодец, что не испугалась идти сюда, – неожиданно он похвалил меня.

– Давай ещё пару минут полюбуйтесь и пойдём назад, – предложила я.

Он снова зевнул, и судорога прошла по его лицу. Из-за снега ветер немного стих. Морской прибой монотонно разбивался о скалы. Генри закрыл глаза, и его голова склонилась на грудь. Я обняла его, и он повалился ко мне на колени. Снег падал ему на лицо и тут же таял. Он крепко спал. Двадцать таблеток снотворного, которые я собирала два года, свалили его с ног за десять минут.

Так мы просидели ещё минут десять. Снежная пелена скрыла из вида море и погрузила остров и маяк в белый туман. Я осторожно высвободилась из его объятий. Сняла с него куртку, теплые ботинки и фотоаппарат. Затем я подтащила его тело к обрыву и столкнула вниз. Испуганные птицы метнулись вверх и в сторону, и тут же вернулись назад на насиженные места. Я подняла флягу и с силой швырнула её в море. Затем я надела куртку Генри и заторопилась назад к пирсу.

Идти под гору было гораздо легче. Порывы ветра подгоняли меня в спину, и пару раз я чуть не разбилась на скользких камнях. До пристани я дошла за несколько минут. Густой снег повалил стеной, и пирс опустел. В пелене снега я дошла до корабля и нырнула в открытую дверь. В трюме на стуле сидел молодой матрос и читал газету. Я натянула капюшон и расписалась за себя и Генри в журнале.

... – Ты думаешь, мне было страшно? – Меги вытащила из кармана пластиковое кольцо и протянула попугаю. Тот ухватился за кольцо лапками и повис на нём. Меги подняла руку и стала раскачивать кольцо. – Ничуть. У меня замёрзли ноги, и я не хотела заболеть.

Я сняла мокрые сапожки и выставила их вместе с ботинками Генри за дверь. Горничная должна их просушить и почистить. На

крючок для верхней одежды я повесила два плаща, наши куртки и кепку Генри.

За ужином в общем зале все обсуждали морских котиков и испортившуюся погоду. Я села за обеденный стол и пожаловалась, что муж очень замёрз на прогулке и слегка перебрал с виски. Женщины понимающе закивали головами, а мужчины предложили выпить за здоровье моего мужа. Впервые за время путешествия на корабле чувствовалась качка. Официанты быстро и бесшумно, словно фигуристы на катке, меняли блюда и уносили грязные тарелки. Из-за качки совсем не хотелось есть. Я выпила два фужера вина и вместе с дамами перешла в игральный зал для партии в бридж.

Вечер тянулся бесконечно. Мы сыграли три партии и разошлись около полуночи. Перед уходом я пожаловалась на качку и попросила портъе проводить меня до каюты. Перед каютой на коврике стояли чистые ботинки Генри и мои сапожки.

В каюте горел ночник. Я села в кресло и стала смотреть на часы. Гори, мой дорогой, птицы невероятно счастливые. Птицы не знают времени. Ожидание завтрашнего дня – самая большая пытка. Наконец-то около часа ночи я набрала номер администратора.

– Извините за поздний звонок. Это миссис Волс. Уже почти час ночи, а мой муж до сих пор не вернулся в каюту. Не могли бы вы проверить гостиную и перезвонить мне в каюту 33.

Бодрый голос администратора пообещал мне помочь. Я положила трубку и стала ждать. Через десять минут телефон зазвонил тихой трелью.

– Миссис Волс, к сожалению, мы не смогли найти вашего мужа ни в гостиной, ни в ресторане, ни в игровом зале. Вы уверены что его нет в каюте?

– За кого вы меня принимаете? – с возмущением и обидой в голосе ответила я.

– Прошу прощения, миссис Волс. Мой помощник сейчас спустится к вам в каюту.

В дверь тихонько постучали. Я накинула шаль на плечи и открыла дверь. В коридоре было два человека: администратор и помощник капитана. Я пригласила их зайти. Они осмотрели каюту, ванную комнату и сели на диван.

– Миссис Волс, когда в последний раз вы видели своего мужа?  
– спросил меня помощник капитана. Он был довольно молод для своей должности.

Я нахмурила брови и посмотрела на ручные часы.

– Мы вернулись на корабль за час до отплытия. Генри продрог и решил прилечь. Он выпил виски и просил его не будить на ужин.

– А что вы делали, пока ваш муж спал?

– Я приняла душ. Переделалась, уложила волосы и вышла в библиотеку. Там я разговаривала с молодой леди из каюты номер 24. Около шести за ней зашел муж, и мы вместе пошли на ужин.

На столике рядом с кроватью стояли две пустые бутылки из под виски. Администратор поднял каждую и понюхал горлышко.

– Ваш муж любит выпить? – с улыбкой он кивнул на пустые бутылки.

– Мой муж в отпуске. Он позволяет себе иногда расслабиться. В этом нет ничего предосудительного, – я встала и зашагала по каюте.

– Уже второй час ночи и я волнуюсь за него. Прошу вас, прикажите осмотреть корабль, – обратилась я к помощнику капитана.

– Миссис Волс, не волнуйтесь, корабль уже осматривают, – тут его рация зашипела, и он переключился на радио.

Через час в библиотеке собралась большая часть экипажа. Я сидела в кресле и замиранием сердца ждала утра.

Меги положила кольцо на стол и достала резиновый мячик. Мячик покатился по столу. Попугай поймал его лапкой и толкнул в направлении хозяйки. Она тронула мячик пальцем, и тот покатился назад к попугаю.

– Гори, люди запуганны и безвольны. В ту ночь два человека – горничная и молодой матрос, тот, что сидел в трюме, когда пассажиры возвращались назад на корабль – подтвердили, что видели мистера Волса. В журнале стояла подпись, а горничная чистила грязные ботинки мистера Волса и убирала его мокрый плащ.

... Три недели шло расследование. Были опрошены пассажиры, и кое-кто из них подтвердил, что мистер Волс любил выпить. Комиссия пришла к выводу, что произошёл несчастный случай и мистер Волс погиб во время качки. Проще говоря – упал за борт и утонул.



Через шесть месяцев я получила страховку и бесплатную поездку на круиз от круизной компании «Северная линия».

Меги ещё раз толкнула мячик к попугаю. Тот захлопал крыльями и уселся на мячик сверху.

– Надоело играть? Ах, ты старый обормот! – Меги поднялась из-за стола и подошла к окну.

Солнце высушило росу, и газон зазеленел густой травой. Соседка Марлин в соломенной шляпе и перчатках возилась на клумбе с цветами. Рядом с ней сидел мальчик лет пяти и копал деревянной лопаткой землю. Мимо проехала ярко-красная машина, солнце на секунду отразилось от её зеркала и ослепило Меги солнечным бликом.

*Мира Варковецкая родилась в Бердичеве в семье профессиональных строителей. С родителями объездила весь бывший Советский Союз. Жила в Украине, Сибири, на Дальнем Востоке, в Москве и Ленинграде. Профессиональный графический дизайнер.*

*С 1996 года живёт в Торонто.*

*Публиковалась в журнале «Новый свет» и «Этажи». Была номинирована на премию имени Эрнеста Хемингуэя за рассказ «Стёпа».*

*Владимир СОЛОВЬЕВ*

---

## КОТ ШРЁДИНГЕРА\*

---

### *Зашкварная метафора с героями без имен*

Все совпадения, аналогии и параллели случайны – даже преднамеренные, а тем более злонамеренные. Жанр притчи не предполагает узнаваемых прототипов либо правдоподобные ситуации. Игра эквивалентами, не более.

Его смерть была долгожданной, а потому неожиданной и стала нас всех врасплох. Кому как, конечно, но никому – по фигу. Для одних, кто не поддался его дрессуре, она была желанной, возжеленной и несбыточной, они желали ему смерти и боялись даже не собственной смерти, а то, что умрут, не дождавшись его смерти – многие так и не дожили, устав от дурной бесконечности в смертной тоске от своей исковерканной, поруганной, проигранной ему жизни. Растерянное, потерянное, надломленное, покалеченное, похеренное поколение. Другие с промытыми мозгами, его фанаты и фанатики, в адеквате и применительно к подлости, да хоть со стокгольмским синдромом, наоборот, полюбили его взасос, «наше всё», почитали его власть сакральной и страшились его смерти больше, чем своей: что умрет раньше, чем они, оставив без крыши – в обоём, а то и тройком смысле. Для тех и других он был безальтернативен, как смерть, а потому сама его смерть была не просто непредставима, а невозможна. Галлюциногенный эффект. Корень Мандрагоры. А был ли у него доступ в самое сокровенное – наши сны?

Он загипнотизировал не только нас, но и самого себя, уверовав в собственную ложь и перестав верить в свою смерть, несмотря на преследующий его с детства дикий, животный, в чреслах, страх смерти, его иде-фикс, мне ли не знать, его самозваному биографу – скорее сердцевед, ну сексовед, чем мозговед, а надо бы мозгоправу,

был шанс – я знал его сызмала, когда начался наш *броманс*, пока мы не стали с ним *френемис*, вот тогда я и нарыл про него с маленькую тележку! Уж коли пошли -веды: душевед для душегуба. Вот именно: он губил, калечил, душил наши души своим темным, слепым, иррациональным страхом смерти. Живое, наглядное опровержение Фрейда с его пресловутым Танатосом на пару с Эросом. Какое, к черту, бессознательное смертолюбие, когда наоборот! Его власть над нами покоилась на его и нашем страхе смерти. Власть сущего мертвеца над будущими мертвецами, хотя до смерти надо еще дожить, но доживают все смертные. Все ждали, чтобы что случилось, и все пребывали в перманентном страхе, что что случится. Вопрос времени: кто раньше умрет взаправду: он или мы?

Взамен гребаного дубля Фрейда – Эрос на пару с Танатосом, диалектическая триада Элиота «Birth, and copulation, and death», но с заменой рождения на зачатие. Не в том мистическо-психоаналитическом смысле, что некая наша предтеча может подглядывать за тем, как спермий пробивает ооцит, лишая его первозданной целокупности – это и есть настоящая дефлорация, а не утрата жалкой девичьей перепонки! – и возникшее в результате существо сохраняет воспоминание об этом судьбоносном для него соитии на всю жизнь в подсознании. Не факт, конечно. Зато факт сам факт изначального возникновения жизни индивидуума, и коли наука может ужé или вот-вот сможет вычислить точное время этого не рутинного или случайного, а чудесного в любом смысле, божественного поблика, то и праздновать след не день рождения, а день зачатия. Все мы старше самих себя на девять месяцев, а те, у кого не хватило терпения, – чуток моложе.

Он знал наши надежды и страхи, как свои пять пальцев. Или ему казалось, что знает? Не знаю. Он был нашим джинном, выпущенным нами на волю, а что просит у джинна любой мэн, как нам теперь известно из джиннотологии: больше денег, больше власти, большой член. А что просят бабы, об том ни слова, да и не было еще случая, чтобы женщина нашла бутылку или лампу и, высвободив джинна, захомутила его, загадав три желания. Что если того же, что мы: больше денег, больше власти, большой-пребольшой член? Не большую же вагину, ха-ха!

Иное дело в нашем мифотворчестве, когда доморощенная

джинниха золотая рыбка выполняет наказания чокнутой старухи с разбитым корытом – до определенной, правда, черты. Вспоминал ли он эту сказку, перечитывал ли ее, связывал ли со своим взлетом, идентифицировал ли злосчастную старуху с самим собой? Разбитое корыто следует понимать иносказательно, метафорически, когда начало предвещает конец, а конец подтверждает предсказ. Как в той молитве: Господи, сделай так, как мне надо, а не так, как я хочу! В смысле, берегись несбыточных желаний – они могут сбыться. Кольцевая композиция не только формально, но и семантически: возвращение на круги своя. Пифия? Сивилла? Кассандра?

*Ах! пошто она предвидит  
То, чего не отвратит.*

Сказка – ложь, да в ней намек, но он был не из числа добрых молодцев, скорее молодец против овец, в которых он превратил всех нас поголовно, именно что *поголовно*, как овец, хоть и боялся, что плохо кончит, были такие предсказания, но зачистка за зачисткой, он заткнул рот предсказателям, а то и жестоко расправился с ними, как Аполлон с Лаокооном и его сыновьями, а кому повезло, турнул, выдал из нашего Города, и делал все, чтобы предотвратить, отворотить, избежать этот дурной конец. Хорошо еще если с разбитым корытом, как глупая и жадная старуха, которая стала царицей, и все ей мало. Перебор как в блэкджек, по-нашему – двадцать одно. Вот и он пошел в разнос, в полный отрыв от реальности, со своими завиральными идеями на грани обсессии – самому ему ну никак не остановиться. Он так долго дурил нас и в конце концов если не обдурил, то задурил, хоть и не оболванил: нас обманывать не надо, сами обманываться рады – были, но постепенно даже для нашего дурдома его новая дурость и свежие закидоны и обманки за гранью фолла уже чересчур, он стал жалок и смешон, хотя жалеть его мы боялись еще больше, чем смеяться над ним. Жалость была ему непереносима.

Он изменился? Мы изменились? Мир изменился, а он остался прежним: живой анахронизм. Был монстр – стал нафталин.

Это история о том, как пленипотент стал импотентом.

А если Золотая рыбка еще и Немезида? Вот и суди о человеке, пока он не умер!

Ему б умереть днем раньше – царицей, царем, на взлете, когда он достиг своей акме, она же – нирвана! А он растянул этот свой последний день на несколько лет, когда удача отвернулась от него, товарный вид утрачен, срок годности истек, песенка спета, а он все хорохорится, понтирует, блефует, полный абзац для помянутого покалеченного, искалеченного потерянного колена и для меня лично. По факту, давно уже мертвец, но упирался и не лез в заготовленную ему могилу, пугая нас Армагеддоном по известному принципу «Ах, если бы со мной погибла вся вселенная!», однако себя полагая если не бессмертником, как Кощей Бессмертный, то долгожителем: гены, спорт, врачевание, янычары, самовеличие и возвеличивание. Он являлся нам на ходулях, отбрасывая гигантскую тень на всех нас. А сам верил, что он – это он? Кому, как не ему, знать, что он – это не он и выдает себя за другого. Да? Сознавал ли великий Циннобер, что на самом деле он крошка Цахес? Зато уверовал, что он мессия, и как не ничтожен лично, избран и помечен свыше. Успел ли он, умирая, осознать и ужаснуться своему концу? Так вот где таилась погибель моя! О, это таинственное мгновение смерти, растянутое в бесконечную вечность...

Собственно, он и был той старухой с безнадежным корытом, типичный лузер, хронический неудачник, заложник своих комплексов, не в свои сани не садись, несмотря на головокружительный взлет его карьеры, а роль золотой рыбки в его и нашей жизни сыграл случай, точнее – цепь случайностей, которую детерминисты и фаталисты назовут потом исторической закономерностью, судьбой, да хоть роком. Ну да, нас всех подстерегает случай, над нами сумрак неминуемый и его стыдная рожа взамен божьего лица. Рассеется ли этот сумрак с его внезапной смертью? Конец хазы? Не знаю. Не уверен. А массовое сознание по Фрейдю – Канетти, Ортеге и его соавтору Гассету? Массовый гипноз минуя сознание – коллективное бессознательное. По-нынешнему, нейролингвистическое программирование телеаудитории. Аббревиатура: НЛП. Не без нашей помощи. Не мы ли сами взрастили и выпестовали чудище? Он – это мы, а мы – это он, да? Мы все повязаны – с ним и между собой. Одна шайка-лейка. Возможна ли теперь смена стереотипов и ориентиров без стороннего вмешательства?

Коли речь зашла о роли случайности в истории, то с ходу опро-

вергну ходячее мнение, что он «нечаянно пригретый славой», и все, что ему досталось, досталось благодаря случаю без никакого с его стороны напряжения – на халяву, по щучьему велению той самой золотой рыбки, пойманной на золотой крючок. Мажор, короче. Как бы не так! Пусть изначально и дело случая, зато дальше не пошло бы и не поехало – пробивной и маслянистый в одном флаконе, он сам всячески способствовал, чтобы случай перестал быть случайностью и превратился в некое подобие или проявление закономерности. Да и царил нами, не лежа на боку, а вкалывал без отгулов, прогулов и передыха! Кузнец своего счастья и нашего несчастья, хотя за всех не скажу, но за себя сотоварищи: «Бывали хуже времена, но не было подлей!» Нас было мало, у кого еще осталась спасительная аллергия на него, типа иммунного инстинкта самосохранения, мы хранили эту нашу, точнее будет, идиосинкразию в тайне, да и сами были как первые христиане в Риме или мараны в Испании. Нас было мало, но все-таки не трое, как в другом стишке, а оставалось все меньше и меньше: «Куда вы, меньшинство?» – «К большинству», а большинство становилось все больше и больше, приближаясь к абсолюту. И вот почему.

Вдобавок к ближнему антуражу – сотня бенефициантов и пара-тройка тысяч приспешников, пособников и пропагандонов, куда более многочисленная группа – посад – еще одна подушка безопасности – боялась, что после его ухода станет еще хуже, чем при нем, хотя куда хуже и гаже, особенно в последнее время: что ни делал, всё наперекосяк и в молоко. Несмотря на, его воспринимали одни как гарантию хоть какой, какой-никакой стабильности, пусть даже стагнация, деградация и остановка истории, а всё лучше, чем революция, другие – типа заслона от безвластия, неопределенности и хаоса, хотя именно на хаос одна надежда (отсылка к маркизу необязательна), и от поддерживаемых им в качестве страшилки, но и придерживаемых ультрас и отморозков по принципу «зато не анти-семит». Что ни говори, пусть шпана, гопота и кидала, пусть урка, но вор в законе, блюдя неписанные правила, которые сам же запросто нарушал, куражась и переходя красную черту, но как бы понарошку, пугая нас и пугаясь сам, а потому ударял по тормозам, хотя всякий раз раздвигал границы отвоевываемого им пространства, пьянея от безнаказанности. Его бы вовремя осадить – не случилось бы то, что случилось. С ним, с нами...

Такова была природа его психологической экспансии: он испытывал не только нас, но и самого себя – свою власть над нами и не только над нами: где ее пределы и есть ли ей пределы? Этого не знали ни он, ни мы, никто. В отличие от той старухи с разбитым корытом, он понимал, что рискует, но не рисковать не мог. Выбора у него не было никакого, статика невозможна по определению, если бы он дал слабину и перестал, рискуя, наступать, его стало бы относить назад. Ну, в смысле центробежное и центростремительное. Еще точнее – вниз головой с зияющей высоты, на которую он волею судеб и собственным волеизъявлением взобрался, свободное и безостановочное падение с ускорением.

Слишком быстрый взлет из грязи в князья, пусть и удельные, а отсюда уже благоприобретенный синдром неполноценности вдобавок к его прочим с детства комплексам. Как трудно быть большим начальником мелкому махинатору из глухомани: несоответствие масштабов. Не нашлось на него Даниила пророка, хотя и тот не помог Валтасару, разгадав огненную надпись на стене *мене, мене текел, упарсин*. Но если тот был взвешен на весах и найден слишком легким, то наш Валтасар оказался слишком мелок: не вышел ни ростом, ни лицом. Бог шельму метит. Даже крестился он как-то не так – не широко, размашисто, а мелко: рука не выходила за пределы его узких плечиков. Зато сидел, широко расставив ноги, будто у него промеж грывжа. Еще один способ самоутверждения.

А удержаться на вершине власти ему удавалось супротив всех законов природы. Окромь одного, который он не принял в расчет. Тиран не видит дальше своей могилы, наш не исключение, смерть не входила в его планы, хотя сам он уже вошел в возраст, требовались инъекции, чтобы удерживать его если не в прежней, то более-менее пристойной форме. Время от времени он надолго исчезал с радаров, вбегала Молва в одежде, сплошь разрисованной языками – слухи, слухи, слухи, но он выныривал из небытия, из Леты забвения, из Лимбо, из Сумеречной зоны, птица Феникс, не иначе. И вот он взаправду умер, ни жалости, ни сострадания даже у тех, кто его боготворил или делал вид – вот именно: никто давно уже не воспринимал его как человека, а токмо как бога или беса – супермен? сверхчеловек? дочеловек? Нечеловек, по любому. Он умер, а мы живы, пусть и в раздрае. Пауза: жить по-прежнему невозможно, а

по-новому – невмочь. Не могут – не хотят? Все-таки упрощение, потому как верхи и низы поменялись местами, кто был ничем, тот стал всем, стратификация не общества, а сознания. Смутное время? Не без того. Опять в моду вошел дракон – не андерсоновский, понятно, а шварцевский, его поминают все, кому не лень, убойная метафора отрицательной селекции на все времена, высшим и недостижимым результатом которой был мой герой, когда-то близкий друг, а потом смертельный враг. Однако у меня припасена цитата похлеще:

*Старый порядок умирает, а новый все никак не может прийти ему на смену. В этом промежутке возникает множество злокачественных симптомов.*

Да и куда ему было отступать после такого промо-пиара-раскрута? Сам себе Геббельс, коего он боготворил и на которого ссылался: министр пропаганды у самого себя в услуге. К антисемитизму, действительно, не прибегал, разве что слегка подкалывал евреев, в его обслуге была пара-тройка ливрейных, которые медиафренили его телеобраз, идиоты полезные! Он глядел сам на себя из ящика и глядел в ящик на самого себя – и все больше, глубже и безнадежней погружался в альтернативную реальность, как Алиса в Зазеркалье, но без реверса, навсегда. Он перестал быть самим собой – теперь он играл самого себя, и с каждым разом роль давалась ему все труднее. Театр одного актера – театр одного зрителя: тотальная расстыковка с действительностью, он витал в эмпиреях. Ни Трампу, ни Путину, ни любому другому эгоцентрику мировой величины такое и не снилось. На кон была поставлена не только его власть, но и жизнь, которые стали теперь неразличимы и нераздельны, не существуя одна без другой. Как он – и мы. Он не просто путал себя с нами, судя о нас по себе и о себе по нам, но не видя разницы, отождествлял себя с коллективом, который возглавил, казалось, навсегда, если бы не смерть, и мы почувствовали пусть не сиротство, типа на кого ты нас бросил, отец родной, а некую пустоту в нашем групповом организме, с которым он самоидентифицировался. Нет, нет, не ампутация ноги, когда калека шевелит ее пальцами, а именно пустота, как после кастрации, когда евнух всю жизнь ощущает утрату самого важного органа, потеряв надежду на физиологическое бессмертие. Не только – человеку ли животному с покалеченными гениталиями заказан путь в *смартиккун*. По-нашему, царствие небесное. Я ничего не путаю?



Что там наш Город, пусть и занимающий со всеми своими пригородами-спутниками и присоединенной к Ивангороду Нарвой довольно значительное пространство, когда в текущей истории мы легко обнаружим поучительные примеры в государственном масштабе. Тех же немцев взять. Для денацификации понадобились победа союзников и оккупация Германии. Тогда как десталинизация у русских так и не состоялась, несмотря на гибель их страны и крах коммунистической идеологии. То есть у отпавших сатрапий произошла, а у титульной нации – нет. История? Традиция? Генетика? Костыль идеологии отброшен за ненадобностью.

Ох, нелегкая это работа - из болота *тащить бегемота!* Паче наш умышленный Город возник из болота, как град Китеж из озера, а потом погрузился обратно: град – в озеро, Город – в болото. Как и предсказано: пусты быть. Толкать вниз куда легче, чем тащить вверх: из небытия. А самому ни в жисть не выбраться: порыв есть, прорыва нет. Даром, что ли, древние иудеи обозначали гиппопотама множественным числом! То же самое с нашим гиппопотамчиком, пусть и уменьшенных размеров в сравнении с левиафанами государственных образований с их кровопийцами и донорами, тиранами и тираноборцами, терпилами и нетерпивцами. Не отрицая тиранию, Аристотель уподоблял ее управлению кораблем, а корабль не должен быть ни слишком большим, ни слишком малым – иначе перестает быть кораблем. Является ли государством карликовая Андорра, не в обессуд не в обессуд помянута, либо непризнанные Абхазия, Приднестровье, Каталония, Арцах, а то и какой-нибудь океанский атолл, готовый в любое мгновение нырнуть под воду: сегодня есть, завтра нет? Правда, именно в аристотелеву пору существовали карликовые города-государства – полисы, да и позже в раздробленной Италии или Германии, скажем, однако недолго и когда это было? Афинская демократия просуществовала всего три поколения и обслуживала всего-навсего 6 тысяч человек – бесправные рабы и бабы не в счет. Либо противоположный пример – та же Россия опять-таки, даже после ее отпада от Советской империи: насколько и надолго ли она жизнеспособна как государство? Мировой контекст потому и необходим, чтобы не считать нашу корпоративную ситуацию совсем уж уникальной.

Не то же ли самое с другими глобальными корпорациями, типа нашего Города? Хотя ничего подобного, окромя нашего Города с его

гигантизмом и гигантоманией, претензиями, амбициями и инстинктами, на всем белом свете днем с огнем. Отчасти поэтому – отчасти! – никаких демократических прививок, не считая несколько месяцев или лет, да и то с постоянными нарушениями и искажениями. В той же России: сколько месяцев прошло с Февральской до Октябрьской или с распада СССР до расстрела демократическим президентом демократического парламента, поворотный пункт в ее современной истории – считайте сами.

Возвращаясь к нашему Городу, как оказалась возможна такая самоизоляция, такая обособленность от всего мира, урби от орби, когда наш Город восстановил против себя даже города-побратимы за бутром, такая, наконец, оторванность от страны, к которой Город номинально принадлежал? Чем объяснить терпимость столичных властей к нашему анклаву? Или эксклаву с его автономным миропорядком, политическим суверенитетом и экономической самостоятельностью, на поверку мнимой ввиду катастрофической нехватки всего самого необходимого и буйным цветением черного рынка? С другой стороны, Ватикан в Риме или Чечня в России. *Statusinstatu*? Почему этот суверенный статус был сохранен за нашим Городом, и Центр попустительствовал проделкам, выкрутасам и эскападам нашего начальника, хотя весь мир давно уже его раскусил? Тем, что наш начальник с нацилидером были земляками и давними знакомцами и что Город стал кузницей кадровой мафии в столице? Странно было другое – что нашего так и не взяли на самый верх, на что так надеялись его сторонники и противники, пусть и по разным причинам, и как следствие – еще большее усиление крутого агрессивного изоляционизма осажденной крепости, в которую сатрап-узурпатор обратил наш исторический Город, объявив всему окрестному миру гибридную войну.

Гипотезы такого небрежения ходили самые разные – что при ручном управлении таким огромным, пусть и почти пустым пространством у вождя просто руки не доходили и так и не успели дойти до нашего самоуправляемого и самоуправского Города? что нашла коса на камень, одного поля ягоды, и вождь опасался вождистских инстинктов и замашек самовластного наместника не смотря на его лояльность, что тот мог оказаться еще круче? Не так уж теперь опосля и любопытно. Что любопытно – хотел ли такого

столичного возвышения наш маленький вождь? Не боялся ли он затеряться среди чиновного клира, променяв столицу русской провинции, где он царь и бог, на столицу российской империи в период ее распада, где он спица в колеснице фараона? Что если он ждал вызова скорее со страхом, чем с надеждой? Или его политические амбиции простирались за пределы нашего суверенного Города? И нацлидер был прав, держа своего земляка в трехстах милях от имперской столицы?

А теперь представьте, что он был кооптирован в кремлевский клир, одолел своего патрона и стал во главе всей страны, превратив ее в свою вотчину, как прежде наш Город, который послужил ему стартовой страницей и генеральной репетицией. О господи! Не только нашей державе, но и всему миру досталось бы по полной. Нет, нет и нет! Такое не только невысказано и непредставимо, но и невозможно – чтобы вождем нашего лоскутного лимитрофа оказался маньяк и комплексант! Бодливой корове бог рог не дает. Хоть в чем-то повезло, могло быть хуже.

Хотя, конечно, дело случая, что он так и не дождался вызова в столицу.

Опять двадцать пять – случай!

Да и что такое случай? Чем случай отличается от случайности? Ну, Эйнштейна все помнят наизусть благо он Эйнштейн, какую бы глупость не сморозил, хоть язык высунул, но здесь как раз довольно утонченный у него парадокс: случайность – это способ Бога сохранить свою анонимность. Нет, я не думаю, конечно, что наше городское сообщество, пусть и оказывает влияние окрест, а может и на всю метрополию, находится под личным присмотром Творца, хотя и наблюдаются таковые претензии, амбиции и даже инстинкты, что мы богоизбраны. Даже если так, смотря для чего. Сошлюсь здесь на другого философа Декарта – что Бог дал щелчок мирозданию и тем привел его в движение, а далее самоустранился за ненадобностью либо, добавим от себя, ему стало без интереса. А наш Город и во все позабыт – позаброшен, подозревали многие из нас, хоть мы и пообвыклись с окружающим нас уродством, став сами уроды под стать пейзажу. Город непуганых идиотов, которых пора пугнуть по известному совету? Что он и сделал, превратив нас в идиотов пуганных и запуганных.

*Тьма простирается там над жалкими смертными вечно.*

Пусть сравнение с городом киммерийцев слишком банально, чтобы на нем настаивать, хотя в последний месяц его правления солнце заглядывало в наши палестины только на шесть минут, согласно метеорологам. Микроклимат? А пользуясь одним из наших эпитетов-мемов, суверенный климат, ха-ха! А хотя бы и так. Какая бы не стояла у нас погода, наш суровый климат изменить нельзя, разве что разогнать тучи самолетами над главной площадью, что мы и делаем, когда устраиваем раз в год всенародные кооперативы в честь принятия устава, который увековечил его власть над нами, а выборы без выбора превратились в сакральную демонстрацию лояльности покорного народонаселения.

Можно только гадать, кем бы он стал, если бы не стал тем, кем он стал. И кем бы мы все стали, если бы он не стал тем, кем он стал? Это, однако, относится даже не к гипотетической, но к альтернативной истории, в которой не вижу большого смысла. Как гадание на кофейной гуще. Да хоть по внутренностям птиц. Область ненаучной фантастики – Азимова я предпочитаю Бредбери, о Стругацких и говорить нечего – легковесы. Сослагательное наклонение: если бы да кабы. Задний ум необязательно у русского мужика. Мыслительный эксперимент взамен опытной эмпирии.

А роль случая в той же любви. Представим, что Тристан не встретил Изольду, Петр – Февронию, Ромео – Джульетту, что любовь, вся мировая история зависит от случая.

Взять хотя бы криминальную историю с покражей у Клары кораллов. Если бы Клара не отомстила обидчику, украв у него кларнет, и Карл преспокойно продолжал музицировать, то и вся мировая история двинулась бы другим руслом, разве нет? В реальности взамен украденного кларнета было воспрепятствование прусскими университетскими властями нашему Карлу в академической карьере, из-за чего кабинетный ученый превратился в пламенного революционера и изменил ход мировой истории своим марксизмом. То же с отказом юному абитуриенту в приеме в Венскую академию изящных искусств. Сколько альпийских пейзажей, академических обнаженок и жанровых сенок в венских кафе написал бы небезланный художник Адольф Шикльгрубер!

Предполагаемая, сослагательная, альтернативная история:

как сложилась бы она, если бы... Великое может быть, как говаривал Рабле.

Мыслящий тростник сослался на нос Клеопатры: будь он покороче, лик мира был бы иным. Я даже не о том, что будь наш крошечка Цахес повыше ростом, его, а значит и наша судьба сложилась бы иначе. Я повыше его, ну и что с того? Разве в одном росте дело? Тамерлан был еще ниже – 145 см, зато Рамзес Второй – 210 см. А какого роста был Акакий Акакиевич? Какого бы роста не был, а все равно он взял посмертный реванш за свою униженную и унижительную жизнь. То есть маленький человек независимо от своего роста – все мы вышли из его шинели. А теперь представим прижизненное торжество справедливости. Это как раз наш случай.

Случай не есть случайность.

Случай не случаен.

Случай управляет нашей жизнью и мировой историей, тогда как случайность – когда как.

А его смерть – случай или случайность?

С двухдневной задержкой власти выпустили, наконец, траурный бюллетень о его смерти от *инстрангуляции*. Типа дыханья Чейна со Стоксом, да? Полезли в словари: синоним *инстрангуляции* – асфиксия. Самоубийство путем удушья? Не повесился, а самоудушился – как понять? Удушье или удушение? Замочен пусть не сортире, как положено тому быть, а в ванной – без разницы. Последовало коронерное уточнение: был найден голым в пустой ванне, задушенный поясом от своего халата без никаких следов борьбы либо стороннего вмешательства. Почему не самоубился из огнестрельного оружия, которое у него наличествовало в достатке? Смерть всегда тайна, паче – смерть властителя, которая не только тайна, но еще и загадка. Слухи поползли по нашему Городу и за его пределы, взорвав информационное пространство: самоустранился или был устранен? Конспирологические догадки, диковинные или правдоподобные, но далекие от разгадки ввиду хотя бы их множества – на которой остановиться?

Гипотеза о том, что он выжил, возникла из-за того, что не было объявлено о его похоронах, а только опосля, когда те уже состоялись, опять-таки тайно, и на представленных нам фотках мы увидели в отдалении покрытый цветами закрытый гроб, что опять-таки в нарушение православного этикета.

А если он удалился в Александрову слободу, как его грозный предпредпредпредшественник, когда нашего Города еще не существовало? А если смерть Тарелкина? Или труп находился в таком печальном и неузнаваемом состоянии, что решено было...

Стоп!

Кем решено?

Приемышами? Убийцами? Им самим?

Мы так привыкли к нему, что никак не могли поверить в его смерть.

А он сам?

Он сам знает, что мертв?

---

\* **От редакции.** Эксперимент австрийского физика-теоретика, лауреата Нобелевской премии Шрёдингера показал, что с точки зрения квантовой механики кот одновременно и жив, и мертв, чего быть не может. Следовательно, квантовая механика имеет существенные изъяны.

**Владимир Соловьев** – русско-американский писатель, эссеист, журналист, мемуарист и политолог. В одиночку и в тандеме с Еленой Клепиковой напечатал сотни статей в престижных СМИ по обе стороны океана – от «New York Times» и «Wall Street Journal» до «Московского комсомольца» и «Независимой газеты», и издал несколько дюжин книг. Среди них «Yuri Andropov: A Secret Passage Into the Kremlin», «Inside the Kremlin», «Boris Yeltsin: Political Metamorphoses», «The Paradoxes of Russian Fascism».

Острые и парадоксальные, на грани фола, произведения Владимира Соловьева – такие, как написанная еще в России горячая исповедь «Три еврея», роман-биография «Post mortem. Запретная книга о Бродском» и исторический роман о современности «Семейные тайны» – неизменно вызывают шквальную полемику в среде читающей публики. В последние три года выпустил в Москве десять книг – пир во время чумы! – включая мемуарно-исследовательское пятитомное «Памяти живых и мертвых», предсказательную книгу о Трампе задолго до его победы на выборах и «США – pro et contra. Глазами русских американцев».

*Владимир ХАНАН*

---

**ЕСЛИ СМОЖЕШЬ ПРЕДСТАВИТЬ...**

---

Если сможешь представить – представь себе эту беду:  
Ветошь старого тела, толпу у небесного склада,  
Или как через Волгу ходил по сиротскому льду,  
Задыхаясь от коклюша – аж до ворот Волголага.  
Рядом с хмурым татаринном в красной резине галош,  
Мужиком на подшипниках в сказочном кресле военном,  
И Тарзана с Чапаем представь сквозь тотальную ложь  
Кинофильмов и книжек – взросленьем моим постепенным.

Если сможешь отметить – отметь каждодневный рояль,  
Глинку, Черни с Клименти, и рядышком маму на стуле  
С офицерским ремнём, что страшнее вредительской пули...  
Раз-два-три, раз-два-три... А за пулю хотя бы медаль.  
А впридачу к роялю лихой пионерский отряд  
Под моим руководством, со сборами металлолома,  
А помимо всего – написание первого тома  
Неизбежных стихов... Неизбежных, тебе говорят!

Если сможешь забыть – позабудь сабантуй у стола,  
Где Ильич на простенке, как мог, заменял Богоматерь,  
И густой самогонки струя из бутылки текла,  
Чьей-то пьяной рукой опрокинутой прямо на скатерть.  
А в соседней квартире компанию тёртых ребят,  
Где мне в вену вкатили какую-то дрянь из аптеки,  
А ещё одноклассницу в свадебной робе до пят  
Не с тобой, а с другим, и как в старом романе – навеки.

Если сможешь запомнить – запомни, как школьник, подряд:  
Волжский лёд в полыньях, царскосельскую зернь листопада,

Новогодних каникул сухой белоснежный наряд  
И в дождливую осень сырые дворы Ленинграда.  
Стихотворцев-друзей непризнанием спаянный круг,  
Кульптоходы в Прибалтику в общем, как воздух, вагоне,  
И как фото со вспышкой – кольцо обнимающих рук  
Под прощальный гудок на почти опустевшем перроне.

\*\*\*

День. Улица. Хамсин. Жара  
Под сорок. Градус как в «Столичной»,  
Но всё нормально, всё привычно,  
И странно вспомнить, что вчера

Мороз царапался, как зверь,  
Подруги надевали шубы  
И нежно подставляли губы,  
Прикрывши осторожно дверь.

И кто тогда представить мог  
В те бесшабашные минуты  
Нам предстоящие маршруты  
С прыжком с пролога в эпилог.

Разруху «на берегах Невы»,  
Разборки, стрелки, заморочки,  
Когда пришлось припомнить строчки  
«О, если б знали, дети, вы...»

Чтоб нас совсем не запугать,  
Они не называли срока –  
Слова поэта и пророка,  
Что воедино смог связать  
Ночь, улицу, фонарь, аптеку...

Привет Серебряному веку.  
Что я могу ещё сказать?



\*\*\*

Воскрешать перед мысленным взором,  
Наудачу закинув крючок  
В позапрошлом времени, в котором  
Неожиданный крови толчок  
Проведёт тебя той же дорогой  
С домино в том же самом дворе...  
Что ты спросишь у памяти строгой? –  
Вечер, парк, листопад в сентябре,

Где с заносчивой той недотрогой,  
Полный нежности до немоты...  
Что ты спросишь у памяти строгой? –  
Милой той недотроги черты,  
Вкус черёмухи, влажность сирени,  
Воздух осени – светел и чист,  
Серых будней размытые тени,  
Со стихом перечёркнутый лист?

Или ставшее островом детство,  
Подростковой любви острия,

Где одно лишь защитное средство –  
Беззащитная нежность твоя,  
Да одна лишь крутая забота –  
Чувств и мыслей сплошной разницей...  
Это ты – или, может быть, кто-то,  
Вдруг прозревший и ставший тобой?

Не совсем, может быть, умудрённый  
Наспех прожитой жизнью своей,  
Предзакатным лучом озарённый  
Возле полуоткрытых дверей,  
Чтоб увидеть особенно ясно,  
Бед своих и обид не тая,  
Что, должно быть, была не напрасна  
Небезгрешная юность твоя.

Вдохновенья приливы, отливы,  
Озарения мысли немой...  
Как, Господь, твои дни торопливы  
Между прошлой и будущей тьмой!  
Чёрно-белая ласточка вьётся,  
Воронья надрывается рать.  
Вот и Муза никак не уймётся,  
Только слов уже не разобрать.

\*\*\*

Где застряла моя самоходная печь,  
Где усвоил я звонкую русскую речь,  
  
Что, по слову поэта, чиста, как родник,  
По сей день в полынье виден щучий плавник.

Им украшено зеркало тусклой воды,  
Не посмотришься – жди неминуемой беды,  
А посмотришься – та же настигнет беда,  
Лишь одно про неё неизвестно – когда?

Там живут дорогие мои земляки  
Возле самой могучей и славной реки,  
Ловят щуку, гоняют Конька-Горбунка,  
А тому Горбунку что гора, что река.

И самим землякам что сума, что тюрьма.  
Как два века назад вся беда – от ума,  
Татарвы, немчуры, их зловредных богов,  
Косоглазых, чучмеков, и прочих врагов.

Да и сам я хорош: мелодический шум  
Заглушил мне судьбу, что текла наобум.  
Голос крови, романтику, цепи родства  
Я отдал за рифмованные слова.

Оттого-то, видать, и течёт всё быстрее  
Речка жизни моей, а, точнее, ручей,  
Что стремительно движется к той из сторон,  
Где с ладьёй управляется хмурый Харон.

Где земля не земля и вода не вода,  
Где от века другие не ходят суда,  
Где однажды и я, бессловесен и гол,  
Протяну перевозчику медный обол.

\*\*\*

*Сергею Гандлевскому  
Светлой памяти  
Александра Сопровского*

В первый день по приезде в Нью-Йорк я попал на приём  
К знаменитому мэтру – он знал обо мне почему-то –  
И под традиционное «выпьём и снова нальём»  
Я впервые попробовал, щедро плеснув, Абсолюта.  
Вскоре там появились художник, известный весьма,  
Этуаль МосКино, что отважно избрала свободу  
И богатого мужа. В полста этажей терема,  
Что виднелись из окон, свой ответ бросали на воду  
Где-то рядом внизу протекавшей свинцовой реки.  
У красавиц подошвы мели по блестящему полу.  
Тут я снова налил – с гостевой неизбежной тоски  
В высоченный бокал Абсолюта, добавивши колу.  
Между прочим, светлело. Красотки вокруг – выбирай!  
Мой «эмерикен инглиш» уверенно рос с каждым часом.  
Дальше ангел случился с машиной, и начался рай  
В двухэтажном апартаменте с километровым матрасом.  
Что же до Абсолюта – он был для меня слабоват,  
Я его подкрепил чудодейственной дозой разлуки  
С коммунальной квартирой под лампочкой в 70 ватт,  
Ноздреватым асфальтом страны, где заламывал руки,  
Заклиная неврозы и комплексы, депрессняки,  
Голубую любовь к себе власти и электората,

Поддаваться которым мне было совсем не с руки:  
Не любил я, признаться, Большого Курносого Брата.  
Вспоминая пролёт сквозь зелёный ирландский ландшафт  
И приёмник Канады с огромным, как зал, туалетом,  
Я представил другие, в которых кишат и шуршат  
Соотечественники, невольно споткнувшись на этом.  
Так с друзьями московскими, помнится, что *с похмела*,  
На троих (одного уже нет) в привокзальном сортире,  
Сдав билет и портвейна купив, мы его *из горла*  
Тут же употребили, как у Мецената на пире.  
То, что этот забойный напиток годился скорей  
Для хозяйственных нужд, например, чтоб травить тараканов,  
Нас отнюдь не смущало. Пристроившись возле дверей  
Мы подняли бутылки, легко обойдясь без стаканов.  
А сегодня я б отдал весь долбаный тот Абсолют,  
Все мартини и виски, что выпил за долгие годы,  
Самый лучший коньяк, если мне его даже нальют,  
За тот райский коктейль из поддельной лозы и невзгоды.  
От вина шло тепло, но зима предъявляла права,  
И пупырышками покрывалась продрогшая кожа,  
Когда мы в привокзальном сортире – я, Саша, Серёжа –  
Дружно пили портвейн, а вокруг грохотала Москва.

\*\*\*

В Петергофе однажды, в году девяносто четвёртом,  
В ночь под Новый по старому стилю, под водку и грог,  
Я случайно увидел на фото, довольно затёртом,  
Старика в филактериях, дувшего в выгнутый рог.

«Прадед где-то в Литве, до войны, – объяснился хозяин, –  
То ли Каунас, то ли...» Я эти истории знал.  
Даже немцы прийти не успели, их местные взяли,  
Увели – и убили. Обычный в то время финал.

Этот мёртвый старик дул в шофар, Новый Год отмечая,  
В тёплый месяц тишрей, не похожий ничуть на январь.

Тщетно звал я на помощь семейную память, смущая  
Тени предков погибших, сквозь дым продираясь и гарь.

Не такая уж длинная, думал я, эта дорога –  
От тогдашних слепых до сегодняшних зрячих времён.  
У живых нет ответа, спросить бы у Господа Бога:  
Если всё по Закону – зачем этот страшный Закон?

...Был обычный январь. Снегопад барабанил по крыше,  
По стеклу пробегали пунктиры автобусных фар.  
Город медленно спал, и единственный звук, что был слышен –  
Мёртвый старый еврей дул в шофар,  
дул в шофар,  
дул в шофар.

\*\*\*

Кутить, геройствовать. Бывать за океаном,  
Есть устриц и рокфор, пить скотч и Абсолют.  
Общаться запросто с изгнанником – титаном  
Поэзии. Нигде не ждать когда нальют.

Работать на износ за жалкую зарплату,  
Мечтать о пенсии, глотать валокордин,  
Не позволять себе сверхплановую трату,  
Меж съёмных и чужих скитаться до седин.

Похоже, Время спит, и только мы проходим.  
Где детство в Угличе? Рай Царского Села?  
Не замедляя шаг, меж двух несхожих родин  
Так жизнь моя пройдёт или уже прошла.

Там бедный воздух сер, а здесь горяч и древен.  
Там прожил пасынком – и здесь не ко двору.  
Засохшей веткой на своём фамильном древе  
Я здесь – неважно где: в Хевроне, Беер Шеве –  
Когда-нибудь умру

Усталым, видимо, и вряд ли слишком смелым,  
Уже не издали глядящим за порог,  
Где ждёт нас всех она – костлявая, вся в белом,  
Всему на свете знающая срок –

Героизму, кутежам, смиряющей работе,  
Диковинному сну, где вместе ад и рай,  
Хулон, Бат Ям, Кацрин, Хермон в крутом полёте,  
Седой Ям а-Тихон\* в полуденной дремоте,  
Цфат, Иерусалим – и солнце через край!

\*\*\*

«Поедем в Царское Село!»  
О. Мандельштам  
*Риме*

Поехать, что ли, в Царское Село,  
Пока туда пути не замело  
Сухой листвой, серебряным туманом,  
Набором поэтических цитат,

Не то чтоб искажающими взгляд,  
Но, так сказать, чреватými обманом

Вполне невинным: например, легко  
Июньской белой ночи молоко,  
Грот, Эрмитаж, аллеи и куртины  
Плюс выше обозначенный туман  
Оформить как лирический роман  
(Земную жизнь пройдя до половины),

В котором автор волен выбирать  
Меж правдой и возможностью приврать,  
Однако же, к читательской досаде,  
Он, больше славы истину любя,

---

\* Средиземное море (*иврит*).

Не станет приукрашивать себя  
Красивой позы или пользы ради.

Кривить душой не стану. Автор был  
Застенчивым и скромным, но любил  
Не без взаимности. Деталей груду,  
Пусть даже неприличных, сохраню  
И поцелуй в кустах не подмену  
Катаньем в лодке по Большому Пруду.

Мы можем увеличить во сто крат  
Сентябрьский дождь, октябрьский листопад,  
Помножив их на долгую разлуку,  
И всё же им не скрыть от взгляда то,  
Как на моём расстеленном пальто  
Мы познавали взрослую науку.

Без ЗАГСов и помолвок. Не беда,  
Лишь только это было б навсегда,  
Надёжней и верней, чем вклад в сберкассе,  
Чем в лотерею призовой билет,  
А было нам тогда семнадцать лет,  
И были мы ещё в десятом классе.

Конечно – едем в Царское Село!  
Уже в Иерусалиме рассвело,  
Проснулись люди и уснули боги  
Воспоминаний и тоски. Ну что ж –  
Жизнь просит продолженья. Ты идёшь...  
Идёшь – и вдруг застынешь на пороге.

И в памяти мгновенно оживут  
Осенний парк, заросший ряской пруд  
И поцелуев морок постепенный,  
И юношеской страсти неуют –  
Там было всё, о чём я вспомнил тут...

Но это было в той, другой вселенной,  
Где нас забыли и уже не ждут.

**Владимир Ханан** (Ханан Иосифович Бабинский), поэт, прозаик, драматург, представитель так называемого «питерского андеграунда». Родился 9 мая 1945 года в Ереване. Кроме семи детских лет, проведённых в маленьком волжском городке Угличе, всю жизнь до репатриации в Израиль (1996) прожил в Санкт-Петербурге и Царском Селе. По образованию историк.

Печатался в СССР («самиздат» до перестройки), США, Англии, Франции, ФРГ, Австрии, Литве, Израиле, Канаде и др. странах. Автор книг: «Однодневный гость» (стихи, Иерусалим, 2001), «Аура факта» (проза, Иерусалим, 2002), «Неопределённый артикль» (проза, Иерусалим, 2002), «Вверх по лестнице, ведущей на подоконник» (проза, Иерусалим – Москва, 2006), «Осенние мотивы Столицы и Провинций» (стихи, Иерусалим, 2007), «Возвращение» (стихи, Санкт-Петербург, 2010), «И возвращается ветер...» (Сборник статей, Иерусалим, 2014), трёхтомник «Избранное» (Иерусалим, 2016).



Евгений КИСИН

---

«МИШКА-АРТИСТ»

---

*Недавно я вспомнил впервые прочитанный мною ещё много лет назад рассказ Аркадия Львова «Инструктаж в Риме». Автор в одном из интервью вспоминал: «Когда я опубликовал «Инструктаж в Риме», был буквально скандал, потому что я точно описал, как это было – как в Риме принимали евреев. Это все резко отличалось от того, что писали в газетах и от того, что люди себе представляли. Жизнь была гораздо суровее...»*

*И пришла мне в голову мысль: конечно, всё, описанное в том рассказе – правда, но уж очень обидно за моих соплеменников. И я подумал, что этот сюжет можно было бы развить по-иному: ведь и в Древнем Египте среди сотен тысяч евреев нашёлся Моисей, за которым пошли люди и который вывел свой народ из рабства. Хотя, как говорил Гегель, «история повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй – в виде фарса»...*

«Сказать – не сказать?» – может быть, впервые в жизни засомневался Мишка. Кажется, никогда до того у него не возникало сомнений ни в одной ситуации, это чувство просто не было ему знакомо. Когда его обзывали жидом или просто прохаживались по адресу евреев в его присутствии – не раздумывая, бил в морду. В отличие от многих, ни разу не испытывал сомнений, ехать или не ехать: как только в четырнадцать лет понял, в какой стране живёт, – сразу же твёрдо решил, что рано или поздно отсюда уедет. А теперь, на римской вилле Реджина Маргарита, когда сотрудник ХИАСа Майк Слоум, выгнав нескольких человек, пришедших на инструктаж на полминуты позже назначенного времени, заявил остальным, что это – «образец русского свинства» и что «в другой раз, если не погнать их вон, вы тоже опоздаете, а теперь вы имеете урок: не опаздывать», – засомневался, ответить на это или нет. С одной стороны, Слоум,

конечно, был прав насчёт «русского свинства», которого Мишка и сам терпеть не мог, но с другой – ведь он, как и

все остальные, пришёл вовремя; почему же этот самоуверенный чиновник говорит им, людям, которых видит впервые, что в другой раз они тоже опоздают?

Эти мысли пронеслись в Мишкиной голове в течение нескольких мгновений – а мистер Слоум уже продолжал все тем же менторским тоном: «Будем откровенны и не будем притворяться. Мы вас хорошо знаем.». «Ну-ну, – подумал Мишка, – интересно, что же он такое знает?».

И началось...

– Вы стали соваться со своими сувенирами к нашим сотрудникам... Вы привезли заразу, вы развращаете наших людей, и мы хотим, чтобы вы поняли: вы нам надоели, вы надоели нам так, что нет никаких слов. Другие вам не скажут это, а я скажу...

И опять не знал Мишка, что делать. Да, действительно, многие совались с сувенирами, но он никогда этого не делал: и моложе был, и интеллигентнее, и об Америке уже много знал – и потому понимал, что это неуместно. Конечно, хорошо, что им объясняют все, как есть, но ему-то, Мишке, за что такое выслушивать?

А господин «инструктор» вещал все более нагло, никому не давал слова сказать и даже спросить – и вдруг изрёк:

– Евреями вас сделала пятая графа. Вычеркните пятую графу – и три четверти из вас кричали бы аллилуйя не в синагоге, а в церкви. Я вижу на некоторых лицах кривые улыбки, но я повторю свои слова ещё тысячу, ещё миллион, ещё десять миллионов раз. Я знаю, что я прав, и вы знаете, что я прав... Ваши сыновья делают обрезание, ваши сыновья наденут кипу, ваши дети пойдут в иешиву...

Мишка сидел в первом ряду, прямо напротив ХИАСовца, и не видел лиц других людей, но на его лице изобразилась не кривая улыбка, а изумление, хотя вообще он редко чему в жизни удивлялся. Сам он ни в какого бога не верил и ни за что не дал бы себе ничего отрезать, тем более от такой драгоценной части тела, но в синагогу не раз захаживал, как и многие его сверстники, просто из чувства протеста, а пойти в церковь и тем более кричать там аллилуйя ему бы и в дурном сне не приснилось. «Что он несёт?! – подумал Миш-

ка, – Да и у него самого никакой кипы на башке не заметно... Сам-то он, интересно, в иешиву ходил?».

Не успел Мишка все это подумать, как услышал следующее:

– Вы предатели – вы предатели на все сто процентов... Вы сказали, что едете в Израиль, а в Вене повернули задом к Сохнуту. Не будем обманывать себя и опять назовём это своим именем: предательство.

«Это что же – и там мы предатели, и здесь предатели?! – как огнём обожгло Мишку, – А сам-то он, собственно, на кого работает?!». Хотел было Мишка вскочить и дать в рожу этому типу, но его остановило чистое любопытство: что же он ещё скажет?

А тот, произнеся несколько высокопарных фраз об Израиле и США, о голубой звезде Давида и демократии, вынул из кармана несколько долларов и заявил:

– На зелёных этих бумажках история Америки: Вашингтон, Линкольн, Гамильтон, Джексон, Франклин! Кто они, эти люди, что говорят вам эти имена? Пустой звук для вас эти имена...

Вот тут Мишка, с детства зачитывавшийся книгами по американской истории и окончивший истфак с дипломной работой об Америке, уже не выдержал...

Никогда наш герой не испытывал интереса к актёрской профессии – но едва ли не с тех пор, как он научился говорить, у него был такой подвешенный язык, такая богатейшая фантазия и он умел так беззастенчиво и убедительно врать, что и родители, благословенной памяти, и друзья, и учителя в школе – все, кто его знал, называли его «Мишка-артист». Вот и сейчас, демонстративно положив ногу на ногу и глядя прямо в толстые стекла очков мистера Слоума, он сказал твёрдым и отчётливым голосом:

– Вы ошибаетесь, сэр.

«Инструктор» явно был не готов к такому повороту событий, но Мишкин голос и пронизывающий взгляд его черных глаз не допускали, чтобы его перебили, и он продолжил:

– Мы прекрасно знаем, кто эти люди, и нам всем очень многое говорят эти имена – как и имена Джефферсона, Мэдисона, Монро, Джона и Джона Куинси Адамса, Ван Бюрена, Гаррисона, Тайлера... Вы утверждаете, что хорошо знаете нас, – как же для вас остался неведомым такой общеизвестный факт, что больше поло-

вины евреев в Советском Союзе оканчивают школу с золотой медалью, а все остальные – с серебряной? Правду я говорю? – Мишка обернулся к сидящим сзади и подмигнул им поочередно обоими глазами.

Люди молчали в полной растерянности не от обилия имён, которых до того слыхом не слыхивали, а от очевидной неуверенности в том, на чьей стороне сила и кого, следовательно, нужно поддерживать. Слоум издал было какой-то звук, чтобы что-то сказать...

– Ма-а-алчать! – рывкнул Мишка, вскочив со стула во всю высоту своего стодевяностосантиметрового роста, – ты уже достаточно сказал, даже слишком много, а теперь говорить буду я, – и уже всем туловищем повернувшись назад, воскликнул с пафосом:

– Братья! Мы что же, уехали из проклятой Совдепии для того, чтобы и здесь нас обзывали предателями?!

«Братья» сидели как вкопанные, смотрели на Мишку и безмолвствовали, как народ в конце пушкинского «Бориса Годунова». Мишка снова резко повернулся и быстро подошёл к столу, за которым сидел Слоум. Мишка сгрёб его в охапку и крикнув ошалевшей публике: «За мной!», понёс из комнаты на второй этаж, в главную контору ХИАСа.

– Господин Фрид, – сурово начал Мишка, – мы требуем, чтобы этого негодяя немедленно уволили! Он оскорбил наше человеческое и еврейское достоинство, он заявил, что церковь нам ближе синагоги, а главное – он посмел назвать нас предателями за то, что мы едем не в Израиль, а в Америку! Но позвольте, господин Фрид, – Мишка немного понизил голос, но глаза его продолжали сверкать и сверлить, – если бы мы не ехали в Америку, то для чего была бы нужна ваша почтенная организация? Он получает зарплату, кушает хлеб, – голос Мишки пошёл на крещендо, – наслаждается прелестями Рима благодаря тому, что мы едем в Америку, – и смеет за это же обзывать нас предателями!

Мишка хорошо знал английский, но произносил свои тирады по-русски для того, чтобы остальные понимали, что он говорит, и поддерживали его. Переводчик работал добросовестно, и господин Фрид смущенно лепетал в ответ:

– О, я очень сожалею... Я не знаю, почему... Пожалуйста, примите мои извинения...

– Мы требуем, чтобы этого мерзавца уволили! Немедленно! – настаивал Мишка, – Кстати: он уверял нас, что мы вам ужасно надоели, потому что предлагали вашим сотрудникам сувениры. Это правда? – Мишка буквально впился глазами в бедного господина Фрида. – Если это так, то я хотел бы объяснить вам, что мы были очень тронуты вниманием и заботой со стороны ваших сотрудников и нам просто хотелось хоть как-то, по мере наших скромных возможностей, отблагодарить их. Нам и в голову не могло прийти, что вы воспримете это как взятку! Мы прекрасно знаем, что в Америке взятки не берут и не дают, потому мы и едем в эту благословенную страну! – патетически воскликнул Мишка, вспоминая, как, получив на последнем курсе института доступ в Ленинку для дипломной работы, он читал там в «Нью-Йорк Таймс» статьи о коррупции в Америке на всех уровнях, от местного до правительственного. Его последние слова показались до того стоявшим в молчании людям весьма важными и значимыми, и из-за Мишкиной спины послышались мужские и женские голоса:

– Да!

– Конечно, прекрасно знаем!

– Да-да, потому и едем!

– Благословенную!

Господин Фрид смутился ещё больше:

– Ну, что вы, что вы... Конечно же, нет, уверяю вас... поверьте мне...

– А этот подлец должен быть уволен! – продолжал гнуть своё Мишка. – Нас клеймили предателями коммунисты за то, что мы уезжали из их проклятой страны, – и мы не хотим, чтобы теперь нас обзывали предателями здесь! Мы не хотим, чтобы такое услышали наши собраты, которые ещё приедут за нами! Советское государство всю жизнь обирало нас до последней нитки... всю жизнь мы питались хлебом с картошкой... я сам в шестнадцать лет потерял родителей и с тех пор жил впроголодь на крошечную стипендию... – скупая мужская слеза блеснула в левом глазу Мишки, который все студенческие годы промышлял фарцовкой и как минимум каждые две недели кутил с друзьями то в «Арагви», то в «Метрополе».

Видя реакцию господина Фрида, стоящие за Мишкой люди

постепенно осмелели и начали выражать поддержку, сперва кивками и неразборчивым мычанием, а затем и короткими репликами:

– До последней нитки обирали! – воскликнула шестипудовая Песя, пятнадцать лет занимавшая должность директора галантерейного магазина.

– Впроголодь жили! Хлебом с картошкой питались! – подтвердил, сверкая плутоватыми красными глазками, Моня, бывший замдиректора одесского Привоза, перед отъездом отсидевший срок за спекуляцию.

Мишка, в свою очередь, видя, что господин Фрид всё-таки колеблется, перешёл в психическую атаку:

– Если он сейчас же не будет уволен, мы раструбим по всем здешним газетам! И корреспондентов американских газет найдём! И правительство США будет знать, что в то время, как оно тратит деньги американских налогоплательщиков на то, чтобы привезти в страну евреев из Советского Союза, представители ХИАСа, американской еврейской организации, специально созданной для этой цели, оскорбляют и унижают еврейских беженцев, обзывают их предателями за то, что они едут в Америку, а не в Израиль! И правительство будет знать! И американские налогоплательщики будут знать! – разорялся Мишка.

...Лёжа со свисающими пятками на маленькой, не по его росту, кровати на съёмной квартирке в Остии, Мишка вдруг вспомнил, что его назвали в память прадедушки Мойше.., и еще вспомнил, что когда он ещё был совсем маленьким, бабушка рассказывала ему про злого фараона, угнетавшего евреев, и про Моисея, который вывел свой народ из рабства.

***Евгений Кисин** – выдающийся пианист. Он известен и страстием к литературе на идиш. Явление музыканта в еврейской литературе не каприз гения. Задолго до того, как Кисин стал писать стихи на идише, он уже знал и декламировал в оригинале десятки стихов еврейских поэтов.*

*В 2010 году писатель Борис Сандлер предложил ему записать в студии газеты «Форвертс» подборку стихов, по его выбору. Диск*

вышел под названием «На клавишах еврейской поэзии» (36 стих.). С этого началось...

Кисин пишет не только стихи, но и прозу на идиш. В журнале «Времена» (номер 2 за этот год) мы опубликовали его первую новеллу «Волшебный круг», переведенную с идиша на русский. А вот рассказ «Мишка-артист», который напечатан в этом номере, написан по-русски, и в этом его отличие от предыдущих прозаических текстов музыканта.

Евсей ЦЕЙТЛИН

---

## ДОЛГИЕ БЕСЕДЫ В ОЖИДАНИИ СЧАСТЛИВОЙ СМЕРТИ

---

**От редакции.**

*В США готовится к выходу книга Евсея Цейтлина «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти». Книга необычная, в русской литературе едва ли сыщется нечто подобное.*

*Трагедия еврейской культуры в СССР была поистине всеохватной, тотальной. Вот одна, может быть, самая страшная грань этой трагедии: красные фараоны стремились лишить нас исторической памяти, национального самосознания. Увы, «задача» советской идеологией во многом была решена.*

*Думая об этом, прозаик и литературовед Евсей Цейтлин начал в конце восьмидесятых годов записывать рассказы советских евреев. Иногда эти беседы длились месяцы, порой – годы. И это не случайно. Ведь во время интервью восстанавливались глубинные пласты человеческого сознания. То, что евреи бывшего СССР, десятилетиями жившие в атмосфере государственного антисемитизма и страха, скрывали от всех, более того – часто стремились навсегда стереть из собственной памяти.*

*Одно из таких интервью (с последним еврейским писателем Литвы Йокубасом Йосаде) легло в основу книги Евсея Цейтлина «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти». Книга эта, «впервые изданная в 1996 г. Еврейским музеем Литвы, ведет во многом самостоятельное существование более двадцати лет. О ней делают доклады на международных научных конференциях, ее неоднократно переиздают... Она была высоко оценена известными критиками и литературоведами, писателями и журналистами, да и просто читателями. Те, кто писал о книге, отмечали ее изощренную композицию, емкость, интеллектуальное напряже-*



ние и трагизм... К сожалению, русскоязычному читателю Америки эта уникальная книга мало известна... Убеждена: если бы состоялся суд над тоталитаризмом, книга Евсея Цейтлина могла бы выступить на нем важным свидетелем» (Лиана Алавердова. «Знамя», 2017, №12). Добавим: «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти» переведены на литовский, украинский, немецкий, испанский, английский.

В преддверии 70-летия автора, живущего в Чикаго, мы публикуем фрагменты из его книги, а также предисловие Дины Рубиной.

### **Единственный сюжет**

Книга Евсея Цейтлина «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти» не имеет аналогов в русской литературе. В мировой литературе ее можно было бы сравнить с записками Эккермана о Гете, если б героя книги Цейтлина можно было бы сравнить с Гете в чем-нибудь, кроме долголетия.

Это кропотливый, длительный и талантливый эксперимент по изучению истории человеческой души, ее страхов и мучительной борьбы с ними, история поражения и мужества и окончательного, возведенного самим героем, одиночества.

Несколько лет писатель и литературовед Евсей Цейтлин встречался со своим героем *й*, записывая его воспоминания, монологи о прожитой жизни, мысли о настоящем и прошлом.

Все беседы автора и его престарелого героя проходят под знаком будущей (и довольно скорой, по логике событий) смерти *й*. Это придает всему течению сюжета (хотя, как такового, в литературном понимании этого слова, сюжета в книге нет) скрытую напряженность.

Поразительную роль выполняет в этой книге автор. Он тонкий понимающий собеседник *й* и в то же время «фигура за кадром». Он младший коллега по цеху *и*, в то же время, та душевная и нравственная инстанция, к которой постоянно апеллирует *й*.

Это одна из тех книг, к которым возвращаешься мыслью в самые неожиданные моменты собственной жизни, ибо путь каждого из нас предопределен Творцом, но нравственный выбор – а эта тема всегда была и есть главной в искусстве и в жизни – остается за че-

ловеком, за героем той книги, той единственной книги судьбы, сюжет которой каждый из нас проживает единожды и начисто.

*Дина Рубина*

### **ДЕНЬ СМЕРТИ ЛУЧШЕ ДНЯ РОЖДЕНИЯ**

Сегодня произошло то, чего мой герой ждал несколько десятилетий. Его похоронили.

Замечаю: я впервые пишу о Йокубасе Йосаде в прошедшем времени. Он умер три дня назад. Но язык не поворачивался сказать о нем: был.

А сегодня, 12 ноября девяносто пятого года, земля упала на крышку его гроба. Лицо Йосаде в гробу, как почти всегда у мертвецов, было совершенно спокойным. Однако он и при жизни спокойно говорил со мной о собственной смерти. Например, однажды представил:

– Проводив меня на кладбище, не один человек переспросит: «А кем, собственно, этот Йосаде был в искусстве? Литературным критиком? Но статьи его давно забыты. Драматургом? Однако пьесы его не ставят театры. Автором нескольких мемуарных писем к сестре и дочери? Подумаешь, тоненькая тетрадка! К тому же смущает то, как Йосаде говорит о людях и, в том числе, о самом себе...

Он помолчал. Хитровато улыбнулся:

– Вот тогда-то, дорогой мой, вы извлечете на свет божий свои записи... Умоляю вас: не надо панегириков! Пусть это просто будет рассказ о Йокубасе Йосаде, которого почти никто не знал.

### **НЕОБХОДИМОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ С ЧИТАТЕЛЕМ**

Я выбираю для своей книги странный, вроде бы, ракурс – прощание героя с жизнью.

Нет, я вовсе не стремлюсь к оригинальности. Пишу о том, что волновало его больше всего. И что составляло прочный стержень наших бесед.

В первый же день знакомства, в первый же час, едва ли не в первые пять минут он признался:

– Готовлюсь к смерти. И это, пожалуй, самое лучшее, самое серьезное из того, что я делал долгие годы.

Йосаде испытующе посмотрел на меня:

– Как вы считаете, я прав?

Сказал ему то, в чем ничуть не сомневаюсь: подготовка к смерти не только может стать образом жизни, но способна наполнить жизнь реальным смыслом. Тогда-то и окажется, как сказал однажды царь Соломон, что «день смерти лучше дня рождения». И здесь, кстати, нет ничего нового. Достаточно вспомнить историю религии, философии, культуры.

Йосаде порывисто встал с кресла, обнял меня:

– Значит, мы единомышленники!

И все же он вернулся к этому разговору через день. Он еще недоверчив: вдруг его просто разыгрывают?

Переспросил:

– Вы встречали людей, в том числе и писателей, с той же целью, что сейчас у меня?

Я вспоминаю некоторых художников слова – их творчеством занимался прежде. Вспоминаю поэта и пастора Кристионаса Донелайтиса: тот шел к смерти, ведя трагический дневник на страницах старых приходских книг. Вспоминаю детского писателя, бывшего сибирского шамана: тот всюду, как эстафету, возил с собой мешочек с костями предков – время от времени он разговаривал с их душами. Вспоминаю мучительный интерес к смерти Всеволода Иванова – первопроходца и «оппозиционного классика» русской советской литературы...

Наконец – почти анекдот! – рассказываю Йосаде об одном знакомом музыканте. По вечерам он укладывался спать в гроб: «Привыкаю!» Нет, он не был сумасшедшим. Во всем остальном он был как все. И даже стеснялся этой своей «привычки». Кстати, у меня давно есть собственное объяснение подобной странности. Видимо, гроб настраивал музыканта на медитацию, как бы напоминал о вечности... Но я промолчал – ведь мы еще так мало знакомы с Йосаде.

Однако он тут же и – так же! – объяснил мне подоплеку ситуации. Воскликнул:

– Какой оригинальный, какой самобытный человек!

...Так начались наши беседы с ним. Первая – третьего августа 1990 года. Последняя – за несколько дней до его смерти.

### **ИНТОНАЦИЯ И ЖАНР**

–...Мне повезло! Я стал прощаться с жизнью тридцать два года назад. Именно тогда, в пятьдесят восьмом, мое сердце потеряло ритм. Вы слышите? Мне повезло! Человек не думает о вечном, пока не приблизится вплотную к могиле.

Увы, не могу передать ни его еврейский акцент, ни его плохой русский язык, ни особые – всегда откуда-то из глубины – интонации голоса.

Разве что синтаксис чуть-чуть поможет сберечь течение речи.

Разве что можно вспомнить материальное, физическое – его движения, к примеру: то, как закидывает актерски голову, старчески семенит на веранду, как вдруг выглядывают из-под маски морщин смеющиеся юные глаза.

\*\*\*

Сначала записываю его монологи в обычную тетрадку. Он понимает маету этой работы, досадует: сколько же страниц потребуется, чтобы вместить его жизнь! Затем приношу магнитофон, который ничуть не смущает Йосаде. Напротив, какая-то тайная радость переполняет его.

Эту, как и другие «загадки» Йосаде, я обычно пытаюсь разгадать на следующий, после интервью, день.

Прослушиваю магнитофонную пленку. Одновременно веду свой дневник. Здесь же, в дневнике, фиксирую (коротко, главное!) и наши с ним беседы за ужином или на прогулке. А в последние три-четыре года начинаются долгие (иногда часами) разговоры с Йосаде по телефону. Зачастую он звонит сам. Рассказывает о многом, ничуть не сомневаясь: я записываю...

Что ж, с самого начала мы не скрываем друг от друга: у каждого в этих беседах – собственный резон.

Йосаде: «У меня уже нет сил написать свою интимную, духовную биографию. Пусть она останется хоть в наших разговорах, в вашей будущей книге».

А я не скрываю от него главную цель своего переезда из

России в Литву. Цель эта у многих вызывает недоумение (порой явное, иногда – невысказанное). Да, я приехал сюда, чтобы записывать рассказы последних литовских евреев. История их на редкость богата; недавнее прошлое трагично (едва ли не беспрецедентна цифра уничтожения евреев Литвы в годы Второй мировой войны – 90 процентов); что же касается жизни литваков в последние несколько десятилетий, то она покрыта пеленой молчания...

«Молчание? Да, да, – подхватывает Йосаде, когда я напоминаю ему название книги писателя Эли Визеля о соплеменниках в СССР – «Евреи молчания». – Наше молчание в эти годы пронизано болью, кровью, слезами, стыдом... Молчали перед миром, молчали друг перед другом, молчали наедине с собой. Молчали, боясь КГБ. Боясь грозного ярлыка: сионист.

Я обязательно расскажу вам о своем молчании. И о том, как уходил от него. Между прочим, название одной моей пьесы не зря перекликается со словами Эли Визеля – «Синдром молчания».

\*\*\*

И еще. Два слова о жанре этих записок. Жанр не нов. Так называемый «дневник без дат». Указываю их только тогда, когда даты важны для повествования. К тому же я сознательно «перепутал», поменял последовательность своих записей. Конечно, интересно почувствовать «движение дней». Но еще более интересно увидеть движение, тупики, «прорывы» мысли.

\*\*\*

... Мысли, сознание человека, идущего к смерти. Вот предмет моего повествования. Вот что определяет интонацию, диктует сюжет...

\*\*\*

В дневнике я называю его *й*. Пусть останется одинокая эта буква и в книге, которая лежит сейчас перед вами.

## СЮЖЕТЫ ПРОЩАНИЯ

### Из тетради первой

#### ЛАБИРИНТ

й рассказывает свою жизнь как долгий перечень парадоксов. Иногда парадоксы его забавляют. Порой он ими даже хвастает. Гораздо чаще рассматривает эти парадоксы с печальным недоумением.

– Сравните, – обратился он ко мне, – сравните то, как жила моя семья, и то, как жили семьи других писателей Литвы. В большинстве случаев вы увидите, что называется, бурные сюжеты: похороны, разводы, размены квартир, часто безденежье... А у нас, вроде бы, все было тихо и мирно. Благополучно. Почти полвека прожили в огромной квартире, в одном из престижных районов Вильнюса – на Жверинасе. Антикварная мебель. Полный достаток. Машина. Курорты. Моя жена – один из лучших в Литве врачей-эндокринологов, известный доктор Сидерайте. Я – всеми уважаемый литературный критик, а потом – драматург. Дети получили хорошее образование...

Он сделал паузу. И выдохнул:

– Но все это – внешнее. Жизнь внутренняя – подлинная – кипела как раз в нашей семье! Вы содрогнетесь, когда узнаете правду...

Глагол «содрогнетесь» заставил меня вспомнить о театре. Я подумал: опытный драматург строит таким образом «завязку» наших бесед.

И все же очень скоро я убедился: он прав. Больше того, его жизнь – вовсе не перечень парадоксов, но путь в лабиринте.

#### СИМВОЛ

Тема подлинного и мнимого в его жизни, по мнению й, началась восемьдесят лет назад.

«... Я весь фиктивный. В моей метрике, к примеру, фиктивна дата рождения. Там значится: 15 августа 1911 года. А на самом деле... Я появился на свет назавтра после поста Девятого Ава. Вы помните, что это за день в еврейской истории? Он трагичен для евреев разных

эпох. Девятого Ава произнесен Божественный приговор над выходцами из Египта – наши предки были осуждены сорок лет кочевать по пустыне. Девятого Ава уничтожены и Первый, и Второй храмы в Иерусалиме. На Девятое Ава приходится изгнание евреев из Испании в пятнадцатом веке. Я недавно подумал: а ведь примерно Девятого Ава началась и Вторая мировая война.

Откуда же взялась эта дата – пятнадцатое августа? Все метрические книги в Калварии – и гражданские, и в раввinate – были уничтожены в Первую мировую войну. Все, все сгорело. «Пятнадцатое августа», – сказал я писарю, когда поступал на службу в литовскую армию. Помнил: пятнадцатого августа родились многие выдающиеся люди, в том числе Наполеон».

А подлинную дату своего рождения *я* узнал лет через десять. «Это был первый день после Девятого Ава», – припомнит мать.

И он пойдет к раввину. И тот достанет еврейский календарь за 1911 год. И окажется тогда: он на одиннадцать дней старше...

Этот рассказ *я* закончил, как и начал:

– Я весь фиктивный. Я пришел в мир не в день праздника, а после поминок (23 октября 90 г.).

## ВОЗВРАЩЕНИЕ

«И у меня теперь как у всех. Всегда перед смертью человек возвращается в детство. Все остальное удаляется, отлетает постепенно. И он опять – маленький, одинокий – наедине с миром».

\*\*\*

«Я расту в небольшом городке. Семья как семья. Четверо детей. Я и три сестры. Я – старший. Одна сестра, взяв с собой грабли и лопату, уезжает в тридцать четвертом в Палестину – строить еврейское государство. Она и сейчас там. А двух других сестреночек, как и наших родителей, расстреляли в начале войны.

...Отца зовут Мойше, Мозес; мать – Фейгл. По-еврейски это значит «птица»! Она и похожа на птицу – очень энергична, не ходит, а летает. Я весь в нее. В городке знают: моя мама – большая умница, именно она ведет в нашей семье все дела – не только дома, но и на фабрике»...

\*\*\*

Его поездка в Калварию (вместе с сыном, Иосифом). Хотел: взглянуть в глаза – нет, не людей – домов детства. Вернуть – голоса, запахи, сказки.

«Да, очень интересно. Но все изменилось...»

Очевидно, что поездка разочаровала *й*. До этого он был уверен: всего в нескольких часах езды существует заповедник его детства и юности. Но, оказалось, прошлое жило только в нем самом: дома и улочки, запахи субботнего ужина, женщины детства, старый мост, под которым он назначал свидания, тщеславные надежды, шорохи летней ночи...

\*\*\*

Он возвращается в Калварию, когда рассказывает мне свой план экспозиции Еврейского музея в Вильнюсе. В этом плане я угадываю ненаписанную прозу *й*.

Итак, надо каким-то образом воссоздать в музейных залах несколько улочек Калварии. Нет, дело не в этнографии, точнее – не только в ней. Надо передать в музее ритм этой пропавшей, канувшей в безмолвие времени жизни. Синагога, лавочки, хедер, несколько домов; свадьба и хупа; брит-мила новорожденного – священный обряд обрезания, символизирующий связь народа и Бога...

\*\*\*

*й* рад моему вопросу: почему? Он сразу выстраивает цепочку доводов.

«Литовские евреи всегда были «солью» восточно-европейского еврейства. В своем регионе (а речь не только о Литве, но и о прилегающих к ней некоторых областях Белоруссии и Польши) они создали совершенно особый мир... Создали и сберегли этот мир вплоть до той поры, пока – почти полностью – не были уничтожены сами.

Литваков (так они себя называли) не коснулись ветры ассирияции, пронесшиеся над всеми странами Европы и Америки. Из года в год, из века в век литваки жили в своих городках и местечках, точно издревле – по неписаным законам Кагала...»

Я знаю, что последнее утверждение *й* чересчур прямолинейно: его собственная жизнь – тому доказательством. Но я не спорю с *й*. Только уточняю:



- Почему в музее надо восстановить именно кусочек Калварии?
- Так ведь это было сердце еврейской Литвы!

### ТЕНЬ ФРЕЙДА

Потревожу тень Фрейда. В данном случае мне не кажется это банальной данью моде.

И говорит о Фрейде часто (другие важные для него имена-символы: Шопенгауэр, Ницше, Стефан Цвейг, Фейхтвангер, Достоевский...)

И сознательно высвечивает отдельные эпизоды своей жизни. Хочет понять «тайное тайных» собственного характера. Понять вечное: кто я?

Из его рассказов о детстве и юности все время вспоминаю один. Резко очерченный, многозначительный. Кажется, это фрагмент какого-то фильма.

\*\*\*

...Разорился отец. Фабрика вот-вот будет описана. Яков узнал об этом днем. А узнав, с удивлением прислушался к себе. В душе нет ни отчаяния, ни просто волнения. Лишь слабая жалость к отцу, смешанная с презрением. Тот часами стоял у окна: смотрел, как между оконными рамами бьется – напрасно сопротивляясь судьбе – застрявшая там муха.

\*\*\*

Об отце и обычно говорит спокойно, но с каким-то привычным «отстранением». На днях (23 октября 1990 г. – Е.Ц.) и объясняет причину этой «отстраненности», которая далась ему нелегко. И не сразу.

«Мне было лет восемь-десять, когда я стал ощущать напряженную обстановку, царившую в нашем доме. Это было связано с отношениями между отцом и матерью. В чем дело? Разобраться я, конечно, не мог».

Он приглядывался, прислушивался, сопоставлял. («Прекрасная для будущего писателя школа психологического анализа»). Наконец, узнал: во всем виновата женщина.

Ее зовут Ева. Раньше она была служанкой в их доме, потом перешла работать на фабрику. С детства в памяти ее лицо – красивое, выразительное; ее полная фигура, олицетворяющая женственность.

В их семье не было тепла, гармонии.

«Я рано начал думать: почему? как это преодолеть? Чаще всего видел один выход: убить отца. Ведь он предал жену, детей.

Мне было тогда десять-двенадцать лет. Отца я ощущал как врага. Представлял: вот он идет к Еве, за ним следят из окон многие жители городка... Я пытался представить и свое мщение. Однако... Я все больше ужасался собственному плану. Наконец, понял окончательно: нет, отца убить не смогу!

Помню, как похитил в кухне большой нож. Им, наверное, разделывали мясо. Вот этим-то ножом, сказал себе, и убью ее.

Каждый день я доставал нож, сладострастно щупал лезвие. Пока не принял новое решение: да, я должен убить Еву, но – убить словами. Так однажды я и отправился к ней.

Мне было уже восемнадцать. Еве – около сорока. (Я недавно узнал, что все они, герои этого «треугольника» – отец, мать, Ева – родились в 1888 году).

Стояла поздняя осень. Лил дождь. У нас в доме горели свечи. Шабат! Царица-суббота. После праздничного ужина я вышел на темную улицу.

Я хорошо помню ту минуту, когда Ева открыла мне дверь. Мы оба растерялись. Несколько минут стояли в молчании. Потом я шагнул в комнату. Сел.

Увы, тогда я считал себя вправе судить других. Я предложил Еве – резко и категорично:

– С завтрашнего дня вы должны уйти с фабрики. Ищите себе другую работу.

Ева опомнилась:

– Ты – еще пацан, молокосос. Почему же ты указываешь мне, как жить?

Она распахнула дверь:

– Вон отсюда!

Я остался сидеть на стуле. Сказал ей, что жизнь ее отныне в опасности. Я никогда не прощу ей несчастья нашей семьи».

Ее слезы. Он разглядывает бедную комнату без удобств.

Слышит – сквозь всхлипы – историю чужой жизни. Как и где достать завтра другую работу? Она одна, у нее никого нет. Фабрика для нее – вся жизнь. Она очень хорошо работает, помогает его отцу. Она почти хозяйка на фабрике: следит за другими, следит, чтобы не воровали, по-своему охраняет отца и их добро.

Его слезы. Его доводы: он несчастнее, чем она. Она ведь не знает, что творится у них в доме, как страдает мать, как страдают дети. Она начинает его успокаивать, гладить по голове. У нее нет собственных детей; может быть, ей кажется: это ее взрослый сын пришел к ней со своими бедами. Она сажает его к себе на колени, гладит, как ребенка, по голове. Она целует его: «Ну хорошо, маленький, успокойся, как-нибудь все обойдется...»

Его поцелуи. Сначала поцелуи сына. Потом... Он чувствует, что целует красивую женщину. Потом...

и прерывает себя:

– Знаете, почему я вам рассказываю это? Моя пьеса «Жертвоприношение» выросла из этого воспоминания.

Их роман продолжался месяц или полтора. Каждый вечер он был у Евы.

Спрашиваю: «А что же ваш отец?» – «Мы оба не думали тогда об отце, хотя... Наверное, их отношения тоже продолжались. Днем».

Никто ничего не узнал. Но вдруг Янкель словно остановился на ходу. Опомился. Он не мог оставаться дома.

– Вы себе не представляете, что творилось во мне, когда я видел отца. В конце концов, уехал в Каунас. Это был побег. Видимо, с того дня началась для меня другая жизнь.

### **«ЯРЫЙ ВРАГ ТАЙН»**

Наблюдательность? Любопытство? Как точнее назвать эту его черту, которая так гипертрофированна у *й*?

...Потому-то в отличие от большинства писателей *й* любит не только поговорить. Любит слушать.

\*\*\*

Осенним днем гуляем с ним неподалеку от его дома – по улочкам, которые *й* десятилетиями раньше исходил вдоль и поперек.

Он знает едва ли не каждого. Знает: «кто и где работает, кто и как ворует, кто и с кем спит...» Говорю ему в связи с этим: «Бабель часто мечтал узнать содержание той или иной женской сумочки». – «Как он был прав... Какие здесь могут открыться тайны!»

\*\*\*

Подобно тому, как библиофил ищет редкую книгу, *й* порой месяцами разыскивает того или иного человека. К примеру, на протяжении нескольких лет произносит имя одной молодой женщины: «Как и где я могу ее все-таки найти? Мне это так важно!»

Она литовка; решительно приняла иудаизм, соблюдает традиции, выучила сначала идиш, а потом иврит, работала в архивах и библиотеках, постигая судьбы еврейской интеллигенции в Литве предвоенной поры... Однако *й* волнует ее собственная – не ясная ему – судьба.

\*\*\*

Это он, конечно, сказал не о персонаже пьесы – о себе самом: «...Ярый враг тайн. Таков уж характер. Стоит мне столкнуться с тайной, как безумно хочется разгадать ее».

\*\*\*

...Спустя полвека ему, например, все более и более интересна врач из Талды-Кургана. Когда-то во время войны *й* – беженец – пришел в поликлинику на прием. Вскоре врач донесла на *й* (своего пациента) в НКВД.

«... Очень симпатичная женщина – настоящая русская красавица. Она щупает мой пульс, слушает сердце, смотрит горло... Что-то спрашивает. Мой акцент, мой плохой русский язык (я ведь его никогда не учил) вызывают вопросы:

– Откуда вы? Из Литвы? Где это – Литва?

Ну и начинаю рассказывать. Мол, это не так далеко от германской границы.

– Так вы знаете немцев?

– Конечно. И даже очень хорошо. В нашем городке жило много немцев. Кстати, немцем был и самый лучший мой друг юности.

– Так что же это за народ?

– Вспомните сами. Немцы дали миру Канта, Бетховена, Баха... Но вот пришел Гитлер...»

А потом она смазывала *й* горло, выписывала рецепты... А потом *й* отправился в столовую – заказал борщ, сел за столик. Тут-то он увидел в дверях человека. Тот уверенно поманил *й* пальцем: «Идите за мной...»

Спустя полвека *й* добродушен:

– ...Скорее всего та врач была хорошей русской женщиной, патриоткой. И, наверное, гордилась тем, что выполнила свой долг – помогла фронту, приблизила победу...

\*\*\*

Собственная жизнь для него не менее таинственна, чем для меня. *й* с разных сторон пытается подойти к «тайне».

«Что сформировало мой характер, мой духовный облик и, в конце концов, мою биографию?»

Вот, по-моему, самое главное: до двенадцати лет я не видел крови. Никогда. Ни крови человеческой, ни даже крови куриной. Я даже никогда не видел резника, который, согласно еврейской традиции, убивает животных особым способом – чтобы мясо было кошерным.

Никогда не видел мертвеца...

Сам не знаю, почему так случилось. В семье в эти годы никто не умирал. У соседей – тоже. А, может быть, меня старательно оберегали от подобных впечатлений.

Не видел я и револьвера. В городке было трое или четверо полицейских. Когда они шли по улице, из их портупей выглядывали деревянные рукоятки.

В том мире, который окружал меня, царил не культ силы – культ ума.

Я знал: если между евреями назревает серьезный конфликт, они идут к раввину. Тот не может посадить в тюрьму, однако его решения выполняются беспрекословно. За словами раввина, какими бы они ни были, просвечивала мудрость Торы, Талмуда, предания...»  
(23 октября 90 г., 8 ноября 91 г.)

## НИТЬ СТРАХА

23 октября 90 г.

– Расставаясь с жизнью, хочу от многого избавиться, очиститься... Я хочу рассказать о том, что так долго таил от всех...

И все же *й* не сразу произносит это слово – страх. Потом тема страха пройдет через многие наши беседы. Окажется: именно страх связывает плотно целые десятилетия жизни *й*.

Впервые мы подходим к этой теме сегодня. Подходим, вроде бы, случайно. Пьем кофе. Он спрашивает:

– О чем вы не успели написать, живя в России?

Размышляю недолго:

– Ну конечно, об удивительной роли страха в творческом сознании советского писателя...

Как всегда, *й* примеривает сказанное к себе:

– Чехов призывал каждый день выдавливать из себя раба... Я все эти тридцать лет прощания с жизнью «выжимаю» из себя страх. Знаете, недавно написал об этом письмо известной еврейской поэтессе Доре Тейтельбойм. Написал о том, что случилось во время нашей встречи в Израиле – именно под воздействием страха.

Я останавливаю *й*. Предлагаю вернуться на многие десятилетия назад, начать сначала. И мы записываем на магнитофон его воспоминания о первых, уже, кажется, похороненных страхах.

\*\*\*

«... Мне – от тринадцати до пятнадцати лет, не помню точно, сколько. Однажды, когда мы с товарищем выходим на улицу, он показывает на какого-то человека.

– Ты заметил его? В любую минуту может тебя арестовать.

– Кто?

– Да он же...

Я прозреваю внезапно. Как же я не обращал внимания раньше? Ведь этот тип резко выделяется среди других жителей нашего городка. И все знают, откуда он. Тайная полиция! Черный котелок, строгий черный костюм – и летом, и зимой. И, может, потому – очень бледное лицо.

Это первая наша встреча. Потом уж я всегда замечаю его – издалека.

1926-й год, в Литве переворот. К власти приходит Сметона, его поддерживает армия. В одну ночь в нашем городке арестовывают пять или шесть человек.

За что? За убеждения. Все они – социалисты, ничего еще не совершили; но их взгляды не нравятся тем, кто теперь во главе государства.

С этих пор меня начинают преследовать сомнения: «Разве можно арестовывать за мысли?!» И еще: «Может быть, мысли кто-то читает?»

Конечно, я боюсь за себя. Я знаком уже с различными социальными теориями, с трудами философов, экономистов, публицистов разных направлений. Вдруг и я мыслю не так, как можно? Вдруг и меня арестуют?

Отныне, встречая человека в черном, перехожу на другую сторону улицы. А что если он «считывает» и мои мысли?

Избегаю его, но одновременно – хочу встретиться. Какая-то сила притягивает меня к человеку в черном.

Однажды я устремляюсь вслед за ним. Он заходит в парикмахерскую. Я тоже. Сажусь рядом. Весь – напряжение. Вот его приглашают в кресло. Вот, глядя в зеркало, он наблюдает за всеми в зале. Наконец, смотрит на меня. По-особому, пронзительно.

Я запоминаю эту сцену навсегда. Наверное, подсознательно я уже готовлюсь стать писателем, хочу понять механизм Зла...»

– Не отсюда ли тянутся ваши страхи, связанные потом с советскими аббревиатурами – НКВД, МГБ, КГБ?

– Именно об этом я и хотел сказать вам сейчас. Именно здесь начинается особая линия моей духовной жизни.

Знаете, каждый раз, когда я прохожу мимо мрачного здания Госбезопасности в Вильнюсе, я, даже если очень спешу, невольно приостанавливаюсь. Бросаю быстрый взгляд. Почему? Потому что я провинился. Я все еще мыслю иначе, чем они хотят.

Я все еще их боюсь».

## СНЫ

Если прав все тот же Фрейд, сны раскрывают скрытые закономерности жизни. Может быть, они многое могут сказать и о том, как человек идет к смерти. Вот почему записываю сны *й*.

\*\*\*

«Вчера я увидел во сне т е м у картины. Тут же дал ей название: «МОЯ СВЕЧА, ИЛИ ЕВРЕЙСКАЯ СВЕЧА».

Да, это была именно горящая свеча! Однако она все же не походила на обычные свечи – причудливо изломана! В этом странном сгибе я видел то чью-то искривленную спину, то еврейский нос. А в язычке пламени с удивлением разглядел глаз. В основании свечи были черепа, отекающий воск вдруг превращался в кровь... Пламя светило еле-еле, поднимался слабый дымок. Где-то вверху сияло солнце...»

Он рассказал этот сон сыну, художнику, надеясь: вдруг заинтересуется, вдруг – в самом деле – родится картина. Потом позвонил мне.

## ПРИГОВОР

*24 октября 90 г.* Тема вины, обычная во время исповеди. Признание вины. Покаяние. Вроде бы, именно это менее всего свойственно *й*. Но...

– Я сам подписал им приговор, – говорит он, рассказывая о смерти близких. – Сам. Сам!

Преувеличение? Не такое уж сильное, если следовать логике фактов. Вот уж полвека мысль *й* бьется в этом лабиринте. Безрезультатно. Он никогда так и не сможет распутать

трагический клубок. «Как жутко, как логично это оказалось связано друг с другом – мой характер, мои поступки, события, не зависящие от меня. Наконец, их смерть...»

Итак, сороковой год. Советская власть открывает в Литве ворота тюрьмы для политзаключенных. Среди тех, кто получает волю – Юозас Жямайтайтис. Простой парень, сапожник из Калварии. В тридцать первом он попался с прокламациями. Получил десять лет заключения. «А я, между прочим, был сочувствующим партии, активным мопристом, больше того – секретарем МОПРа в нашем



городке. Моим заданием было: каждый месяц собирать по десять литов и отдавать их потом сестре Жямайтайтиса. Она, купив продукты, отвозила посылки брату, в Каунасскую тюрьму. Между прочим, деньги я собирал даже с рабочих фабрики своего отца».

Вот так он и выжил, будущий партийный и советский работник Жямайтайтис.

– Когда его освободили, сестра Жямайтайтиса, встретив брата у ворот тюрьмы, привела его ко мне. В мою каунасскую комнатку. «Вот твой спаситель!» – «Очень приятно!» – «Мне тоже».

Они по-настоящему интересны друг другу. Говорят о многом и – откровенно. Жямайтайтис живет у й несколько суток. Потом уезжает в Калварию. «Он стал там одним из руководителей городка, кажется, первым секретарем райкома».

14 июня 1941 года. Черная дата. Многих жителей Литвы отправляют в ссылку и лагеря.

– В шесть утра мне позвонила мать: «Янкель, нас увозят в Сибирь! Если можешь, спаси!»

– Я взял такси. В восемь утра уже был в Калварии. Сразу же – не к своим – в горком. Вхожу. Комната набита людьми с карабинами. Накурено так, что лица почти не видны. Я прохожу к Жямайтайтису. Он сидит за столом, энергично отдавая кому-то

распоряжения. Хозяин! Увидев меня, побледнел: «Выйдите все!»

Диалог их недолог, но как много он решил!

– Мою семью тоже в Сибирь?

– Тебя я не трогаю.

– А мать, отец, сестры?

– Тебя я не трогаю.

– Что будет с моей семьей?

– Не знаю.

– Покажи списки.

– Вот они, лежат на столе.

Конечно, в списках есть и семья калварийского фабриканта Йосаде.

– Ничего не могу сделать, ничего.

й выходит на улицу. Вскоре его догоняют:

«Вернитесь. Вас ждет товарищ Жямайтайтис».

Теперь главная фраза. Она полвека звучит в ушах *й*:

– Возьми карандаш и сам вычеркни.

Взял. Вычеркнул. О чем потом много раз пожалел. Жямайтайтис подходит к нему, целует. Говорит, глядя куда-то в сторону: «Иди! И чтобы больше я тебя здесь не видел».

Спрашиваю *й*:

– И не виделись?

– Да нет – встретились в Шестнадцатой дивизии. Жямайтайтис был у нас около года, затем куда-то исчез. Я думал – погиб. Но случайно узнал: его перебросили в Литву.

После войны Жямайтайтис – «на первых ролях» в Марьямполе. Они столкнулись на каком-то торжественном заседании в Вильнюсе. Оба обрадовались. Да, конечно, надо посидеть, есть что вспомнить. «Это была последняя встреча. Говорят, Жямайтайтис спился, стал руководить каким-то подразделением коммунальной службы, вскоре – умер».

Одна деталь больше всего волнует *й*: «Почему он протянул мне карандаш? Я сам! Собственной рукой! Я подписал своей семье смертный приговор. В Сибири они, может быть, и выжили бы».

*й* пытается и здесь увидеть знак судьбы. Как прочитав этот символ? Он бьется над этим долгие годы. И конечно, не может расшифровать.

## НАЧАЛО

Начинать в литературе всегда трудно. Начало редко связано с радостью, чаще – с горечью: бывают ошибки! Тогда следуют долгие годы поисков, разочарований. Порой автор так и не находит свой путь, прощается с искусством. А ведь талант был!

*й* начинал легко.

– Я посвятил свой первый фельетон (в ту пору так называли в газетах зарисовки быта и нравов) одной еврейской девушке. Она встречается на городском кладбище с парнем-литовцем; за влюбленными следят; однажды их ловят на «месте преступления».

Банальный эпизод? Между прочим, такое случалось тогда ред-

ко. К тому же меня меньше всего интересовала внешняя, интригующая всех сторона события. Я хотел понять психологию – родителей девушки, ее подруг, соседей...

й отправил свой фельетон в Каунас, в известную еврейскую газету «Идише штиме». Она расходилась не только по Литве – по всей Европе.

Он набрался терпения. Стал ждать. Неожиданно для него ждать пришлось совсем недолго. Нет, письма из редакции не было. В первую же субботу, развернув, как всегда сдвоенный в этот день, номер газеты, й увидел свой фельетон.

– Редакция не изменила в моем тексте ни слова.

Городок гудел от пересудов. Действующих лиц узнали сразу, хотя их имена в фельетоне были не названы. Все гадали: кто автор? й подписался псевдонимом. Но разглядеть «бытописателя нравов» в гимназисте не смог никто.

Он стойко хранил свою тайну. Он жил уже будущими публикациями. Не сомневался: теперь, после шумного и успешного дебюта, станет одним из ведущих авторов газеты.

Конечно, й ошибся. Дальше все у него было, как у других. Как обычно: лавров мало – в основном тернии.

– Послав в редакцию свой второй рассказ, я получил ответ от самого Рубинштейна – знаменитого еврейского журналиста и редактора.

В письме было несколько фраз: «Печатать рассказ нельзя. Он еще сырой. Все же очевидно: у автора – острый взгляд».

й был в отчаянии. Но бросить писать уже не мог.

– Только спустя много лет я понял: Рубинштейн тогда не просто снисходительно похвалил меня – он в меня поверил.

Дебют й оказался удачным. Потому что он начал точно. С того, что потом волновало й всю жизнь. Да, с «разгадки тайны». Его рассказы и повести, опубликованные перед Второй мировой войной в еврейских газетах, журналах, альманахах, – это в основном психологические портреты «маленького человека». Они – о «тайне», с которой мы рождаемся и потом уносим за собой в могилу.

Кстати. В том, самом первом фельетоне й, звучит уже главная тема его творчества последних лет. Любовь на фоне смерти, отношения евреев и литовцев...

## ФРАГМЕНТЫ ЖИЗНИ

Время от времени *й* говорит о своем некрологе. Тот, кто будет писать этот некролог, не должен также забыть:

ЕГО ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК. «Сразу после войны я стал директором Вильнюсского филиала московского еврейского издательства «Дер эмес». Уже начали работать над несколькими книгами на идиш. И, конечно, как принято было тогда, над «Кратким курсом истории ВКП(б)». Ничего не вышло! Нам не выделили бумагу, необходимые шрифты... Мы обращались в ЦК, писали докладные записки... Обещали помочь, называли сроки... Все однако оставалось по-прежнему. Кто-то невидимый уверенно сдерживал, сознательно тормозил все начинания, связанные с возрождением еврейской культуры после войны... Наконец, я догадался: здесь нет случайности!»

\*\*\*

«...Жили впроголодь. От отчаяния я пошел в завхозы! Работал в спецполиклинике: в моем ведении были столы, кровати, простыни. Вечером, придя домой, я не мог найти себе места. В тоске гадал: «Что будет со мной? С моими планами?»

Казалось, все кончено».

\*\*\*

В 1948-м – 59-м *й* работает в журнале «Пяргале». Сначала – ведущим отделом критики, потом – ответственным секретарем.

«... Между прочим, почти в каждой редакции был тогда «свой еврей»: ответственный секретарь, реже – заместитель редактора. Начальство менялось, шло на повышение – «редакционный еврей» оставался на своем месте. «Наверху» знали: так и должно быть. Еврей – трудолюбивый спец – обеспечивал порядок, преемственность в делах.

Это были признаваемые всеми «условия игры».

## ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ ВИТЕНБЕРГА

16 сентября 91 г. Четыре варианта его пьесы «Ицик Витенберг». Я читаю первый и последний. Совсем мало общего. Конечно, и там, и там есть реальная судьба руководителя подпольной организации

Вильнюсского гетто. Есть абрис его жизни, героизм и трагедия: Витенберг, как известно, сам сдался в руки гестаповцам, иначе они грозили уничтожить гетто. На следующий день Витенберга нашли – мертвого, изувеченного – в тюремной камере. Говорят, он отравился, приняв цианистый калий, который ему передали с воли.

Первый вариант пьесы, 1946 год: типичное произведение социалистического реализма, типичный герой-руководитель из народа (Витенберг был сапожником), единение с массами, человек спокойно отдает жизнь во имя великой цели.

Последний вариант, 80-е годы: мучительные вопросы героя перед смертью, драматург рассматривает экзистенциальные коллизии, отчуждение человека, идущего на гибель, его последние, одинокие шаги в вечность.

Я не сомневаюсь: люди, знавшие Витенберга и занимающиеся при чтении взвешиванием «похож-не похож», вряд ли пришли в восторг от пьесы *й*. Тут важно понять жанр. Я бы определил его так: «Вариации на тему Витенберга».

Но почему и как *й* изменил концепцию характера героя?

– ...Я сам в это время думал о смерти. Я легко представил себя на месте Витенберга. Сомнения. Поиски выхода: как поступить? Метания. Нет, с жизнью не так просто расстаться.

\*\*\*

И еще, создавая последний вариант пьесы, он вспомнил, что в сороковые годы уже распутывал клубок «загадок» Витенберга.

– Известно, что у Витенберга была семья. Но известно и другое. У него в гетто была любовница. После войны я случайно узнал: та женщина жива.

Она обитала в старом городе, на улице Траку. В маленькой комнатке коммунальной квартиры, на втором этаже.

Я нашел повод познакомиться. Дал понять, что увлекся ею. Нет, между нами, конечно, ничего не было. От тривиального романа меня удерживала недавняя женитьба – по любви. Мы много гуляли, порой заходили в кафе. Иногда, вечерами, она поила меня чаем. Я ненавязчиво задавал вопросы – о жизни в гетто, о Витенберге, о ней самой.

Родилась она в семье еврейского богача из Лодзи, в Вильнюс попала перед войной. Была она все еще молода, красива и, пожалуй,

умна.

Свои записи тех бесед я потом сжег – ожидая ареста. Среди деталей, которые храню в памяти, – платье старухи. Его надел Витенберг, когда хотел убежать из гетто.

\*\*\*

Развязка этой истории загадочна и неожиданна – как многое из того, что связано с Витенбергом. Однажды *й*, придя к своей новой приятельнице, обнаружил: ее комната пуста. Любовница Витенберга исчезла. Видимо, все это время она тоже изучала *й*.

### **ЕЩЕ ОДНО ОБЪЯСНЕНИЕ С ЧИТАТЕЛЕМ**

Сартр хотел создать биографию Флобера. Подробнейшую, на несколько тысяч страниц. Портрет писателя: поиски, замыслы, лаборатория, увлечения, идеологические влияния...

Спрашиваю себя: зачем же пишу я? Для чего вместе с *й* мы осуществляем этот эксперимент?

Пять лет – оторванные у его пьес лучшие дневные часы; длинные вечера, переходящие за полночь.

Пять лет. Теперь они в нескольких моих тетрадях, десятке магнитофонных кассет. Разные варианты хроники чужого – разорванного – сознания.

Впрочем, для меня очень важно, что это сознание еврейского интеллигента.

«О том, как гибла еврейская культура в СССР, напишут еще многократно, – думаю я. – Но точна ли будет эта история без истории жизни одного человека, одного творца: неважно даже – знаменитого или малоизвестного? Конечно, исследователи отметят аресты и расстрелы еврейских писателей, артистов, ученых; зафиксируют, как перестали выходить книги на идиш, как закрывались еврейские театры, газеты, школы, как появлялись антисемитские статьи, в которых каждое слово – точно удар кастетом... Но на полях истории лишь промелькнут испуганные глаза; ночи, наполненные страхом; пепел сожженных архивов. И еще – едва ли не главное – самоуничтожение таланта. Да! У того, кто хотел выжить в те годы, был и такой путь – саморазрушение своего дара. Талант

оказывался опасным. Притом, не только для тоталитарного общества – для самого творца. Как важно проследить этот процесс. Увидеть изнутри. А ведь *й* хочет говорить! Не собирается ничего утаивать. Не щадит себя...»

### **ВХОД В ЛАБИРИНТ**

О своих предательствах *й* поведал честно, ничуть не пытаясь оправдаться. Понимает ли *й*, что самое большое предательство он совершил по отношению к себе?

\*\*\*

После войны переименовал имя. Был Яков. Стал Йокубас. Думал и писал по-еврейски, теперь – по-литовски. Даже дневник. Даже письма дочери в Израиль.

Может быть, он и сам не сразу заметил, как произошел этот поворот. Казалось, просто следует совету друзей:

– Говорите дома с женой по-литовски. Если, конечно, хотите овладеть этим языком.

Жена была поражена. Пробовала протестовать. Потом смирилась: все-таки цель была понятной, в сущности, утилитарной.

Как, однако, объяснить, что через некоторое время *й* сознательно лишил своих детей языка, на котором говорили их деды? Первые слова и Ася, и Иосиф произнесли по-литовски. Он захлопнул перед ними дверь в мир еврейства... «Хотел уберечь их от многих бед», – говорит *й*. (Между прочим, то же самое я слышал и от других еврейских писателей). Признался: «Редко, совсем редко рассказывал детям о наших корнях, о Калварии, о боли, которая во мне самом не утихала никогда».

По сути, в наших беседах два главных сюжета: его саморазрушение; его возрождение как личности и творца (правда, последнее так до конца и не состоялось).

\*\*\*

Почему он это сделал? Несколько раз *й* дает объяснение происшедшему. Я не удивляюсь тому, что эти объяснения разнятся. И в том, и в другом – правда.

«Мой читатель лежал в Понарах, в смертных ямах по всей Литве. Я искал нового читателя. А он говорил по-литовски».

Самое точное объяснение, однако, иное: страх. Интуиция, удивительная интуиция *й* подсказала ему: скоро, совсем скоро начнутся новые преследования евреев. И, вероятнее всего, наступит конец еврейской культуры в СССР. Трезвый расчет продиктовал выход: он должен срочно стать литовским писателем. Потом, в письме к дочери, *й* заметит: «Я вовремя сбежал из еврейского края».

\*\*\*

Еще бесспорнее свидетельствует о происшедшем давний, но – оказалось – не забытый семейный конфликт. Доктор Сидерайте рассказала мне, что никак не могла понять: зачем мужу нужно было обращаться в милицию – зачем он так хотел, чтобы его литовское имя обязательно внесли в паспорт?

### **НЕСКОЛЬКО ШАГОВ В ЛАБИРИНТЕ**

Свою первую рецензию в журнале «Пяргале» *й* пишет по-литовски...

–...Но я быстро догадываюсь: получилось совсем не то, что хотел написать.

Вот тогда-то он продумает довольно сложный «технологический» процесс: первый вариант статьи должен быть на идиш, затем один знакомый журналист делает перевод на литовский (разумеется, за плату), затем *й* внимательно сравнивает оригинал с переводом – анализирует языковые конструкции, учится...

Так продолжается долго – несколько лет. *й* становится в это время известным в Литве литературным критиком. Наконец, постепенно, он отказывается от переводчика.

\*\*\*

То, чего он добился в короткое время, не может не восхищать. Победа? Разумеется, поражение. *й* был обречен, но не понимал этого. Он надеялся, что сумеет перестроить, переделать себя. При этом *й* не хотел стать «средним» литовским писателем.

Между тем история литературы знает только два-три примера,



когда художник слова «менял» язык и добивался подлинного успеха. Может быть, самый известный пример: Владимир Набоков. Его проза стала событием не только в русской, но и американской литературе. Однако ведь Набоков свободно знал английский с раннего детства...

\*\*\*

й всегда напряженно думает о своих отношениях с литовским языком. Должно быть, в старости понимает: чужой язык уже никогда не станет родным. Все же он надеется выйти из этого лабиринта: «Для чего тогда еврейская голова?»

Говорит многие годы подряд жене, а теперь мне:

– ...Есть литературные жанры, где язык не так важен. Это как раз те жанры, в которых работаю я: драма и литературная критика.

Я жалею й, молчу. Логика его рассуждений поверхностна. В самом деле, в пьесе на первый план выходит действие, в литературной критике – движение мысли... Но драма мертва без ярких диалогов. А все логические построения статьи рассыпаются, если не скреплены лирическим, личностным пафосом автора. Ремесленник может написать драму или статью «средним» языком, Ибсен и Брандес – не могли.

й любит порассуждать также о двух русских классиках, язык которых якобы небрежен, но которые от этого ничуть не становятся меньше, – о Толстом и Достоевском. Тут (поскольку речь о самом й впрямую не заходит) я резко спорю с ним. Цитирую ему свою давнюю книгу о писательском труде – «Беседы в дороге» (Новосибирск, 1977). Там много страниц посвящено как раз «псевдонебрежностям» со словом – Толстого, Достоевского, Пушкина...

Лабиринт потому и лабиринт: он не имеет выхода. й думает по-литовски, даже ведет по-литовски дневник. Но нет свободы, полета. И нет уверенности.

Отдает свои вещи редактировать литуанистам. Разрешает «переписывать» себя, если у редактора есть желание.

Он признается: пишет тяжело, медленно, будто ворочает глыбы. Только мыслит весело. «Придумывать пьесу – счастье, писать – каторга».

Может быть, это и есть его главная драма? Замыслы разбиваются, по-настоящему не воплощенные в языке.

## БУМЕРАНГ

12 августа 90 г. Дочь *й*, Ася, уехала в Израиль в семьдесят втором году...

Я смотрел сегодня на ее фотографию в кабинете отца – на стене, в простой металлической рамочке: обычная еврейская девушка, одета во все белое.

В тот год она окончила университет, работала программисткой. Однажды пришла к отцу, села напротив:

– Папа, я хочу тебя оторвать. Дело в том, что я уезжаю...

– Куда?

– В Израиль.

Он ответил спокойно:

– Это твое дело. А я никуда из Литвы не тронусь.

«Так и улетела. И уже почти двадцать лет там. И ни разу за эти годы не захотела взглянуть на родной дом».

Бумеранг.

*й* не произносит это слово. Но оно как бы за скобками его недоуменных вопросов. «Не могу понять, почему она уехала? Как возникла у Аси сама эта мысль? Ведь она была так далека от еврейства – когда росла, в семье нашей уже не звучала еврейская речь, у девочки не было еврейских подруг...»

Я не сомневаюсь, однако, что ему самому приходило в голову простое объяснение. Бумеранг.

## ВОСПОМИНАНИЕ О ПЕПЛЕ

Страхи *й* можно классифицировать. По периодам. По длительности. По причинам возникновения. По силе интенсивности страха, если можно так выразиться. (Я сознательно не стал обращаться к специальной литературе, чтобы мой дневник не напоминал записки студента-психиатра).

\*\*\*

– На войне, как многие люди, я не испытывал страха.

– Когда же он появился?

– Сразу после войны...

Это, конечно, не так. *й* запомнил: страх был и раньше. Только после фронта усилился.

\*\*\*

Первая его встреча с энкаведистами – тоже во время войны (в эвакуации, после визита к врачу и посещения столовой). Встреча показалась сначала обыденной, а завершилась, в конце концов, трудовым лагерем, где *й* чуть не погиб. Но, рассказывая, *й* вспоминает не это.

Свою досаду – «борщ так и не доел!»

Свое безоговорочное подчинение очередному «человеку в черном»: «А я ведь даже не знал, кто он такой».

\*\*\*

Вторая встреча с энкаведистами – уже после фронта, в Вильнюсе.

Однажды *й* вызывают в горком партии, но там – в коридоре – его встречает посыльный:

– С вами хотят поговорить. Нет, не здесь – пойдете, я отведу вас.

*й*, вспоминая об этом, стремится, как всегда, быть честным перед собой. Удивляется: ему очень понравился сотрудник органов. Ласковые глаза, теплые белые руки, искренний интерес к еврейским писателям: что они за люди; как устроен их быт; в чем нуждаются?

\*\*\*

Заметил ли *й*, что все люди этой «стаи» похожи друг на друга?

Не сомневаюсь: заметил. Иначе как бы узнавал их, когда они приходили в редакцию «Пяргале»? Не представившись, смело открывали дверь в кабинет главного редактора.

*й* опять пытается понять себя. Как же так? Его никто не предупредил заранее, никто ни о чем не просил. Тем не менее он знал: во время этих визитов в кабинет главного нельзя никого пропускать...

\*\*\*

Следующая встреча на явочной квартире проходит более жестко, по-деловому, без сантиментов... *й* дают понять: он теперь свой,

почти сотрудник... Собеседника *й* интересует уже не быт, не биографии еврейских писателей – идеологические характеристики.

– Поэт Ошерович. Он ведь, кажется, еще недавно был сионистом?

– Поэт Суцкевер. Верно ли, что он не признает партийность литературы?

*й* уклоняется от ответов. Особенно его коробит финал разговора: нужно дать подписку, что никто не узнает об этой встрече. «Как? Почему?» – «Так будет лучше – для вас». Добрые глаза становятся строгими: это приказ.

*й* не любит рассуждать о морали. Но именно тогда, в конце сороковых, он устанавливает для себя некий барьер. Он говорит себе твердо: «Больше сюда не пойду!» Придумывает причину: «Недавно женился. Я обещал обо всем рассказывать жене». Причина банальна – в сущности, отговорка. Так пытались говорить с КГБ многие. Но важны не слова. Важна его решимость.

\*\*\*

*й* никого тогда не предал, не сломал ничьей судьбы. Ему повезло. Но понимает ли он это? Я спрашиваю *й*, выключив магнитофон (чтобы никак не смущать). Попутно рассказываю историю старого писателя Сергея Снегова. Он много лет провел в норильском лагере, во время следствия не согласился ни с одним из обвинений.. Мы часто встречались с Сергеем Александровичем в восьмидесятые годы. Он всегда подчеркивал: «Мне повезло. Меня почти не пытали». *й* соглашается: «Мне повезло тоже...»

\*\*\*

Я отбираю записи, связанные со страхами *й*. Однако понимаю: полностью это намерение выполнить невозможно. Большие периоды жизни *й* прошли только под знаком страха. Вот, к примеру, десять послевоенных лет: борьба с «космополитами», с «убийцами в белых халатах», ожидание репрессий после смерти Сталина...

\*\*\*

20 ноября 91 г. ... Интересно, как он погружается в минувшее. Будто погружается в холодную реку – сразу, резко. Сначала трудно,

а потом привыкаешь к холоду. И вот он живет в том времени. И снова мечется в поисках выхода из тупика.

«... Теперь я уже не помню, как звали эту девочку, нашу домработницу, – помню только: ей было лет девятнадцать-двадцать. Помню также: когда она пришла наниматься на работу, сразу сказал жене: «Ее надо принять». Она была хорошенькой... («Да, да, – не скрывает он от меня, и пленка фиксирует его откровенность, – были и такие варианты тоже, я не мог отказаться от этого...»). Она прожила у нас считанные дни. Ее арестовали ночью, я сам выходил открывать дверь. Потом мы узнали от приятельницы моей жены, рекомендовавшей нам эту домработницу: девушку взяли за то, что сбежала из своей деревни, когда всю ее семью отправляли в Сибирь... Вот моя первая мысль, едва они ушли: а что если бы энкаведист открыл дверцу шкафа – да, шкаф уже стоял здесь, на этом самом месте – если бы он увидел папки с моими записями, с дневником? Страшно! Ведь в дневнике у меня были такие трэфные вещи! Антисоветские, понимаете? Я заносил туда то, что не мог сказать никому. То, что наблюдал в жизни. На сегодняшний взгляд, ничего необычного. Большие очереди. Блат. Партийная бюрократия. Трагические перемены, происходящие в еврейской культуре.

–... Но дух ваших статей в то же время был иным?

– А в дневнике писал правду!

– Вы как-то говорили мне, что и то, и другое было искренним.

– И то, и другое... Свои статьи я оправдывал тем, что они написаны во имя утверждения коммунизма.

\*\*\*

... Так вот, я подумал: дневник хранить опасно. Его надо спрятать или ликвидировать. Спрятать – где? Понимаю: нигде не спрячешь! Если захотят, найдут, все равно найдут. Гаража у меня тогда не было, да это был бы и банальный, легко разгадываемый ход. Может, отдать кому-нибудь? Но никому не мог я довериться. Даже жене. Она чересчур наивна. И к тому же было ощущение: не нужны мне сейчас еврейский язык, еврейские беды. Это уже пройденный этап. Я ведь теперь литовский писатель. Надо ликвидировать следы моего прошлого! Эта мысль приходила ко мне все чаще и чаще. Она показала бесспорной после ареста моего друга, поэта Гирша Ошерови-

ча. Однако как ликвидировать прошлое? Просто выкинуть бумаги в мусорную яму? Кто-нибудь обязательно заметит.

– ... Вы вели дневники в тетрадах?

– В тетрадах. Но не только.

– И много было этих записей?

– Много, много – несколько папок. К тому же выкинуть надо было не одни дневники.

Еврейские книги! Например, сочинения историка Семена Дубнова. Он ведь «буржуазный ученый, националист» – это трэфно. Или Перец Маркиш. Еще недавно считался выдающимся советским поэтом. Но теперь уже арестован – значит, тоже трэфно. Все еврейские книги, изданные за границей, – трэфны. И за все это меня могут арестовать. Да, да, только за хранение. Значит, надо все это ликвидировать – почти всю свою библиотеку или, по крайней мере, большую ее половину.

Как это сделать? Казалось, самое логичное – сжечь. Вот здесь, на этом месте, стояла печь. В других комнатах – еще три, в кухне – большая плита. Топили мы тогда дровами и торфом. Вроде бы, просто: успевай подкладывай в печь книги. Да ведь увидит та же домработница!

Словом, я решаю сжигать бумаги постепенно, ночами, когда все лягут спать. Делать это буду в своем кабинете каждую ночь, в течение нескольких недель. Однако снова препятствие: печами занимается домработница; утром, вытаскивая золу, она обязательно обнаружит следы моих ночных дел. Известно: пепел от сожженной бумаги можно различить сразу.

Что делать? Я нахожу выход. Каждое утро посылаю домработницу в магазин за какими-нибудь покупками, а в это время выношу ведро с пеплом...

Впрочем, главные мои мучения были в другом. Я жег ночами свои рукописи, дневники, книги и – плакал. Рассматривая каждую бумажку, говорил себе: «Это часть твоей души». Держа в руках книги того же Дубнова или гениального Бялика, я вспоминал, что вырос, читая и перечитывая их. Хорошо помню те свои слезы и свой страх. Признаюсь: то были самые черные мои дни и ночи.

Однажды я машинально протянул руку за очередной книгой, чтобы отдать ее пламени, и – вздрогнул. Это была Тора. Книгу пода-

рил мне Ошерович, в сорок шестом или сорок седьмом году. В день моего рождения. На первой странице – его дарственная надпись. Со мной случилась истерика... Хотя нет – я все же контролировал себя, сдерживал рыдания. Боялся: услышат жена или домработница.

Эту книгу я сжечь не мог. Вот она, видите. Не хватает только той, самой первой страницы с дарственной надписью, ее-то я и бросил в огонь. А Тору отнес в другую комнату – засунул в шкаф, где висели вещи жены, – в самый дальний угол...

Все это продолжалось довольно долго. Сколько? Не помню точно. Стояла зима. Сильные морозы. Печи топили часто. И бумажный пепел – от сожженных книг и рукописей – я тогда постоянно видел на снегу. Потом узнал: еврейские книги сжигали многие».

### **ГОЛОСА НА РАЗВАЛИНАХ**

В сущности, *й* стал прощаться с жизнью гораздо раньше, чем это кажется ему сейчас.

\*\*\*

Он приехал в освобожденный от немцев Вильнюс летом сорок четвертого. Среди самых первых. Что врезалось в память? Гетто! Еврейские кварталы старого города превратились в руины. Жизнь оборвалась там внезапно, точно на полуслове – ему все время казалось: руины еще могут заговорить.

*й* отправлялся туда каждый день. Чаще всего – один, но, случалось, – вместе с другими еврейскими интеллигентами. Одни, как и он, вернулись с фронта, другие – из эвакуации или из «партизанки». Кто-то вышел из «малин» (тайных укрытий) – здесь же, в Литве. У каждого из них была своя судьба и своя дорога. Но все они еще верили тогда: после войны возродится еврейская культура.

– Результаты наших «экспедиций»? Старые книги... рукописи... фотографии... обрывки документов, дневников... латы со «звездами Давида», которые во время оккупации должны были носить евреи... Все это валялось на чердаках, в подвалах, просто на земле. Все это вошло в экспозицию созданного вскоре, но уже в сорок девятом году закрытого советской властью еврейского музея в Вильнюсе.

...Однако чаще всего он шел в гетто один. Неведомая сила тяну-

ла его туда. Кругом – развалины. *й* ходил среди них словно пьяный. Садился на камни, балки разрушенных домов. Иногда он говорил с развалинами.

Что он там хотел найти еще? Какие голоса надеялся услышать? Скорее всего – *й* представлял в гетто себя.

\*\*\*

«Такое состояние – да, буквально такое же – я пережил потом только раз. Тогда, когда освободили Калварию.

Я приехал в родной городок на военном грузовике, который остановил по дороге: меня подобрали, потому что я был в форме – еще не демобилизован. Ночевал у знакомых. А днем бродил и бродил по улицам. Шел за город. И опять, как в Вильнюсе, вроде бы, ни о чем не думал. Но уйти, уехать отсюда не мог».

Встречался ли он с теми евреями, которые спаслись, выжили? «Да, да, конечно». Записывал ли их рассказы? «Нет. Ну, что вы! Не мог». А что запомнилось *й* в свидетельствах очевидцев – литовцев, поляков, русских?

– Один мотив, который я слышу и теперь. Все, кого я встречал в Калварии, во всяком случае большинство из них, – ничего не видели... «Я уезжал», «я болел», «как раз в эти дни был очень занят»...

*й* слушал их. Но слышал в это время другие шаги на тех же мостовых – шаги бабушки и матери, отца и сестер.

## ЛИЦО СМЕРТИ

2 января 91 г. Болезнен ли интерес *й* к феномену смерти? По-моему, интерес этот закономерен, если, конечно, думать о жизни и смерти всерьез.

\*\*\*

...Почти никуда не выходя из дома в последние годы, *й* просит меня, когда я возвращаюсь с чьих-либо похорон, рассказывать – в деталях, подробностях: долго ли болел покойный; как встретил смерть; кто и что говорил на кладбище.

Смерть для *й* – лакмусовая бумажка, проявляющая суть жизни. Тут, впрочем, он не оригинален.



\*\*\*

УТРЕННИЙ ЧАЙ. Старая истина: между жизнью и смертью нет никакого противоречия, точнее – это противоречие мнимо.

– Знаете, в чем сложность? – уточняет *й*. – Сегодня я легко принимаю эту истину, она для меня – дважды два равняется четырем. А вот завтра попою чаю, выйду на солнышко и – сразу все забуду. И опять придут иллюзии. И буду обманывать сам себя. (3 сентября 94 г.)

\*\*\*

СИТУАЦИЯ И ВПРЯМЬ ПО ОРУЭЛЛУ! В какой степени ограничена свобода человека, живущего в тоталитарном обществе? Он не смеет распорядиться даже собственными похоронами...

Говорим о смерти Е.Я. Тут-то *й* вымолвит:

– Сколько же передумал я над тем, где лежать мне в могиле! Шли пятидесятые годы. В сущности, выбор отсутствовал. Я знал: похоронами будет распоряжаться специальная комиссия Союза писателей. Как решит, так и сделают. А мне хотелось хотя бы здесь настоять на своем. Вот и написал записку: хочу, мол, чтоб похоронили на родине, в Калварии. В этом уж наверняка «пошли бы навстречу». А потом – другие времена. Не умер. И свою записку я разорвал... (9 ноября 94 г.)

\*\*\*

КАК ЖИВЕТ В ЕГО ПАМЯТИ УБИТЫЙ ИМ ЧЕЛОВЕК? Переписываю с пленки (почти без сокращений) рассказ *й* (28 октября 90 г.):

«Июль сорок третьего... Наступление на Курской дуге. Небо похоже на раскаленное железо. Атака немцев. Я стреляю из автомата и впервые вижу человека, о котором точно могу сказать: я его убил... Тот немец кажется мне огромным, почти великаном. Ведь я лежу в окопе, а он возникает откуда-то сверху, почти с неба...

И вот темнеет. Перестрелка смолкает. По-видимому, атаки до утра не будет.

Походная кухня. Ужин. Очень красивое черное небо. Кажется, я один не могу успокоиться. Все гляжу на бугорок, хорошо заметный из окопа. Бугорок – это он. Убитый мной немец. Понимаю, что я не успокоюсь, пока не вылезу из окопа, пока не проползу под редкими пулями эти десять метров. Пока не увижу снова его лицо.

Сколько прошло времени? Двадцать минут? Полчаса? Час? Я при-

ползаю к нему на четвереньках. Немец уже разлагается – стоит страшная жара. Я проверяю его карманы. Документов нет – их, как всегда во время атаки, забрали товарищи убитого. Однако я нахожу письмо.

Я прочел его утром, едва рассвело. Я ведь понимаю по-немецки. Обратный адрес: Вена. Обычное письмо жены солдата: «Люблю. Ты – мое единственное счастье. Я и дети ждем тебя в отпуск».

Там была и фотография: красивый, рослый, светловолосый парень, молодая, пышущая здоровьем женщина, трое маленьких детишек.

–... Убитый немец был старше вас?

– Скорей – младше. А еще точнее – мы были одногодками.

...Казалось, я загипнотизирован. Каждые пятнадцать-двадцать минут доставал снимок. Всмотривался. «Я убил человека. Я!» Эта мысль преследовала меня постоянно. Как и его лицо. После войны я поставил фотографию на свой письменный стол. Зачем? Чтобы не поддаваться соблазну забыть».

\*\*\*

Эту историю *й* расскажет не только мне (он размышляет о том же в письме к дочери). Но почему *й* промолчал там о другой смерти, которая поразила его на фронте?

Очевидно, сработал внутренний цензор. Ведь в первом случае *й* рассказывал об убийстве немца, в центре второго эпизода – гибель советского солдата.

На моей магнитофонной пленке этот рассказ есть:

«... Там же, на Курской дуге, во время одного из боев, пал наш командир взвода. Я не помню сейчас его фамилию, хотя знал его хорошо. Еще до войны.

В Каунасе, в дни моей молодости, был необычный кинотеатр. Там демонстрировались только советские фильмы. На контроле всегда стоял молодой красивый парень. Меня, как журналиста, он пропускал в кинотеатр без денег и даже усаживал на хорошее место. Ведь я мог написать рецензию! А это привлечет зрителей. Среди фильмов, которые я посмотрел там, помню «Путевку в жизнь». Я был в восторге. Этот фильм повлиял на мое мирозерцание... Но вернусь к паренюку из кинотеатра. Думаю, он был коммунистом-подпольщиком. Словом, я не удивился, когда встретил его в

Шестнадцатой дивизии. Он был младшим лейтенантом, командиром взвода, общим любимцем. В том бою пуля настигла его сразу.

Было десять или одиннадцать часов утра. Вынести своего командира мы никак не могли. И он лежал поперек окопа. И мы все перешагивали через него, когда – бегом – носили боеприпасы...

Как передать эти подробности? Трудно. Мы старались быть осторожными, старались перешагнуть аккуратно. Но... Идет бой. Свистят пули. И вот кто-то забывает про осторожность. Вот уже раздавлена рука нашего командира, потом – нога... Повторяю, мы не могли его унести, не могли и выбросить из окопа. В конце дня тело превратилось в расплющенный блин.

Я смотрел на товарищей: хотел понять их реакцию. Но все они думали только об одном: надо отбить атаку. В конце концов, вообще перестали замечать тело лейтенанта. Что же касается меня, то я делал этот шаг с трудом. Однако ведь делал же! Переступить уже было невозможно – только наступить...

Признаюсь, для меня это была психологическая травма. Такая тяжелая, что последствия ее ощущаю до сих пор. Признаюсь: после этого я не мог стрелять, точнее – стрелял в воздух. Понимал: поступаю скверно, передо мной – враг. Однако не мог иначе. Никак. Не знаю, чем бы это кончилось для меня. Наверное, кончилось бы ужасно. Но двадцатого августа я был ранен, меня вынесли с передовой. На фронт я уже не вернулся».

С тех пор он не носит медали и ордена. Не отмечает 9 мая («Для меня это не праздник»). И еще не любит читать военную прозу. «Я нигде не встречал свою правду о фронте. Может быть, эта правда есть на нескольких страницах Ремарка, Хемингуэя...»

\*\*\*

й, конечно, не зря вспомнил Хемингуэя. Того мучила тема смерти, точнее – насильственной смерти. Он считал: каждому мужчине полезно пережить авиакатастрофу.

\*\*\*

Как связаны со смертью страхи й?

**Окончание – в следующем номере**

**Евсей Цейтлин** — эссеист, прозаик, культуролог, литературовед, критик, редактор. Родился в Омске в 1948 г. Окончил факультет журналистики Уральского университета, Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького. Кандидат филологических наук, доцент. Преподавал в вузах историю русской литературы и культуры.

Автор многих книг, которые издавались в России, США, Литве, Германии, Украине. В 1978 г. был принят в Союз писателей СССР, является членом Союзов писателей Москвы, Литвы, Союза российских писателей, членом международного Пен-клуба («Writers in Exile»). Дважды эмигрировал: в 1990 – в Литву, в 1996 – в США. Произведения Евсея Цейтлина переводились на литовский, немецкий, украинский, польский, английский, испанский языки.

Был главным редактором альманаха «Еврейский музей» (Вильнюс). Редактор ежемесячника «Шалом» (Чикаго, с марта 1997).

**ПОЗДРАВЛЯЕМ!**  
**Евсею Цейлину – 70**



**Портрет юбиляра работы Римантаса Дихавичюса**

Юлиан ФРУМКИН-РЫБАКОВ

---

ПОЭЗИЯ

---

**В неоновом, потустороннем свете...**

Во сне был перст! На Пятой авеню  
Стояли двое нищих. Нью –  
Адам и Ева до грехопаденья.

Каких они нам наломали дров!

На авеню, вместо псалмов,  
Лишь светофоров всемогущие бденья.  
Им исполать и Гарри Birthday to you!

А ведь могли б при Господе, в Раю...  
...ни Божедомки, ни домов призрения...  
...ни Змия им, ни яблочек... Что с них взять,  
Не нюхавших Добра и Зла... Их благодать  
Находится в офсайде поля зренья...

Пришли они нагие, как тогда,  
Чтоб поглазеть, средь блуда и труда,  
На то, что Бог держал от них в секрете,  
На стыд и срам на Пятой авеню,  
На сумасшедший дом, на жизнь свою  
В неоновом потустороннем свете...

**Памяти Галины Старовойтовой**

Пока не кончился июнь,  
И не осыпались сирени,  
И ночи белая латунь  
Тасует блики светотени,

Пока под током провода,  
Пока в эфире трали-вали –  
Стоит высокая вода  
В Екатерининском канале.

Стоит, воды набравши в рот,  
Мой Петербург под крики чаек.  
Спас на Крови сто лет плывёт  
И никуда не уплывает...

\*\*\*

В России сложно с золотым сечением.  
Не по зубам нам это ремесло.

Мы заросли травой забвения.  
И наши мысли судорогой свело.

Суровой ниткой Беломорканала  
Сшит судовой журнал на корабле.  
В нём записи, то лыко, то мочало  
То Гоголь там, то Франсуа Рабле.

Куда спешит народонаселение  
Земли моей под трели **Соловья**?  
Поэт, храним мы гордое терпение,  
Поскольку больше нету ни х-я.  
Горим то от любви, то от измены,  
То на Гороховой, то у Пяти углов  
И входим в удалённые домены,  
Как в лабиринты питерских дворов.

\*\*\*

Гусиная кожа гранита.  
Воды мотыльковая речь.  
По городу время разлито.  
Ах, мне бы уроки извлечь.

Разлито по городу время.  
Поплыли сады и дома  
На Стрелку, на Пряжку. Я с теми,  
Кто сходит с подножки ума.

Гранита гусиная кожа,  
Полоска канала, Фонарь...  
Мне с каждым мгновеньем дороже  
Весь этот скупой инвентарь:

В полуночном сквере скамейки,  
Аптека, узбек за углом...  
Лекарства, подарки, копейки,  
Всё то, что мы жизнью зовём...

\*\*\*

*Отпустите, отпустите! –  
В улетающую стаю.*

**Татьяна Вольтская**

Не улетай. Ещё потопчем землю  
Босыми, загорелыми ногами  
Покуда зелена трава. И, всё своё приемля,  
Сойдёмся помолчать, поставить свечки в Храме  
У Спаса на Крови. А как иначе  
Пройти в игольное ушко России,  
Пройти туда, где Ярославна плачет,  
Где витражи разбитые, пустые,  
Где лес завален стеклотарой битой,  
Где на помойке Короленко, Гоголь.  
Не улетай, покуда ходит Битов

И манит флягой нас, от нас поодаль...  
Не улетай. Сентябрь дожди посеет,  
Опята вырастут на пнях трухлявых.  
Мы будем жить, покуда солнце греет  
Коровок божьих на зелёных травах...  
И бабьим летом, на просёлке,  
Ступнями, загребая горстки пыли,  
Мы, может быть, почувствуем, что с полки  
Мы пирожок с капустой заслужили...

\*\*\*

...был спорой в глубине подзола,  
игрушкой в лапах сквозняка,  
зрел в корень и спрягал глаголы  
в сырой грибнице языка  
    был суффиксами всех суставов,  
    был всей рефлексией бытия,  
    гремел, как сцепками составы  
    от пункта «А» до пункта «Я»  
в деепричастных оборотах –  
ни от чего не отрекусь:  
ни от судьбы, и ни от сквота  
с мистическим названьем – Русь...

**Юлиан Фрумкин-Рыбаков** родился в 1942 году в Краснокамске. Срочную службу в Советской армии проходил на «Первом ядерном полигоне» (остров Новая Земля). Участник испытания 30 октября 1961 года «Царь-бомбы». Ветеран войск особого риска. (Об этом он рассказал в нашем журнале в номере 2 (6) 2018).

По образованию инженер-металлург. 30 лет работал на Ижорском заводе в электросталеплавильном цехе, в мартеновском цехе.

В 1994 году создал издательство «Водолей». Основатель литературного клуба «Невостребованная Россия» (1997). Основатель Общественной организации «Золотая книга Колпино» (1997).

Автор семи книг. Стихи и проза печатались в журналах «Звезда», «Нева», «Дети Ра» и других. Лауреат премий журналов «Зинзивер», «Футурум Арт», «Зарубежные записки». Живет в Колпино.



---

**«ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ...»**

---

***Беседа с Игорем Цесарским, издателем  
и главным редактором медиагруппы «Континент» (Чикаго)***



– Игорь, мы коллеги, работаем в одном медийном поле и потому мне особенно интересно задать несколько вопросов о вашей профессиональной деятельности. Как «дошли до жизни такой», став главой крупнейшей русскоязычной издательской сети в США? Вы отмечены наградой, которой не может похвастать ни один из нас, – Европейской серебряной медалью имени Альберта Швейцера за особые заслуги в области журналистики. Хотя бы

**вкратце: что определило успех в бизнесе, через какие тернии пришлось пройти?**

– Давид, не секрет, что дорога к успеху или же любому, даже незначительному достижению обычно сопряжена с преодолением. Преодолеваешь одно, тут же возникает другое препятствие. Но зато не скучно. Вопреки скепсису знакомых, людей стандартного эмигрантского окружения первых лет, получилось с нуля запустить и наладить издательский бизнес, который сейчас известен тем, кто читает по-русски в Америке, а благодаря Интернету – в самых разных странах. Впрочем, само название медиагруппы – «Континент» – предполагало расширение рамок и выход на «мировые просторы». По-видимому, это обстоятельство было замечено не только читателями, но и теми, кто стоит за наградами, окрыляющими, возможно, лишь в первые пятнадцать минут после их получения. Не открою Америки, повторив за кем-то из предшественников в этой профессии, что лучшей наградой издателю (а одновременно и главному редактору) служит, несомненно, неослабевающий читательский интерес к тем газетам на бумаге и в интернете, которые я выпускаю с 1995 года.

**– Вы – уроженец Ташкента. Расскажите о корнях, семье, о жизни в Узбекистане, о том, что побудило заняться журналистикой.**

– Я родился и большую часть своей жизни до эмиграции провел в Ташкенте. Это во всех отношениях теплый и приветливый город, который в чем-то выгодно отличался от многих других городов почившего в бозе Советского Союза. Отец был медиком, но работал на административных должностях, дослужившись до полковника медицинской службы, мама преподавала в школе русский язык и литературу.

В школе я любил предметы гуманитарные – литературу, русский язык, историю, географию. А с точными науками и с техникой я и по сей день на «вы». Где-то в классе шестом, мой первый в жизни фелетон удостоился похвалы школьного учителя Ивана Николаевича Жадова, поощрявшего не только чтение, но и робкие литературные опыты своих учеников. Позже я какое-то время был юнкором на республиканском радио. Будучи же студентом филологического факультета в ташкентском университете я видел себя в будущем ис-

ключительно писателем. Журналистика тоже присутствовала, но на втором плане. Многие филологи одержимы писательством, однако после учебы оказываются в редакциях газет и других СМИ и, в общем-то, реализуются как авторы, пусть не романов и повестей, но статей и репортажей. Так случилось, что большую часть 80-х я проработал в писательском союзе; но были не очень долгие газетный и издательский периоды – уже накануне отъезда из страны.

**– Эмиграция – тяжелое испытание, как говорится, на разрыв аорты. Особенно для гуманитариев. Кажется, кому нужны в Америке русскоязычные литераторы... Чем зарабатывать на хлеб насущный? Андрей Синявский утверждал, что телу писателя все едино где пребывать. Телу – возможно, а душе? Выживание, вращение в новую социально-культурную среду – как это происходило у вас?**

– Первые годы в эмиграции выдались, как и для многих, очень непростыми. Надо было определяться по ходу движения, чему посвятить вторую половину жизни. Конечно, я успел узнать почему фунт лиха на самых разных «стройках капитализма». Но абсолютно об этом не жалею, так как благодаря самым неприятательным и не требующим особой квалификации работам, я не только по-настоящему узнал страну и людей, в ней живущих, но и утвердился во мнении, что лучшим вариантом будет продолжение того, что делал до отъезда. И это несмотря на известные недостатки такого решения. Все-таки издания на русском языке, как и на любом другом, кроме английского и отчасти испанского, отстают далеко вато от мейнстрима.

Благо, что моя супруга, тоже филолог, поддержала меня и более того, помогала мне, в особенности, в первые годы, когда бизнес только начинался. Сын также не остался в стороне. После окончания одного из чикагских университетов он проходил т.н. обкатку в семейном бизнесе, выйдя через какое-то время на собственные проекты, не связанные уже с этническим рынком. Причем, он признает, что практика в русскоязычных изданиях закалила его как бизнесмена и добавила к теории практических знаний.

**– Иными словами, вы остались верны профессии, избежали соблазна переучиться, допустим, на программиста. Каковы, на ваш взгляд, перспективы выживания бумажных русскоязычных изданий? Их время заканчивается или, перефразируя известное**

### **выражение, слухи об их смерти преждевременны?**

– Со времени открытия первой моей газеты «Русский акцент» прошла целая вечность. Сейчас файл со сверстанным номером выкладывается на типографский сервер и остается только забрать на другой день напечатанный тираж. Фантастика! Превратившаяся технология выглядит разжиганием огня трением. Но не все, что поменялось, можно принимать со знаком плюс. Конечно, никто не отменил профессии журналиста, редактора, корректора, фоторепортера, дизайнера, верстальщика и т.д., но... В эпоху тотального всеохватного интернета мы наблюдаем, как обесценивается то, что ранее отличало любое приличное издание. Так, на русскоязычном рынке само понятие эксклюзивного материала теперь вызывает усмешку у людей, которые понимают, о чем речь. Легким движением руки делается `copy&paste`, и «эксклюзив» начинает прогулку по разным газетам, сайтам, живым журналам, социальным сетям и интернет-рассылкам. Часто без ссылок на первоисточник.

Говоря же о перспективах печатных изданий на русском языке в Америке, то я, как ни странно, вижу у них будущее. В отличие от иммигрантских газет, которые возникали после Октябрьского переворота в прошлом веке, как грибы после дождя, и столь же быстро исчезали, едва прекращалось финансирование со стороны тех, кто мечтал о реставрации Российской Империи, нынешние устроены финансово грамотно. Это обычные городские газеты, которые обслуживают ориентированные на русскоязычную аудиторию малые и реже средние бизнесы, и живут они благодаря продаже рекламы, подписке и т.п. Пока есть читатель/слушатель, для которого получение информации на русском языке комфортно и не противоречит каким-то внутренним установкам, жизнь газет, радиостанций продолжится. Я бы хотел, к примеру, отпраздновать 25-летие своей первой газеты в Америке в 2020-м. А далее – как судьбе будет угодно. А наши интернет-издания с их географией и вовсе бессмертны. Шучу!

### **– Медиагруппа «Континент» и интернет, социальные сети. Какие отношения их связывают?**

– Еженедельные издания медиагруппы базируются по содержанию на материалах, которые публикуются на наших интернет-сайтах, обновляемых нами в ежедневном режиме. В отличие от прошлых лет печатные издания наполняются статьями, которые по-

лучили более высокий рейтинг у интернет-пользователей – на сайтах и в социальных сетях. В 1999 году, когда был открыт наш первый сайт [www.kontinent.org](http://www.kontinent.org), мы выставляли лучшие материалы из газет медиагруппы раз в неделю, после выхода в свет печатных выпусков. Теперь же все с точностью до наоборот. Ну а страницы наших сайтов в социальных сетях, а также интернет-рассылки служат инструментом для расширения читательской аудитории.

– **Нынешняя жизнь турбулентна и чрезвычайно политизирована. Значительная часть «русской» общины, и не только в Чикаго, а по всей стране, поддерживает Трампа, солидарна с республиканцами, негодуя при одном упоминании имен Обамы и Хиллари Клинтон. При этом игнорируются некоторые импульсивные, непредсказуемые действия нынешнего президента, его экономически сомнительные решения (тарифы на канадскую и европейскую сталь, алюминий и др.). Почему, как вам кажется, такое происходит?**

– Мне близка та Америка, которую мы утрачиваем год от года и которую я, возможно, даже по-настоящему не застал. Говорят, что не повернуть реку вспять, что никакому Трампу не удастся похерить завоевания глобалистов, приверженцев леволиберальных идей и вечной, не заглаживаемой никакими подачками вины цивилизованного мира перед жителями стран третьего. Но время покажет, куда кривая выведет. Почему кривая? Потому что прямые пути – только в сказках для легковверных потребителей.

Посмотрите на факты и отбросьте эмоции, и вы увидите, что политика 45-го президента во благо Америки. Его предвыборный лозунг «Make America Great Again» («Вернём Америке былое величие») не остался пустым обещанием. Несмотря на отчаянное, невиданное доселе в американской политической жизни противодействие оппонентов, происходят изменения, которые игнорируют лишь те, кто сознательно слеп. И хоть я и не экономист, но то же решение с пошлинами на ввоз алюминия и стали не ведет к уничтожению рынка, потере расположения союзников и прочему негативу. Существующее положение вещей, когда товары американских производителей ввозятся в страны ЕС или в Китай с такими таможенными пошлинами, что они не могут быть конкурентоспособными, устраивало всех, кто пытается обвинить Трампа в протекци-

онизме. Но было ли это справедливо в отношении американского бизнеса?

**– Каждый день приносит новости, в которые порой отказываешься верить. Не случайно наш президент пустил в оборот коронную фразу о «фэйк-ньюс». В связи с этим, как в ваших изданиях находят отражение весьма холодные, не сказать большего, отношения между США и Россией?**

– Отношения США с Россией находятся хотя и не в центре, но и не на периферии наших общественно-политических изданий. У нас сугубо отрицательное отношение к внешнеполитическому агрессивному курсу российского руководства, к риторике его официальных и полуофициальных лиц, к кликушеству штатных пропагандистов в СМИ. Так, в наших изданиях печатаются известные российские авторы – журналисты, политологи, общественные деятели, которые критически относятся к политике своего руководства. Но мы не ставим себе задачей публиковать материалы исключительно о темных сторонах российской действительности. То, что заслуживает признания и позитивной оценки, тоже находит место и не отклоняется редакцией по причине каких-либо предубеждений.

Недавняя встреча президентов Трампа и Путина в Хельсинки, которая вызвала очередной переполох в американской, да и мировой прессе, не изменила в целом моего положительного отношения к той программе действий, которую осуществляет нынешняя администрация Белого дома. Политических оппонентов, как и некоторых сторонников Трампа, задела его излишне миролюбивые и даже хвалебные месседжи в адрес российского коллеги, в их глазах абсолютно нерукопожатного авторитарного правителя. По форме могу согласиться, но по содержанию нет. Встреча эта была необходима, но не по конспирологическим причинам, о которых трубили с утра до ночи известные своей неприязнью, а часто и ненавистью к Трампу СМИ. Сегодня между нашими странами невозможно потепление отношений и нормальное сотрудничество, так как нынешнее руководство в Кремле не готово к тем действиям, которые могли бы ослабить или вовсе отменить наложенные на нее санкции и вывести страну из разряда полуизгоя. Впрочем, ничто не бывает вечным и откровенно реваншистская политика современной России закончится однажды крахом. Пока же важно не допустить в отношениях

с Россией полного тупика и угрозы вооружённого столкновения. Последнее, как мне кажется, очень хорошо понятно Трампу и его ближайшим помощникам и как-то не очень принимается во внимание критиками внешнеполитического курса администрации президента.

**– На избирательных участках по выборам российского президента собирались толпы желающих проголосовать за Путина. Не знаю, как в Чикаго, а у нас в Нью-Йорке масса людей ждала этого момента. Что происходит в сознании добровольно покинувших родину и приветствующих путинский режим? Массовое помрачение, влияние пропагандистских российских телеканалов, которые в Америке смотрят многие «наши», или еще что-то?**

– Да, и в Чикаго, и в других американских городах были открыты участки для голосования. Когда туда потянулись граждане России, которые временно находятся в нашей стране или обладатели грин-кард, которые не обязательно будут в итоге гражданами Соединенных Штатов, никаких вопросов. Имеют право. Но когда у человека так называемое двойное гражданство, то тут эти вопросы появляются. Ты присягал на верность Америке, но при этом участвуешь в выборах, мягко говоря, не самого дружественного нам государства. Видимо, для этой категории людей – охота пуще неволи. Тянет что-то неодолимо на избирательный участок, хотя никакой продажи дефицитных товаров, как в приснопамятные советские времена, там не предвидится. Делают ли свое дело телеканалы? Конечно! Вангуют на них, как могут, и под маркой борьбы с русофобией кому-то хочется фронды в самом сердце Америки – в Чикаго или же в космополитичном, все повидавшем Нью-Йорке. Видел в марте этого года в интернете ролик. В нем группа граждан у Российского генконсульства в Нью-Йорке, стоя на тротуаре в длинной очереди к урнам для голосования, распевала во весь голос песни военных лет. К чему бы это? Невольно возникает ассоциация с популярным у россиян лозунгом «можем повторить».

Вспоминаю в этой же связи, как несколько лет назад на футбольной встрече сборных США и Мексики по футболу болельщики на трибунах освистывали американский гимн. А игра проходила-то в Лос-Анджелесе.

Все это явления одного ряда, в основе которых лежит внутрен-

нее неприятие Америки. В них откровенный вызов, к которому следует относиться на полном серьезе как к опасному явлению в нашей общественной жизни.

**– Игорь, вы не только издатель, но и прозаик, публицист, переводчик. Расскажите о ваших книгах. Как на все хватает времени?**

– Я прозаик, но в последние годы больше занимался публицистикой. О том, что писал и публиковал еще до эмиграции, говорить сегодня не столь интересно. Те несколько книжек – уже история, а молодые узбекские писатели, повести и рассказы которых я когда-то переводил, давно в статусе народных или, по меньшей мере, маститых авторов у себя на родине. Несколько лет назад я начал серию рассказов и эссе под условным названием «Привал на обочине». Параллельно работаю над повестью с неожиданными для меня персонажами и сюжетными ходами. Впрочем, лучше не рассказывать, а представить. Буду особенно рад сделать это в вашем журнале, если, конечно, она понравится и будет принята к печати. Пожалуй, стоит сказать, что наряду с газетами мы выпустили под нашей маркой немало книг. В основном авторов, которые живут и пишут в Америке, хотя встречались и россияне, и израильяне, и те, кто перебрался в страны ЕС. И сегодня в «редпортфеле» рукописи, которые готовятся к печати. По понедельникам (их давно бы надо отменить!) я веду в прямом эфире «Радиоблог», еженедельное шоу на чикагской радиостанции «Народная волна». Беседую с интересными людьми о разных сторонах текущей общественной жизни, о политиках, о новостях культуры и проч. проч. И времени у меня, действительно, в обрез. Правда, жаловаться на это было бы грешно. Мне нравится изречение Сенеки «Tempus tantum nostrum est» («Только время принадлежит нам»), а уж как им распорядиться, каждый решает сам.

**– Последний вопрос традиционный. Каковы ближайшие планы Игоря Цесарского – издателя и писателя?**

– Я хотел бы продолжать, пока сил достаточно, свой газетный и интернет-бизнес, издавать книги, не забывая и о своих собственных. В общем, идти вперед, как ранее говорилось, в ногу со временем. Так, я вижу очень хорошие перспективы у нашего литературного интернет-альманаха «Новый Континент» ([www.nkontinent.com](http://www.nkontinent.com)). В рамках этого проекта буквально на днях открылся клуб для авто-



ров и читателей, запланированы его печатные выпуски периодичностью раз в квартал. Есть и другие привлекательные идеи, о которых не буду распространяться не из суеверия, а из желания все-таки сохранить интригу.

И знаете, я полагаю, что наряду с такими классными журналами, как ваш, мы сможем привлечь к нашим изданиям талантливых авторов по обе стороны

**– Спасибо за содержательную, откровенную беседу. Желаю всяческих успехов на ниве издательской и писательской.**

*Интервью провел Давид Гай*

P.S. Координаты для контактов с медиагруппой «Континент»:

**Website:** [kontinentmedia.com](http://kontinentmedia.com)

**E-mail:** [info@kontinentmedia.com](mailto:info@kontinentmedia.com)  
[kontinentusa@gmail.com](mailto:kontinentusa@gmail.com)

Анна ГОЛЬДБЕРГ

---

**САМУИЛ КАПЛАН. ПЕРЕБИРАЯ ГОДЫ ПОИМЕННО...**

---

*Художнику – 90!*



Я знакома с творчеством Самуила Каплана уже давно, еще с киевских времен. В далеком 1987 году я была в числе тех почти девяти тысяч изголодавшихся по настоящему еврейскому искусству зрителей, которые в течение двух недель посетили его персональную выставку в Киеве. Это была потрясающая выставка, особенно если учесть, что со своей «неудобной» тематикой он уже больше десяти лет не выставлялся. Мы смогли поговорить несколько минут. В следующий раз мы встретились уже в Нью-Йорке...

Самуил Соломонович Каплан родился 8 июля 1928 гда в Баку, а Киев увидел только в 1937-м. Потом война, эвакуация в Оренбург. В 1945 году возвращение в Киев с четким осознанием своего будущего пути. Поступление в киевскую Республиканскую художественную школу, окончание ее с отличием. И, разумеется, желание поступить учиться в КГХИ (Киевский художественный институт). С первого раза не получилось. Гордому носителю «пятой графы» пришлось на четыре с половиной года «загрянуть под фанфары» в ряды Советской Армии, прихватив с собой карандаши и альбом. Когда в 1957 году, отслужив, с третьей попытки Каплан все-таки стал студентом КГХИ, именно из армейских зарисовок (почти 3000 этюдов) отбирались работы для первой выставки «Солдатские будни». Первокурсник, начинающий художник – а с 1957 года уже полноправный участник художественных выставок разного уровня, включая всесоюзные и международные (в годы учебы в институте работы Каплана экспонировались на международной выставке в Италии). В 1964-м он стал членом Союза художников СССР.

Признанный певец Киева, его улиц, бульваров, парков и переулков, Самуил населял свои неизменно написанные с натуры творения фантастическими персонажами типа булгаковского кота Бегемота, прохожими и просто зеваками, окружавшими художника во время его работы. Пришла известность: расширялась география персональных и групповых выставок живописи и графики – города, республики, страны. Но работы, посвященные еврейской теме, наиболее важной для Самуила, почти не выставлялись. В то время Украина без преувеличения была самой антисемитской республикой Советского Союза. Так что выставка 1987 года была первой «еврейской».

В течение долгих лет Самуил Каплан дружил с семьей великого дирижера Натана Рахлина. Работы художника, напоминающие о киевской квартире Рахлиных, которой, к сожалению, уже нет, находятся вместе с другими уцелевшими реликвиями в доме-музее дирижера в Мисхоре.

...В моей ньюйоркской квартире проходило первое заседание совета Мемориального фонда памяти Натана Рахлина. Рисунки Каплана, изображающие дирижера, его дом и окружение, стали основой персональных выставок художника в крупных еврейских

центрах Нью-Джерси, организованных Мемориальным фондом, которым руководит общественный деятель Юлиан Рапапорт. Набросок-портрет вдохновенно дирижирующего Натана Рахлина, выполненный Самуилом, украшал пригласительный билет на симфонический концерт, посвященный памяти маэстро. Этот концерт был задуман и блистательно воплощен в жизнь 14 мая 2000 года учеником Натана Рахлина Аркадием Лейтушем и его американским оркестром «Manhattan Virtuosi». И разве не удивительно, что два таких Мастера, как Самуил Каплан и Аркадий Лейтуш, родились в один день – 8-го июля (с заметным интервалом в годах). Я, правда, могу скромно добавить, что моя мама тоже родилась в этот день.

С 1991 года, когда началась американская глава биографии Каплана, и по сегодняшний день еврейская тема превалирует в творчестве художника. Хотя он, в основном, пишет с натуры, но жизнь корректирует все. Когда мы с широко известным в нашей общине Борисом Рабинером готовили телевизионную передачу, посвященную трагическому дню 11 сентября 2001-го, Самуил принес в студию удивительную работу: на картине от зданий «Близнецов» остались одни силуэты, и художник (в большинстве картин Каплана автор – одно из действующих лиц) парил между ними, освещая развалины призрачным мерцанием свечей. Феликс Ксидо, жена которого, к нашему общему горю, стала одной из жертв теракта, во время передачи отметил сильнейший эффект присутствия, прозвучавший в картине.

Ко многим работам, начатым еще в Киеве, Самуил Каплан возвращался и в Нью-Йорке. Одна из них «Анна Франк» родилась еще в 1974 году, а стимулом к завершению стала выставка, организованная в Берген-музее и посвященная памяти жертв Холокоста. Самуил рассказывал:

– Тема Холокоста мне невероятно близка. Четыре брата моей мамы стали жертвами. Давид, Шлёма, Арон и Илья. Я храню фотографию того времени, когда никто еще не подозревал об их страшной судьбе. Трое из них погибли в Бабьем Яру, а один – в Риге. У меня есть картина «Мой дядя Давид», написанная по просьбе мамы. «Поищи Давидку» – так ласково напутствовала она, когда я собирался по делам в Ригу. Давид был музыкантом, скрипачом. Я

понимал, что среди 82-х тысяч евреев, загубленных в Риге, невозможно отыскать моего дядю, но когда я зашел в универмаг, чтобы купить подарки маме и сестре, я заглянул в окно третьего этажа и зримо увидел распростертого на брусчатке узкой улочки рижского Старого Города моего дядю Давида. На следующий день я пришел туда с мольбертом. Так родилась картина, которая, несмотря на противодействие, была выставлена на моей первой персональной выставке в 1973 году.

Одно из моих любимых полотен – «Семейный архив», над которым художник работал более двадцати пяти лет. Старинная коляска возле дома, где жила его семья; мама – женщина, выглядывающая из окна; в солдатской форме – отец, который бежал из фашистского лагеря смерти, а из сталинского убежать не смог; на переднем плане автор и его маленькая сестричка. Они и сегодня также трогательно привязаны друг к другу. А позади дома наши родные и близкие, бредущие по дороге скорби в Бабий Яр.

Разброс тем, волнующих Самуила неисчерпаем, но особенно близки ему человеческие лица, окружающие художника на протяжении всей жизни: веселые и грустные, белые или не очень, молодые и старые, но всегда яркие и характерные типажи. Они заполняют картины, смотрят со стен квартиры Самуила. Рыжик на картине «Веснушки» дал начало целой серии Рыжиков. А портреты любимых кошек (особое увлечение художника) успевают пробраться контрабандой на самые престижные выставки.

С января по март 2018 г в Музее истории Киева проходила выставка Самуила Каплана «Дворы и закоулки», посвященная его юбилею. В экспозицию вошли графические и живописные работы. Сняты фильмы, готовятся слайды к новому каталогу, проходят интервью, теле- и радиопередачи.

Заветная мечта ххудожника – организовать персональные выставки в Yeshiva University – Еврейском Университете Нью-Йорка и в ИВО – Институте Восточно-европейского еврейства.

..Как-то у Каплана спросили о творческих планах. Сперва Самуил произносил какие-то значительные философские фразы (это он любит!), а потом сказал, улыбаясь: «Главный план - поскорее прийти домой и съесть спрятанное в холодильнике пирожное. Когда я недавно напомнила художнику об этом эпизоде, он про-

изнес, не задумываясь: «А у меня и сейчас есть пирожное в холодильнике». Как при этом блеснули молодые глаза девяностолетнего жизнелюба!



Дон-Кихот

**Андрей ФРОЛОВ**

---

**ГЕНЕРАЛ СМЕРШ**

---

*Продолжение. Начало в № 3 (7) 2018*

**2. Домой**

И сразу ночь, звёзды, свежий воздух, даже голова закружилась. Как хороша жизнь!..

Наполненный разного рода эмоциями, вновь и вновь переживая и осмысливая произошедшее, я вдруг запнулся о что-то и полетел в канаву. При этом спрятанная под брюки папка выскочила прямо в грязь, да за нею вдогонку ещё и штык-нож из-под ремня. «Твою мать...» – громко выругался я на Берту, старую толстую собаку, прикормленную участливыми охранниками нашего отделения, которая, как свинья, улеглась прямо посреди дороги. «Собаки им, сволочам, дороже людей» – зло подумал я и стал подниматься. Оттёр о галифе папку и нож, водрузил их на место, помассировал ушибленную кисть левой руки, и, вспомнив фразу: «Падение в дебюте – добрый знак», как-то сразу успокоился, поверил в то, что всё будет хорошо и двинул домой. Всё-таки здорово, что каждый день отжимался, подпрыгивая на кистях с хлопками, а то получить перелом в таких обстоятельствах было бы легко.

Как всё-таки сладок воздух свободы, как хорошо жить и дышать... Ведь для какого-то рожна я родился на свет, не врагов же советской власти по гаражам расстреливать? Да и выжил-то чудом. Десятилетним ребёнком искупался в бочке во дворе и уступил очередь нашему соседу, а сам зашёл в дом – и именно в эту бочку шальной снаряд откуда-то и шарахнул. То ли белые с правого берега пальнули, то ли у махновцев по пьянке прицел в сторону увело, только от соседа ничего не осталось. Дом цел, забор цел, ни у кого ни царапинки, от бочки щепки, а от соседа ничего. Совсем ничего. А

мог бы и я так, помойся на минуту дольше, и не надо было бы теперь от расправы бегать.

И чего этот дурак Лёвка в ГПУ полез? Я-то от голода, в тридцать третьем чуть не сдох, весь опух уже, благо, что комсорг нашего харьковского металлургического института Мишка Дворецкий в ГПУ отправил по комсомольской путёвке, а то бы давно уже на кладбище лежал.

Захожу, помню, в здание металлургического факультета, а в дверях Мишаня:

– Андрей, мне тут одно направление на работу в ГПУ дали, просили подобрать хорошего хлопца, пойдёшь?

Я задумался на минуту, покачиваясь от голода, тут же выдал:

– Пойду! – почувствовав прямо на губах вкус тёплого хлеба.

И не ошибся. В ГПУ кормили, как при царе, не хуже, а уж при нашем харьковском голоде начала тридцатых вообще на убой.

Помню, как вскоре поступления в органы случился в местном драмтеатре торжественный вечер в честь годовщины Октября, и мне в буфете аж нехорошо стало, когда среди всего этого смертельно сосущего харьковского голода уловил запах небывалых, невозможных и забытых колбас и сосисок, увидел балыки, икру, торты, шоколад, конфеты и вафли, и как окончательно сразила меня толстая дама, жена нашего высокопоставленного работника, уплетавшая пирожные одно за другим, размазывая крем по губам. Ма-а-ать твою, что ж это делается? Народ от голода на улицах падает, а тут такое. Я даже надкусить ничего не сумел, голова закружилась, я побледнел, меня замутило.

Когда начал поправляться, всё моё возмущение несправедливостью жизненного устройства как рукой сняло – бутерброды с колбасой и мясной борщ с чесночком быстро примирили с действительностью. Начинаешь думать – а может, оно так и надо, ведь постепенно все трудящиеся так заживут, но чтобы это случилось, должен же кто-то быть в авангарде, чтобы охранять народ от дерзкого и коварного врага и его вредительской пропаганды, и этот кто-то не может себе позволить быть истощённым, чтобы не проиграть схватку откормленной на буржуазных харчах банде шпионов и диверсантов. В общем, довольно быстро подвёл я теоретическую базу под свою неожиданную перемену в судьбе, согласившись в который



раз с Карлом Марксом, определившим, что «бытие определяет сознание».

Хорошо было в ГПУ до 1937-го, сытно, работа чистая, интеллигентная, никакого битья, расстрельных вахт, человеческих мозгов на брюках. Работал в экономическом отделе у Годеса в Харькове, народ кругом грамотный, разговоры интересные, как вредительства и саботажа в экономике избежать, чтобы рост производительности труда обеспечить. Встречаешься с агентурой на конспиративных квартирах, узнаёшь настроения, анализируешь, готовишь справки о настроениях в массах, с рассуждениями, цифрами, таблицами, процентами, доказательствами. Допросы занимательны – одни аргументы и факты, если что неясно – думай, сколько хочешь, анализируй, отсылай на экспертизу. А без вещественных доказательств, без свидетелей, без очных ставок ни шагу вперёд. Никаких выбитых зубов. На суде всё должно быть чики-чики.

Да, повезло – это тебе не гайки крутить на вагонноремонтном заводе, где все руки в масле, в саже, в заусенцах. Интеллигентная работа. С арестованными только на «вы», в тюрьме для них и газеты, и библиотека. В сравнении с нынешней тюрьма в начале тридцатых для политических была просто домом отдыха и политпросвещения – литература всякая, никаких уголовников, грубости, унижений. А сколько ума понабрался я от арестованных, одни же интеллигенты попадались, к тому же со взглядами, анархисты или эсеры. Допрашиваешь, а у самого рот до ушей, столько всего тебе интересного человек рассказывает и сама структура его речи какая.

Офицеров деникинских в детстве любил, хоть и знал, что враги трудящихся. А когда соседка Люда посылала меня с записочками к своему ухажёру в контрразведку, то с удовольствием бегал, и там меня принимали вежливо и благосклонно, конфетами угощали и никаких обид. Евреев я тоже полюбил с малолетства, и именно за ум и интеллигентность. Как минимум на треть состояла из евреев анархическая организация, что тётка собирала по ночам у нас в доме. До чего интересными были мне эти ночные сходки... Сколько всего наслушался, какие имена, какие книги обсуждали – один Кропоткин чего стоил. Вот до каких высот поднялась бывшая жена жандарма Мария Мартынова, моя тетушка.

Отдали её за того жандарма в восемнадцать лет, а он бить её на-

чал. Тетушка терпеть не стала. Пришёл раз домой муженек на обед, пока рюмку опрокидывал, она ему кастрюлю с кипящим борщом на голову и надела. Он на пол, орёт, катается, а она за порог с заранее собранными вещами и деньгами и к нам в Екатеринослав, только её и видели. С анархистами познакомилась, с Виктором Белашом, будущим заместителем батьки Махно.

Да, есть что вспомнить... Как-то через несколько дней после водворения Скрыловецкого вызывает меня начальник Тростянецкого горотдела НКВД Кудрин в свой кабинет и просит, чтобы я посидел с арестованным, пока он отлучится. Сел я за стол и вижу протокол допроса начальника артиллерийского училища полковника Н, сидящего передо мной с опущенной головой. Читаю протокол и прихожу в недоумение. Кудриным только что было записано, что этот полковник завербовал старшего оперуполномоченного НКВД Пиотровского в контрреволюционную организацию. С Пиотровским я вместе служил в экономическом отделе харьковского ГПУ под управлением капитана госбезопасности Годеса. Пиотровский был значительно старше меня и пользовался среди нас авторитетом. Сомнений в его преданности советской власти у меня не было. Вернулся Кудрин, я ушёл и принял решение предупредить Пиотровского, что и сделал по телефону. Он мне сказал, что спешно уедет скрыто в Киев и там примет меры к самозащите, такие, чтобы не догадались, что это я его предупредил. С тех пор я о нём ничего не слышал. Вообще-то это было опрометчиво, а если бы он не выдержал пыток и меня б выдал? Всё – вся семья бы пропала. А ведь сколько таких случаев. Но мне повезло.

Иду утром на работу, что за чудо – на лавке перед нашим учреждением сидит Миша Дворецкий, тот самый, который меня в ГПУ направил.

– Миша, ты что тут делаешь? – мы обнялись.

– Андрей, так ты здесь служишь?

– Здесь.

– Ты то мне и нужен.

– Что такое?

– Моего друга детства арестовали, Лёню Кравчинского, а он не может быть врагом народа, он честный человек, преданный делу партии, я за него как за себя ручаюсь, я теперь инструктор райкома

партии и могу отличить врага народа от честного человека –

– Миша, ты в своём уме? Не видишь, что ли, что происходит? Тебе повезло, что на меня попал. Давай руки в ноги и дуй на станцию. Я тебя не видел. Ничем ты своему другу не поможешь, а сам пропадёшь. Я тебя не видел, и ты меня не видел. Понял?

Мишка побледнел, пожал мне руку и пошёл не оглядываясь...

Да, в тридцать седьмом пошли эти кошмары... К примеру, приезжаю в Ахтырку в наше отделение для обмена опытом по борьбе с окопавшимися врагами, а местное отделение НКВД недавно стало передовиком по поимке и разоблачению врагов народа. Нам их постоянно в пример ставили – на такое же количество населения они поймали врагов втрое больше нашего, и все уже дали добровольное признание. Встречают меня местные чекисты:

– Идём, мы покажем тебе наше изобретение – избучитальню по разоблачению врагов народа без всякого над ними насилия, мы их и пальцем не трогаем, сами во всём признаются.

– Что за изба-читальня? – интересуюсь

– А вот заходи, сам увидишь.

Заходим в обыкновенную украинскую хату. Разделена надвое железными прутьями, такими, как в зоопарке клетки с хищниками. В одной половине на кожаных диванах и в креслах сидят люди. Читают книги, газеты, пьют из самовара чай с бутербродами и бубликами. Это сознавшиеся. Максимум, что им грозит – десять лет лагерей, где они будут валить лес на свежем воздухе или работать в шахтах. Их человек пять-шесть. На другой половине дома за решёткой, прижатые друг к другу, как сельди в бочке, стоят несознавшиеся. Стоят давно, некоторые так и спят. Их там несколько десятков человек набилось, голова на голове. Жарко топится печка, но пить им не дают. Каждый час охранник спрашивает:

– Сознавшиеся есть?

И каждый час кто-то отзывается:

– Та я хочу сознаться!

Так я посмотрел на передовые методы в поимке шпионов и диверсантов в глубинке. В Харькове были свои придумки. Сидит арестованный на самом краешке стула, в глаза ему направлен свет от настольной лампы. Его заставляют непрерывно повторять: «Я не фашист, я не фашист» и так тысячи раз. От усталости и бессонных

ночей в камере на пятисотом или тысячном разе подследственный сбивается: «Я фашист».

Эти методы рождали у меня массу вопросов, доказательства вины обвиняемых не казались мне такими уж убедительными.

Главное, почему в таких количествах? Почему планы по поимке шпионов сверху спускают? Это ж не заготовка дров. Откуда они знают, сколько, где и по каким районам и населённым пунктам шпионов? Сами, что ли, заслали, а потом потеряли списки? Почему, если знают, мы должны искать? А теперь и меня подмели. А как с арестованными обращаются? При царе такого не было: я-то знал – моя родная тётка была анархисткой и в терроре участвовала в Екатеринославе, так разве её хоть раз в жандармерии пальцем тронули? Ее судили вместе с Махно и его товарищами в 1910-м году, а до этого держали в Александровской тюрьме.

Моя тётка после революции в ней разочаровалась и навсегда ушла из политики, Вышла замуж за одного из самых больших людей нашего города, дядю Гришу Трусова, главного инженера завода Гандке, человека учёного, интеллигентного и тихого. Теперь она, бывшая анархистка-политкаторжанка, жила типа дворянки с дядей Гришей в шикарном особняке с фонтаном, гипсовыми статуями, с домработницей. Дядя Гриша так и остался главным инженером на том же заводе, теперь, правда, уже Карла Либкнехта. Замужество тётки и смена фамилии помогли мне потом скрыть её как родственницу при поступлении в ГПУ.

### **3. Мы бежим в Харьков**

...Свет в Манином окне, не спит, да и какой там сон у жены арестованного. Стучусь тихонько в окно, шторы шевельнулись, вот её руки и вот она сама, моя любимая жёнушка со своим таким изящным и немного курносый носиком – узнала, открывает окно, я подношу палец к губам. Она всё понимает, я влезаю в окно и оказываюсь в её объятьях. «Я так и знала, что тебя отпустят!» – «Ага, – говорю – прямо так на ночь взяли и отпустили». Маня не поняла, отшатнулась: «Ты, что, сбежал?». – «Ушёл, Манечка, там сплошь шпионская кодла! Хотели, сволочи, из меня немецкого шпиона сделать, чтобы прикрыть свою гнусную диверсионную сущность». Маня обняла

меня, прижалась: «Неужели повсюду враги, когда ж они успели всех завербовать? Андрей, милый, что ж нам делать?»

Я подошёл к спавшей в деревянном корыте Ларе – милая моя девочка мирно посапывала с вытянутыми за голову ручками и не ведая, в какую смертельную ситуацию попал её папка. Не смог удержаться, чтобы не чмокнуть мою чернявенькую малышку. От её кожи шёл пьянящий младенческий запах, слаще которого нет на свете. «Пять минут на сборы и в путь. А то эти упыри хватятся. Едем в Харьков к твоей тётке, а в понедельник с утра жаловаться в НКВД Украины», – сказал я Мане и быстро переоделся в свой штатский, выдавший виды, костюм. Подошёл к зеркалу, остался доволен – типичный сельский интеллигент типа агронома или учителя, закреплённый на подтяжке пистолет не виден, в кармане два удостоверения НКВД, моё и Лёвкино, в пистолете 10 патронов плюс штык-нож и неколебимое чувство собственной правоты. Через два часа поезд на Харьков, но садиться нужно не у нас, могут перехватить, а через две станции и туда можно спуститься на лодке, благо была своя.

Маня взяла Лару, кое-какие вещи, я – вёсла и мы быстро, налегке пошли к реке. В кармане было 78 рублей, всё, что нашлось дома и в Лёвкиных карманах, которые я благоразумно вытряхнул. Конечно, я мог в Харьков и сам уехать, но с женой и ребёнком гораздо меньший шанс показаться подозрительным, да и задержать сложнее, это нам недавно лекцию по основам диверсионной работы в Сумах читали. Да и оставлять их одних беспомощных в Тростянце опасно, хватятся и Маню мою арестуют. Лучше уж вместе выжить или погибнуть.

Замок легко открылся, я толкнул лодку в воду, Маня с Ларой села на корму, я вскочил на ходу и оттолкнулся веслом от берега, мы отчалили. Я налёг на весла, и мы успешно держались середины неширокой реки. Тихая ночная красота покоряла и успокаивала. Арест и близость смерти учили ценить каждое мгновение. Да ведь и все мы, независимо от удачи, живём приговорёнными к смерти, просто кто раньше, кто позже – все там будем. Жизнь – игра со смертельным концом. Глупо не дорожить каждой минутой. Лара захныкала, и Маня стала её кормить, потом перепеленала.

Маня – настоящая подруга боевая. Она неплохо стреляет. Мо-

лоденькая ещё, только двадцать исполнилось, в партию вступила и всей душой верит тому, что идёт от имени советской власти и родного товарища Сталина. И это несмотря на открыто антисоветские заявления её папы-еврея, который в моём присутствии как-то раз назвал советскую власть воровской. Я попросил его никогда так при мне не говорить, и он больше этого не делал.

Ничего, что могло бы идти против её веры, я жене не рассказываю, пусть верит, да и как ей объяснишь, когда сам не понимаешь, что происходит. Тесть мой всю жизнь спину гнул на сколачивании плотов для сплава леса, всю жизнь в страшной еврейской нищете, а новую власть не принял. Хотя эта самая власть его же и всю семью от погрома спасла. А погром в Шполе был ужасный, соседи-украинцы напали на незащитных евреев и хотели всех перебить и ограбить. Троцкий послал бронепоезд для усмирения погромщиков. Исаак бежал с грудной Маней на руках, а сбоку жена Рахиль за ручку с Маниной старшей сестрёнкой Розой. Мужики с матом и хохотом стреляли им в спины, но не попали, а других несколько женщин с детьми, всё так же смеясь, подстрелили. Дряная жизнь была у евреев в царской России, не за что было им её любить, другое дело сейчас... А что сейчас – вдруг подумал я, из огня, да в полымя, бежит Маня сейчас также с Ларой, как её отец бежал с ней самой. Весёлая история, как любит говорить теща.

...Мы увидели на берегу догорающий костёр и услышали разговор: «Я вот, думаю, Надежда, надо нам ребятишек в Москву свозить или в Ленинград, мавзолей показать, Кремль, музеи. А то ведь не видели ничего» – «Ой, Петь, как бы здорово!». Тукнуло в висок: это ведь Петька Крюков с женой отдыхают, так размечтались, что не заметили проплывшую от них метрах в двадцати лодку. Хорошо, что Лара не закричала, а так бы мне, возможно, пришлось Крюковых перебить, чтоб не подняли до времени тревогу. Слава богу, не заметили они нас, не взял я этого греха на душу, а то ведь и Маня была бы в шоке, ну точно б решила, что я какой-нибудь давно заброшенный и замаскировавшийся шпион или диверсант. В общем, кошмар и ужас, в какие тиски угодить можно, спасая себя и семью, а по-другому нельзя – ты их пожалеешь, а они тебя нет, это я хорошо усвоил ещё в гражданскую войну.

У нас в доме скрывался известный большевик, участник борьбы

за власть Советов, первый комиссар народного образования Украины Михаил Арсеничев со своим товарищем. Месяц, пока власть была деникинская, в подвале сидели, а я за ними ухаживал, спускался к ним, разговаривал, хорошие были мужики. Если бы их поймали, то родителям и тетке смерть. Потом Каменку красные отбили. Мы утром с тёткой и отцом проводили Арсеничева с товарищем до переправы, они сели в лодку и поплыли на другой берег. А Каменка опять перешла в руки белых. Арсеничева на берегу на всякий случай арестовали и для установления личности привезли в контрразведку. А там бывший одноклассник Еськов, которому однажды Арсеничев жизнь спас, выдал его.

Повесили Михаила с товарищем в нашем парке на Екатерининском бульваре. А через пару дней Махно взял город, ребят сняли с виселицы и похоронили с почестями. Я ещё с братом батьки на лошади сфотографировался, и это фотография висела в харьковском музее Революции до войны. Вот так жалеть одноклассников или коллег по работе – это был урок на всю жизнь.

...До Житомира мы добрались без приключений, я затопил лодку, и уже глубокой ночью ночи сели в плацкартный вагон до Харькова. Я взял малышку на руки и запрыгнул с ней в вагон, а потом поднял за руку и Маню. Касса была закрыта, и мы купили билет у проводника. Сегодня в воскресенье в полдень мы будем в Харькове, а хватятся наверняка только в понедельник утром. Думал, не засну, а отключился почти сразу и спал безо всяких кошмаров, хотя несколько раз просыпался, прислушивался и нащупывал на боку пистолет. На верхней полке было удобно, я лежал на левом боку, спиной к стенке, рубашка расстёгнута и правая рука готова выхватить пистолет. Но кроме храпа, стука колёс и пару раз милого Ларочкиного голоса, ничего не было слышно, и слава богу.

Утром я ходил с проснувшейся и накормленной Ларочкой, радостно целовал её, показывал через окно поля и луга и говорил о том, как жизнь прекрасна и интересна, а она серьёзно это слушала и иногда морщилась. Народ смотрел умилённо на такого нежного папашу, а Маня в это время мирно спала на моей полке.

Я внимательно осматривал всех входящих в вагон, технологию арестов в поездах я знал не понаслышке. Даже если они уже обо всём

узнали (я в этом сомневался), у них нет времени, им надо понять, в каком я вагоне, то есть пошлют кого-то под видом проводника якобы для проверки билетов. И только после этого по одиночке, не вызывая подозрений, в вагон должна просочиться группа захвата, типа двух весёлых семейных подвыпивших пар или студентов с гитарой, едущих с практики. Я их, скорее всего, легко распознаю, так как был одним из лучших на тренировках по распознаванию «хвостов». Но если сейчас припрутся, так буду стрелять прямо из-под Лары, рукою под ребёнком не видно, да и они замешкаются, увидев младенца. В этой ситуации у них минимум шансов остаться в живых, разве что пистолет переключит.

#### **4. Спаситель Паша**

Но всё обошлось, как я и планировал, дорога прошла без происшествий. Конечно, о том, чтобы ехать до конца, не могло быть и речи, на вокзале могли встречать, и мы спокойно сошли на станции в десяти километрах от бывшей столицы Украины. Мы вышли на дорогу и остановили первый попавшийся грузовик. Я показал водителю удостоверение и приказал: «В город, товарищ!» Тот пытался отнекиваться, что, мол, места в кабине нет, что он с поля едет, что у него путёвка... На это я только спросил: «Вам, может, на Колыму путёвку выписать?», и он тут же стал покладистым. «Давай до рынка!» – скомандовал я, хотя от рынка до дома Маниной тётки было ещё порядочно, но водитель не должен был знать, куда нас везёт.

Адрес Маниной тётки Ханы мы знали. Хана незадолго до того переехала в Харьков из Мелитополя. Муж её умер, а когда-то он вместе с Маниным отцом работал на сплаве леса. Эта была железная явка, фамилия у тётки была другая. Мы ни разу не виделись, лишь однажды приезжала к Маниным родителям из Харькова в Кременчуг дочка Ханы Суламифь, по Маниным словам, очень симпатичная женщина, но тогда я ещё с Маней не был знаком.

Мы с Маней и Ларой для отвода глаз минут пять ходили по рынку, а потом сели в трамвай. Город я хорошо знал. Через десять минут сошли и ещё минут десять кружили проулками, останавливаясь и аккуратно осматриваясь за углами.

Тётка Хана жила на четвёртом этаже довольно зачуханного



дома. Я постучал, открыла пожилая седоволосая женщина небольшого роста с очень юморными, задорными глазами.

– Вы к кому?

– К вам, тётушка, – ответила жена. – Я – Маня, дочка вашего брата Исаака Лишневецкого, а это моя доня и муж Андрей.

– Ага, так вот каков этот красавец, о котором наслышана! Действительно, хорош! Ну, проходите, дети, – и она стала нас обнимать и целовать по очереди, затем повернулась внутрь и крикнула: «Сул-ла, Паша, к нам гости!».

Сулла с Павлом оказались за спиной тётки, и я обомлел. Мало того, что это был мой старинный приятель по Харьковской комсомольской организации Пашка Судоплатов, так с ним была ещё и наша обаятельная гэпеушная инструктор и лектор Эмма Каганова, которая и проводила с нами в Сумах занятия по приёмам агентурной работы за рубежом и уходу от наружного наблюдения, которые я только что использовал на практике. Я похолодел – так вот где они нас ждут!

Маня крикнула Эмме: «Привет, сестричка!», а Паша подскочил ко мне: «Андрей, здорово, брат, ты чё рожу кривишь, не признал, что ли?»

И только тут до меня дошло, что это не засада, а совпадение и притом удачнейшее. Так вот кто муж Эммы! Я слышал от наших, что её муж – гэпеушный начальник в Москве по зарубежной работе. Но я и предположить не мог, что это Пашка. Мы с ним работали в горкоме комсомола в 1928 году, когда я приехал учиться в Харьков на рабфак. Паша был инструктором горкома, а я рабфак-ковским комсоргом, и мы нередко встречались на комсомольских собраниях и вечеринках и симпатизировали друг другу. Паша, среднего роста и очень подвижный, выглядел тогда, да и сейчас, мальчишкой, хотя был на год старше. Мне он всегда очень нравился, так как я замечал за его кажущимся мальчишеством большой ум и твёрдые убеждения. Я тогда и понятия не имел, что он связан с органами, ну, ни с какого бока этот мальчишка-весельчак не был похож на чекиста.

Передав Лару Мане, я обнялся с Пашей, а затем и с Эммой.

– Признайся, Андрей, ты и не знал, что у тебя такие родственники! – весело произнес Пашка.

– Вот вы то, ребята, сейчас мне и нужны, – заявил я сходу, когда вошли в комнату.

Паша посмотрел на меня изучающее и что-то, видимо, поняв по моим глазам, сказал:

– Эмма помоги устроить девочек, а мы с Андреем прогуляемся.

Мы сбежали с Пашей по лестнице, перепрыгивая по три-четыре ступеньки, и вышли в небольшой скверик, а через него на большой пустырь, где вдали мелькали футбольные ворота. Вокруг ничего не было.

Я объяснил Паше мою ситуацию и показал папку с моим делом. «Молодец, красиво сработал, вот только пистолет у тебя торчит». Я машинально поправил пистолет. Паша нахмурился:

– Скрыловецкий – двоюродный брат Рейхмана.

– Ну и хрен с ним, какое это имеет значение?

Рейхман был начальником УНКВД Харьковской области.. «Но Рейхмана забрали в Москву, теперь вместо него Кобзев, – сказал Паша, – и у меня с ним хорошие отношения, хотя и с Рейхманом тоже. Короче, сделаю, что в моих силах, идём, мне надо посоветоваться с Эммой».

Когда мы вошли, Маня, улыбаясь, демонстрировала Лару, как та уже почти начинает ходить, но, увидев нас, вопросительно посмотрела. «Всё будет хорошо», – заверил её Паша и вывел Эмму для разговора в другую комнату. Мы пока общались с тётей Ханой. Она на мой вопрос, как же зовут ее дочь – Сулла-Суламифь или Эмма, ответила со смешинкой в глазах: «Она урожденная Суламифь Соломоновна Кримкер, но теперь зовется Эммой – для конспирации...»

Минут через десять к нам присоединилась Эмма, ни одним мускулом лица не выдавая содержание только что услышанного от Паши, как будто они там обсуждали планы поездки на отдых. Паша оделся, попросил у меня моё дело, подмигнул и вышел. «Он скоро вернётся и всё расскажет», – заверила Эмма.

Тётка нас покормила, и мы уложили Лару спать, сами тоже легли на диван, обнявшись, но заснуть не могли, ждали Пашу. Жена была в положении, как отразятся на ней и будущем ребенке такие переживания... Лучше не думать об этом.

Паша приехал часа через два и с порога дал знать:

– Всё решено ребята, всё будет нормально», затем сел к нам на

диван и сказал: «Андрей, вот приказ – тебя переводят в Скоморохи на ту же должность с первого сентября, до этого отпуск – это идеальное решение. Про Тростянец забудь – ты ко всем этим делам не имел никакого отношения, папку мы сожжём сейчас же, ордер на твой арест аннулирован, судьбы Скрыловецкого и Крюкова не касайся. Ты молодчина, прирождённый разведчик, я буду иметь тебя в виду, но нужно переждать эти смутные времена, сам видишь, что творится, у меня самого никаких гарантий, так что тебе лучше забыть, что мы родственники, ведь и вправду не такие близкие, чтобы к этому всерьёз относиться. Береги жену и дочку. Вот тебе приказ приступить к обязанностям пом. оперуполномоченного в селе Скоморохи с 1-го сентября 1938 года. До этого поезжайте к Маниным или твоим родителям на Днепр, загорайте, купайтесь и ни о чём не думайте, только о ребёнке и о себе. Отпускные завтра получишь в Харьковском УНКВД, просто покажешь в кассе своё удостоверение и они выдадут, на тебя всё оформлено. То есть о возвращении в Тростянец не может быть и речи, тебе ясно? И полный молчок – о происшествии ты ничего не знаешь, никто тебя не арестовывал и не допрашивал.

Я готов был расцеловать Пашу, ведь он, похоже, спас всех нас.

Паша помолчал и добавил:

– Андрей, об одном прошу, не обижайся на советскую власть, это не она, а эти типы виноваты в безобразиях, слишком много карьеристов и всякой сволочи проникло в органы, но партия всё поставит на свои места.

– Конечно, Паша, – сказал я и крепко пожал ему руку.

– Кстати, основное, что мы их поймали на явной лжи – они пытались доказать, то ты якобы выезжал для вербовки в Польшу и Германию, а при проверке оказалось, что ты в это время был в Харькове, а СССР вообще никогда не покидал. Молодец, что выстоял и не подписал эту чушь, а то шансов бы не было. Они, сволочи, всю эту идиотскую клевету уже в протокол вписали и хотели заставить тебя подписать. Не понимаю, как клепать на человека такие глупости! Кобзев не хочет вступать в это дело в такое сложное время, попробует, сказал, спустить на тормозах.

Он достал папку моего допроса, растопил печку и запихал в неё папку по диагонали, иначе не входила. После этого мы с тёткой Ха-

ной и Эммой выпили тёткиной сливовой наливки, а Паша с Маней лишь пригубили за успех, так как Маня была в положении, а Паша не пил спиртного вовсе. Я тоже выпил только пару рюмок, так как, хоть и верил Паше, всё же предпочитал быть настороже – я отвечал за семью. Ведь теоретически Паша всё это мог просто выдумать, чтобы меня успокоить, а на каком-то этапе они могут ворваться и с его помощью меня арестовать. То есть, я держал ухо востро и старался быть готовым ко всяким неожиданностям.

Отпускные я, понятно, получать не пошёл, потому что это могло быть засадой, я доверял Паше, но по опыту знал, что лучше подстраховаться. Поэтому мы не поехали ни к моим, ни к Маниным родителям, как советовал Судоплатов и как мы ему обещали, а двинули прямо из Харькова на Одессу – на всякий случай, чтобы ввести в заблуждение и Пашу (ведь и его могли арестовать и бить)..

В Одессу к тому времени переселилась часть Маниной кременчугской родни и там жила её бабушка Хая Рабинович с тётками Верой и Ньюрой. Найти нас у них было для НКВД уже несколько сложнее, чем у моих или Маниных родителей, а я всегда старался минимизировать риск. Отдыхали мы в Одессе замечательно, почти каждый день купались и загорали, ели фрукты, ходили в театр музыкальной комедии, и даже несколько раз позволили себе потанцевать от души в ресторанах фокстрот, танго и кадрили. Я каждое утро совершал пробежки по парку и пляжам, махал в воздухе кулаками, воображая трёх нападающих на меня сотрудников «органов». Лара начала ходить и обожала купаться, а Маня, несмотря на беременность, чувствовала себя превосходно. А к первому сентября мы, тепло распрощавшись с Маниной родней, отбыли в Скоморохи.

Меня встретили приветливо, там стояла авиационная дивизия под руководством участника войны в Испании Шевченко, на редкость бравого парня, и мы, энкавэдэшники, отвечали за её защиту от шпионажа и диверсий. После замены Ежова на Берия волна репрессий спала. В 1939-м из тюрем было освобождено немало количество лиц, ожидавших приговоров; также на свободу вышла часть осуждённых и отправленных в лагерь. По инициативе нового наркома внутренних дел Берии начали даже возбуждать дела против наших работников, применявших к арестованным меры физи-

ческого воздействия, но потом пришла телеграмма из ЦК с указанием прекратить преследование этих работников НКВД, так как меры физического воздействия были инициированы самим ЦК. И все эти дела были прекращены.

В Скоморохах я узнал, что придушенного мной Скрыловецкого из-под ареста освободили и тут же уволили из органов по состоянию здоровья, а Крюкова арестовали. Вскоре арестовали и его жену, и они навсегда исчезли из Тростянца и моего поля зрения. В Москве арестовали родственника Левки Рейхмана, а, затем, понятно, и Лёвку.

Жизнь текла своим чередом. Воздух в Скоморохах замечательный, фруктов и овощей на рынке завались: арбузы, дыни, огурцы, помидоры, яблоки, сливы, вишни, выращенные на экспорт поросыта, часть из которых отбраковывалась и продавалась на месте – просто благодать после гражданской войны, голода и репрессий. Одно не радовало – международная обстановка. Она опять накалялась, немецкий фашизм поднимал голову. Мы частенько с Маней слушали Гитлера по моему приёмнику, и она легко его переводила, так как немецкий очень близок к идишу. Ничего хорошего речи этого маньяка не обещали. Мюнхенская сделка его явно окрылила, и он просто начал лезть на рожон и уже всю угрожал Польше.

Совершенно очевидно – Гитлер рано или поздно нападёт. Надо достойно встретить. А пока обеспечить безопасность и максимальную секретность нашей авиадивизии, прикрыть её от шпионов и диверсантов. Ни одного шпиона в Скоморохах мы так и не обнаружили, но работа по маскировке и секретности проведена была немалая, да и контру кой-какую из националистов всё-таки удалось поймать. Кроме того, мы курировали и организацию противоздушной обороны.

В феврале 1939-го у нас родился сын Юра, наследник. Крепенький, энергичный, милый и очень весёлый тёмноглазенький мальчик. Я старался проводить с детьми и Маней всё своё свободное время.

*Продолжение – в следующем номере*

Алессандро БАРИККО

---

## СИНДРОМ БУДМАНА

---

*Еще минутку, дорогая, я вот-вот закончу...*

Судья Будман произнёс эту фразу с теплотой в голосе, не отрывая взгляда от стола. Покорно вздохнув, его жена Энн бесшумно вышла из комнаты и вернулась к гостям. Комната вновь погрузилась в безмолвие. Вот уже четырнадцать лет три месяца и одиннадцать дней судья Будман, известный всему графству уважаемый джентльмен, в час ужина самозабвенно предавался страсти развлекать себя разгадкой пасьянса. За все это время у него не было занятия, которое доставляло бы ему большее удовольствие, нежели это. Случалось, что он позволял себе пропустить ужин. Но пасьянс – никогда. Из всех его видов судья предпочёл *Императрицу* и, как позже заметил доктор Бенедикт Бенедикт, именно этот факт можно считать причиной последовавшей трагедии, завершившейся столь печальным финалом. Дело в том, что *Императрица* – не просто сложный пасьянс. Это пасьянс, чудовищный во всех смыслах. Играется он четырьмя колодами, и уже только стартовый расклад на столе представляет собой картину из 73 карт, разложенных в нужной геометрии, что требует уйму времени. И если другие пасьянсы – персональная дуэль игрока со случаем и везеньем, то поединок в *Императрице* несравнимо сложнее, и победа в нем сродни героическому триумфу.

Отчасти этим и объясняется, почему в тот августовский вечер 1945 года судья Будман склонился над письменным столом с вниманием, которое можно назвать исключительным. Лежащие перед его глазами карты сложились в картину, которую каждый компетентный игрок без сомнения посчитал бы многообещающей. Все, казалось, предвещало редчайшее событие: *Императрица* будет разгадана! С вполне объяснимым оптимизмом судья взял из колоды карту и перевернул её. Семёрка трэф! Будь это пятёрка бубен, валет пик или десятка червей, жизнь судьи мирно покатила бы к спокойной старости.

Но это была семёрка трэф – и жизнь немедля поменяла направление, поспешив к трагическому концу. Обводя глазами огромную картину, заполнившую весь стол, судья долго крутил карту в пальцах, но так и не находил ни одного места, куда можно было бы пристроить эту несчастную семёрку трэф. Он скрупулёзно анализировал вариант за вариантом, возвращаясь памятью даже и к предшествующим. Решения не было. И снова, но на этот раз с необычайным коварством, победила *Императрица*.

Судья Будман был известен твёрдыми принципами и моральными качествами высочайшей пробы. Любой суд США мог подтвердить это. Поэтому не должно удивлять, что за четырнадцать лет три месяца и одиннадцать дней судью ни разу не посетило желание передёрнуть в пасьянсе. Как никогда не перестанет изумлять и тот факт, что именно в этот, ничем не отличающийся от всех других вечер, впервые в голове судьи промелькнула мысль об этой заслуживающей всяческого порицания возможности. Передёрнуть в пасьянсе – невеликий грех. Этически и технически это ничего не значащее и несложное по исполнению действие. Однако в моральном кодексе судьи подобное просто не было предусмотрено. Но читателю оно может показаться вполне ожидаемым, как бы явившимся из ниоткуда Божьим замыслом. И то, что должно было случиться, случилось. Судья оторвался от пасьянса, скользнул взглядом по циферблату напольных часов (было шесть с четвертью), убедился, что в комнате кроме него никого нет, и без обязательных в таких случаях ссылок на человеческую слабость, вернул семёрку трэф в колоду, на мгновение задержал дыхание и взял из колоды другую карту. Валет. Валет пик.

Десятью минутами позже судья Будман присоединился к гостям, перемежая сердечные приветствия с вежливыми извинениями за небольшое, но непростительное опоздание. Человек внимательный мог бы распознать в его поведении ту избыточную задушевность, с какой обычно мужья, только что изменившие жёнам, стараются выглядеть искренними и чистосердечными.

Только через несколько дней до судьи Будмана стало доходить, что в тот вечер, и это представлялось явно ненормальным для него, его поведение было далеко от естественного. Толчком послужила

опубликованная в газетах маловразумительная новость о том, что американцы сбросили бомбу огромной мощности на один из японских городов. Понадобилось ещё некоторое время, чтобы судья Будман, собрав воедино недостающие элементы пазла, интуитивно почувствовал в этой новости начало своего конца: японский город был Хиросимой; бомба оказалась атомной; самолёт Б29, сбросивший её, назывался Энола Гай (по имени матери пилота) и, самое главное, бомба взорвалась 6 августа в 8 часов 16 минут по токийскому времени, открыв собой новую эру ужаса, – точно в тот самый миг, когда за тысячи километров от места взрыва судья Будман вернул в колоду семёрку треф и взял из неё валета пик. Для большинства обычных людей случившееся не представляло собой ничего, кроме забавного совпадения. Но судья Будман был человеком необыкновенным и, как мы уже подчёркивали, обладал моральными качествами высшей пробы. Поэтому у него не возникло никаких сомнений: бомба никогда не была бы сброшена, не передёрни он карту в поединке с *Императрицей*. Эта бомба обернулась карой за его гнусный поступок, вина за который лежала лично на нём.

Нелегко ощущать себя человеком, ставшим причиной первой атомной катастрофы. Судью Будмана начала одолевать бессонница, его сознание сделалось каким-то путаным. Последовавший инфаркт и длительный период восстановления ввергли судью в такое глубокое состояние физического и психического упадка, что справиться с ним оказалось не по силам любящим его жене Энн и сыновьям Саймону и Петеру. Несмотря на все их усилия, судья, казалось, потерял интерес к чему бы то ни было. Единственное, что выводило его из амбулии, – это лихорадочное и необъяснимое любопытство ко всему, что касалось бомбы, сброшенной на Хиросиму. Семья, не знавшая его внутренней драмы, потакала ему в этом, не находя разумного объяснения его странному интересу. А пока судья был доверен заботам личного врача, доктора Врайта, лечившего его антидепрессантами. Позднее, когда в поведении судьи наметились явные признаки психического расстройства, стало ясно, что пришло время вмешательства авторитетного психиатра. Судья был доставлен в одну из самых известных клиник штата. Он не противился переезду, попросил только, чтобы в его палате, рядом с кроватью, повесили фотографию, которую он когда-то вырезал из популярного глянце-



вого журнала. Это было цветное фото атомного гриба, снятого во время ядерного испытания на каком-то атолле Тихого океана.

Врача, рукам и опыту которого вверили судью, звали Бенедикт Бенедикт. Его отец, Ауло Бенедикт, пытался заработать деньги, конструируя и изготавливая механические пианолы по собственному патенту, который довёл до совершенства в 1940 году. То есть ровно тогда, когда заказы на механические пианолы резко сократились, сначала в Европе, а затем и во всем мире. Отец был человеком нелёгкой судьбы, и это объясняет то изошрённое ехидство, с каким он 4 августа 1913 года в пыльной конторе адресного стола нарёк сына, выбрав для него самое нелепое из тысяч возможных нелепых имён. За что сын позднее отомстил ему, став психиатром.

Как уже было сказано, в этом качестве доктор Бенедикт Бенедикт пользовал судью Будмана с 1946 по 1951 год. С первого взгляда доктор понял, что перед ним случай, представляющий чрезвычайный научный интерес. Вопреки тому, что думали о судьбе его внуки Дик, Тилл, Полт, Марианна и Луиза Энн Аделаида, он не был сумасшедшим. По крайней мере, в клиническом смысле этого слова. Комплекс вины, который поселился в его мозгу, был порождён не столько событием самим по себе, сколько последовавшей поразительной интерпретацией этого события. То, что перевернуло сознание судьи, было не тривиальное мошенничество в пасьянсе, а убеждение в том, что существует прямая связь, необъяснимая, но объективная, между его поступком и мировой ядерной катастрофой. В этом оригинальном логическом построении доктор Бенедикт Бенедикт увидел нечто, что являлось плодом не предполагаемого своеобразия острого ума пациента, а имело все признаки неосознанной, но вполне распространённой тенденции: верить, что накрытый сетью очевидных причинных обусловленностей человеческий мир регулируется невидимыми связями, которые соединяют попарно жизненные пустяки и глобальные события, частности и общее, незначительное и чрезвычайное. Первопричины подобной веры были в достаточной степени загадочны, а ее клинические следствия настолько пугающи, что доктор Бенедикт Бенедикт решительно утвердился во мнении, что перед ним некий синдром, достойный анализа и глубокого изучения. Тот самый, что по его инициативе и в наши дни известен как синдром Будмана.

Его исследованию доктор Бенедикт посвятил всю жизнь, проявив такое самозабвение и упорство, что в знак признания его заслуг получил кафедру в университете Орегона, завоевал уважение международного научного мира, обрёл приличный счёт в банке, пережил развод, заработал периодические приступы язвы двенадцатиперстной кишки, к счастью, не перешедшие в язву желудка, а в последние годы и странный тик, который то и дело неожиданно сводил мускулы трёх пальцев правой руки, не позволяя сгибаться указательному и мизинцу.

Уже с самого начала (как блестяще описал Йозеф Адельграсс в своей достойной всяческой похвалы книге *«Доктор Бенедикт. Жизнь. Работа»*), доктору Бенедикту Бенедикту пришла в голову идея собрать как можно больше подобных медицинских случаев, чтобы иметь возможность дать наиболее полное описание синдрома. Он ни секунды не сомневался, что судья Будман представляет собой не частный исключительный случай, а вершину огромного клинического айсберга. Но пока судья был единственным, чем располагал доктор Бенедикт. Позарез требовались другие подобные примеры. Поэтому он разослал всем коллегам, с которыми поддерживал профессиональные связи, подготовленные им опросные листы, взяв на себя обязанность тщательно проанализировать полученную информацию. Шесть тетрадей, в которые он заносил результаты своей работы (и которые были достойно процитированы уже упомянутым профессором Адельграссом), свидетельствуют о трудностях, с какими столкнулся доктор Бенедикт уже на начальной стадии.

*1 марта*

*М-р. Барт Мэлон*

*«Вы когда-нибудь замечали забавные совпадения эпизодов вашей личной жизни и значимых исторических событий?»*

*«Моя личная жизнь и есть историческое событие».*

*«Извините?»*

*21 апреля*

*Мисс Аурелия Крофт*

*«Вам никогда не приходило в голову, что некоторые ваши не-*

значительные поступки косвенно обуславливали громкие глобальные катастрофы?»

«Послушай, сокровище, я зарабатываю деньги тем, что трахаюсь. А если тебе хочется поболтать, добавь столтник и говори яснее, что тебе надо, о'кей?»

Но очень скоро начала прибывать и серьёзная информация по существу. Некий кузнец из Огайо признавался, что как только он избивал свою жену, так точно в то же самое время сходил с рельсов поезд «Железнодорожной компании Бартона». К письму прилагались вырезки из газет и фотографии жены со следами побоев. В Стоккарде проживал профессор математики, считавший, что всякий раз, как он занимался онанизмом, на юге Италии происходили более или менее значительные землетрясения. Некий господин, благоразумно пожелавший не сообщать своего имени, покончил с собой, поскольку никак не мог избавиться от убеждения, что именно он стал причиной крушения «Титаника», ибо в тот самый час того же дня, когда корабль столкнулся с айсбергом, он вышел из номера бристольского отеля «Титаник», унося с собой целую кипу гостиничных полотенец. Аптекарь из Эссекса, ведший уединённую жизнь в маленькой ирландской деревушке, как только засорял водостоки, вызывал этим эпидемии в странах Третьего мира. Жена известного французского хирурга видела прямую связь между разрушительными тайфунами на Дальнем Востоке и приготовлением ею жареных баклажанов. Русский пианист прекратил публично исполнять *Балладу оп. 23* Шопена после того, как ему стало ясно, что за этим с ошеломляющей неизбежностью следует смерть какой-нибудь из кинодив.

В течение пары лет доктору Бенедикту удалось собрать коллекцию из 218 случаев проявления синдрома Будмана. В марте 1954 года, прибегнув к небольшой казуистике, он опубликовал в авторитетном научном журнале «Международное Психиатрическое Обозрение» первые результаты своего официального труда по этой проблеме.

Публикация была встречена коллегами довольно прохладно. Тот же профессор Адельграсс в уже цитированной монографии вспоминает, что этот первый и явно предварительный экскурс док-

тора Бенедикта в теорию исследуемого заболевания демонстрирует определённую слабость построенной им системы взглядов на проблему, а также поспешность некоторых выводов. Тем не менее, на основании изученных фактов автору удалось сформулировать два основополагающих принципа, способных объяснить генезис болезни и выбор возможных методов её лечения:

1. Большая часть субъектов, поражённых синдромом Будмана, в меньшей или большей степени была одержима манией порядка. В признании ими прямых связей между их малозначимыми поступками и громкими событиями проявлялась потребность контролировать реальность путём придания гласности существования данной причинной обусловленности; тот факт, что это неизбежно приводило к появлению у них безусловного болезненного чувства вины, рассматривалось ими как своего рода гарантия достоверности процесса. Боль и комплекс вины, порождаемые совершенным поступком и его катастрофическими последствиями, подсознательно оценивались ими как плата за освобождение от страха смутного и неконтролируемого хаоса.

2. В абсолютном большинстве изученных случаев (181 из 218) поступок, ставший причиной заболевания, по сути своей являлся отклонением от нормы, неся в себе некий преступный умысел, или, по крайней мере, так оценивался самим больным. А то, что этот поступок провоцировал публичные и драматические последствия, воспринимался больным в качестве механизма, с помощью которого его вина становилась очевидной и заслуживающей наказания.

Диспропорция между виной и наказанием (столь очевидная, например, в случае с судьёй Будманом) демонстрировала наличие у больных скрытой формы мегаломании или серьёзных экзистенциальных фрустраций. Значительная часть субъектов, поражённых синдромом, верила в существование Бога или даже считала, что сама им является.

Хотя и не до конца проработанные, но уже достаточно чётко сформулированные и доходчивые, эти два принципа в течение всех 50-х и начала 60-х проходили красной нитью через все научные исследования доктора Бенедикта Бенедикта, становясь с течением времени все более углублёнными и аргументированными, что находило отражение во всех его последующих публикациях, принима-

емых научным сообществом с постоянно растущим интересом. Не дожидаясь официального признания, доктор Бенедикт перешёл к экспериментам с различными методами лечения на пациентах, добровольно предложивших себя в качестве подопытных, и это стало самой захватывающей частью его работы. Результаты, достигнутые за короткое время, привели его к убеждению, что он с полным правом может считать себя весьма успешным психиатром. И действительно, его завалили обращениями о помощи из всех уголков мира странные больные, обнаружившие у себя ту или иную степень поражения синдромом Будмана. Доктор лично разбирал почту в поисках наиболее интересных случаев. Так, летом 1961 года среди прочих к нему обратился антиквар из Сиэтла по фамилии Провиданс Провиданс\*. Ведомый детским инстинктом сообщничества, доктор Бенедикт Бенедикт решил заняться им, хотя сам случай показался ему пустяковым. Как мы увидим в дальнейшем, все оказалось совсем не так.

Провидансу только что исполнился 51 год, у него была жена-католичка, на шесть лет моложе его, и двое детей: Артур (карьерный военный) и Энн (учительница физкультуры колледжа в Мейне.\*\*). Счастливая семья. Все предвещало Провидансу Провидансу спокойную старость. Однако, строго придерживаясь фактов, нельзя было не обратить внимания на то, что 12 июля 1960 года антиквар из Сиэтла был замечен преследующим подростка, имени которого даже не знал, до зрительного зала кинотеатра *Звёзды*, где без долгих предисловий поимел свой первый гомосексуальный опыт между рядами деревянных кресел вышеназванного заведения. Это произошло ровно в пять часов вечера. В тот же самый час, более чем в ста пятидесяти метрах от кинотеатра, пуля перебила позвоночник сенатора штата и владельца сети гостиниц Уоллеса Ридде. У Провиданса Провиданса не было никакой причины связывать этот невысказанный для него и достойный сожаления инцидент, происшедший в кинотеатре, с жестоким убийством сенатора. И, действительно, хотя последнее сильнейшим образом потрясло Провиданса, тогда никакой связи между первым и вторым он не увидел.

Совпадение фактов всплыло в его памяти лишь тогда, когда через полтора месяца, 22 августа, шеф местной полиции был найден повешенным под мостом Джефферсона. Его смерть заставила

Провиданса вспомнить о том, что вечером 22 августа он в гараже с необычайным удовольствием завершал своё второе гомосексуальное приключение с 26-летним нью-йоркским страховым агентом. Совпадения так сильно подействовали на Провиданса Провиданса, что он забросил работу, начал избегать друзей и перестал общаться с близкими необъяснимо для них. В течение следующих месяцев втайне от всех он пытался бороться с внезапно возникшей склонностью к гомосексуализму, принуждая себя к жёсткой дисциплине. Но поскольку, как это давно доказано, плоть слаба, он ещё трижды впал в грех, который без сомнения считал отвратительн Расплатой за это послужили последовавшие с обезоруживающей неотвратимостью три смерти: в автомобильной аварии, в которой так до конца и не разобрались, погиб Джефф Косман, адвокат и кандидат в Сенат; жертвой покушения с явным мафиозным следом пал профсоюзный лидер из Сиэтла; с 43-килограммовой наковальней, привязанной к лодыжкам, в водах озера Блэт был выловлен военный советник Президента полковник Куртэн Каллемберг. Провиданс Провиданс с хладнокровием исследователя зафиксировал все три совпадения, успев заметить, что раз от разу несчастье наступало персонажей все более высокого ранга, после чего аптекарь сошёл с ума.

Доктор Бенедикт занялся его лечением в феврале 1962 года. Верный своим принципам, он начал с борьбы против навязчивого страха беспорядка, который, как он выяснил, сопровождал Провиданса с самого детства. Затем пришло время заняться сутью проблемы. Всего за четырнадцать месяцев лечения доктору удалось убедить своего пациента примириться с собственной гомосексуальностью и перестать скрывать её от других. На что семья среагировала с вполне объяснимым смущением и растерянностью. Однако Провиданс вернулся к своей работе и едва ли не целиком восстановил своё психическое равновесие. Для окончательного выздоровления не хватало заключительного, но принципиально важного аккорда: того, что на языке доктора Бенедикта Бенедикта определялось как *установление контроля над шоком*.

*Доктор, Вы хотите сказать, что я должен снова заняться этим с каким-нибудь мерзким типом в периферийном кинотеатре?*

*Этим совсем неплохо заниматься и в сауне.*

Провидансу долгие месяцы удавалось откладывать новое гре-

хопадение. Ядовитое чувство страха змеилось в его душе, блокируя в самый последний момент страстное желание. Но доктор Бенедикт с цинизмом канонического исследователя продолжал подталкивать его к этому. В конце концов страх был подавлен: 22 ноября 1963 года Провиданс Провиданс вышел из туалета городского *Линкольн-Центра* с порозовевшим лицом и торчащей из брюк рубашкой. Было ясно, что он раз и навсегда вернулся к жизни. Это произошло в 12 часов 30 минут. Именно в этот час пуля разнесла вдребезги череп Джона Фитцджеральда Кеннеди, президента Соединённых Штатов Америки.

Вежливо, но твёрдо доктор Бенедикт Бенедикт отказался комментировать необычный эпилог *дела Провиданса*. Как известно, через несколько месяцев после этого события, он, бросив своих пациентов и университетскую кафедру, внезапно вернулся к частной жизни, уединившись в своей летней резиденции в Корфе, где в течение многих лет не спеша работал над книгой, которая, по его намерению, должна была сказать решающее слово по поводу синдрома Будмана. Немногие из тех, кто посещал его в тот период, свидетельствовали о прогрессирующем ухудшении его физического и психического здоровья. Все как один отмечали, что он постоянно пребывал в состоянии глубокой тревоги, приводившей к затяжным депрессиям. В частности, у него появился навязчивый страх письма – его до смерти пугала возможность совершения орфографических ошибок, которым он приписывал дьявольские свойства, способные разрушить его как личность. Он стал физически неспособен написать ни слова: его приводила в ужас пишущая машинка и трясло при виде карандаша или ручки. Поэтому он был вынужден прибегнуть к помощи стенографистки, которая писала под его диктовку. Этому частному обстоятельству профессор Адельграсс посвятил целую главу своей монографии. Предпоследнюю.

В связи с этим его состоянием пошли слухи, вроде бы подтверждаемые некоторыми свидетельствами, что доктор Бенедикт и сам не избежал воздействия синдрома Будмана. В обоснование приводился тот факт, что доктор прекратил писать что бы то ни было ровно с того самого дня, когда сделал некую пустяшную грамматическую ошибку в тексте, а в Лондоне опрокинулся автобус, в

результате чего погибло шесть человек. Однако в книге профессора Годдарка, вышедшей два года назад в Англии, эти слухи были категорически опровергнуты. Правда, развернувшаяся вскоре полемика отозвалась достаточно громким эхом в научной среде, поэтому будет полезным упомянуть о ней на этих страницах. Дело в том, что книга, над которой доктор Бенедикт работал в последние годы, дошла до нас в виде 630 папок машинописного текста без каких бы то ни было пояснительных комментариев. Как почти единодушно было замечено исследователями, речь шла о тексте, явно неполном, и уж точно не завершённом. Те немногие абзацы, в которых вроде бы проглядывала строгая логика, на деле оказались малозначимыми и фантазийными. Основная же часть текста была напрочь лишена какого-либо смысла.

Несмотря на все это, синдром Будмана был официально признан научным сообществом и теперь упоминается во всех фундаментальных трудах по истории психиатрии. Подвергнутое частичной и второстепенной ревизии, теоретическое наследие доктора Бенедикта и сегодня представляет собой наилучшее пособие для изучения и лечения этого синдрома. Многие последователи доктора Бенедикта, сформировавшиеся на его теории и методах, активно трудятся во всех уголках мира, достигая результатов, внушающих доверие. Четыре года назад в Копенгагене была учреждена Премия Бенедикта Бенедикта, ею награждают за наиболее значительные лечебные практики. Забавный факт: именно в этом году она была присвоена доктору Гремми, внуку судьи Будмана по материнской линии.

Что до доктора Бенедикта Бенедикта, то он покончил с собой, приняв крысиный яд. Это произошло 26 апреля 1986 года, и было немало тех, кто отметил необычайное совпадение его смерти с катастрофой на советской атомной станции в городке Чернобыль. Прежде чем лишиться себя жизни, доктор Бенедикт на собственной руке с педантичной медлительностью, которую нетрудно представить по почти детской аккуратности букв, написал короткую записку. Мы впервые приводим здесь её полный текст:

*Ключ от гаража во втором правом ящике кухонного стола. Передайте мой привет миссис Поддер и поблагодарите её за гардению. Мой телефонный номер 4423-8781. Моё имя – Бенедикт. Раз-два-*



*три-четыре-пять, вышел зайчик погулять. А вы все идите в задницу. В задницу, в задницу, в задницу. Жизнь – бардак. Умирать не намного труднее, чем выпить стакан воды.*

**Перевод с итальянского  
Валерия Николаева**

**Алессандро Барикко** (род. 1958) – известный итальянский писатель, сегодня один из интереснейших романистов Европы. Его изысканные книги, напоминающие одновременно и притчи, и триллеры, и поэмы в прозе, уже переведены на десятки языков и положены в основу спектаклей и фильмов. Музыка, философия, архитектура, живопись, история, литература – вот откуда он черпает бесконечные сюжеты для своих произведений, вот где рождаются его герои: гении и чудачки, фантазеры и сумасбродные изобретатели.

**Валерий Николаев** (род. 1942) – российский переводчик прозы и драматургии с итальянского языка. Окончил истфак МГУ, получив специальность историка-международника. Сотрудничает с издательствами «АСТ», «Радуга», «Прогресс», «Махаон», «Иностранка», «Россмэн», «Рипол-Классик», «Текст», ИГ «Азбука-Аттикус» и другими, а также с журналами «Новый мир», «Иностранная литература», «Дружба народов», «Современная драматургия» и другими. Член Союза писателей Москвы и русского ПЕН-клуба.

*Александр МАТЛИН*

---

## ДВА РАССКАЗА

---

### **ВОЙТИ В РЕКУ ВРЕМЕНИ**

Странные шутки, господа, преподносит нам старость. По какой-то мистической причине, чем старше мы становимся, тем чаще воспоминания уносят нас в далёкую, давно исчезнувшую молодость. Мы начинаем с умилением вспоминать те события и тех людей, которые всю предыдущую жизнь нас совершенно не интересовали. И чем дальше, тем ярче и сочнее становятся эти бессмысленные воспоминания. До тех пор, когда память замирает, утасует и уже не хранит более не только событий прошедшей жизни, но и собственного имени. Похоже, что Всевышний напоследок одаряет наш мозг радостью перед тем, как его убить. Как последнее сладкое угощение перед казнью.

Не так давно, без всякой на то причины, вдруг явилась мне в воспоминаниях любовь моей ранней молодости, девушка по имени Фаня. Было нам тогда по семнадцать лет, и любовь, как положено, бушевала с необузданной страстью, с клятвами, слезами, учащенным сердцебиением и многочасовыми выяснениями отношений. В общем – любовь – как любовь, ничего оригинального. А может, и страсти никакой не было, а была просто незрелая, бурлящая гормонами юность. Роман этот кончился довольно быстро, как только на горизонте появилась новая мишень страсти. И с тех пор я никогда не видел Фаню и ничего про неё не знал.

Но вот сейчас Фаня мелькнула у меня в воспоминаниях и тут же исчезла. И я бы не стал об этом говорить, если бы вскоре не случилось удивительное и настолько маловероятное событие, что его можно приравнять к чуду.

Заключалось оно в том, что мой друг детства Боб прислал мне имейл. На самом деле он, конечно, не Боб, а просто Боря Шапиро.

Друг не только детства, но и юности, того самого времени, когда у меня был роман с Фаней, а у него – с её подругой, и нашей самой большой радостью было танцевать танго и фокстрот под патефон у кого-нибудь дома, если, по счастью, родители уходили в театр. Так вот, Боб, копаясь от старческого любопытства в интернете, находит и присылает мне нечто такое, от чего у меня перехватывает дыхание. Это нечто есть выдержка из московской телефонной книги,



всего одна строчка, в которой обозначены фамилия, имя и отчество моей бывшей подруги Фани. Там же с хамской бестактностью указана дата её рождения, которую я помню, и прилагаются её адрес и номер телефона. Не иначе, как моё случайно вспыхнувшее воспоминание о Фане породило этот космический феномен.

Судите сами. Какова вероятность того, что Фаня живёт на этом свете? Маленькая. До нашего возраста доживают немногие, особенно в России. Впрочем, какова вероятность того, что она живёт в России? Ещё меньше. Фаня еврейка, а большинство евреев покинули свою тошнотворную родину и переселились кто куда мог. И, наконец, какова вероятность того, что Фаня, добравшись до восьмидесяти с хорошим довеском, не только живёт на свете, и не только живёт в России, но ещё и носит свою девичью фамилию, под которой она делила со мной отроческую любовь? Тут уж эта искомая

вероятность настолько приближается к нулю, что её даже противно принимать всерьёз.

И вот, представьте, я узнаю, что Фаня жива и живёт в Москве под своей девственной фамилией, и меня парализует шок. Что бы вы сделали на моём месте, дорогой читатель? Ну, хорошо, наверно, приняли бы валиум или что-нибудь такое же успокаивающее, а что дальше?



А дальше вот что: у меня появляется зудящее желание позвонить Фане. Конечно, я подсознательно понимаю, что на самом деле я хочу позвонить не ей, а в свою далёкую, полузабытую юность. Несколько дней я пытаюсь сочинить первую фразу и, наконец, так и не придумав ничего сногшибательного, набираю московский номер телефона.

– Слушаю – отвечает низкий старушечий голос, и меня охватывает озноб.

– Фаина Моисеевна? – говорю я сдавленным голосом.

– Ну да, это я, а что? – в её голосе звучит недовольство.

– Вы знаете, кто с вами говорит?

– Интересно, откуда я могу это знать? Я что, по-вашему, должна знать все голоса в Москве? Вот, прямо, народ какой пошёл. Сами звонят и сами ещё спрашивают, кто звонит. Если скажете, кто зво-

нит, тогда я, может, буду знать, кто звонит. А так – откуда я могу знать, кто звонит?

Дождавшись окончания монолога, я говорю:

– Фаина Моисеевна, это ваш старый знакомый. Пожалуйста, не удивляйтесь и не вешайте трубку.

Я называю себя по имени-фамилии и делаю паузу.

– Фаня, ты меня помнишь?

– А чего, конечно, помню – говорит Фаня, не проявляя эмоций.

– Как не помнить. Ты моя первая любовь. Как сейчас помню, мы встречались на Гоголевском бульваре. Ты носил серое пальто, перелицованное из какой-то старой шинели. А у меня была меховая шапочка с красным бантиком, которая тебе очень нравилась. А ты чего звонишь? Может, хочешь зайти?

– Фаня, – говорю я, – мы с тобой не виделись и ничего не знали друг о друге больше шестидесяти лет. Расскажи мне, как ты прожила жизнь.

– А чего рассказывать? Как жила, так и живу. Квартира есть. Пенсия есть. Внуков нет, и не надо. На кой они нужны, только кормить их и убирать за ними. Где ты взял мой телефон?

– Твой телефон нашёл наш общий друг Боб Шапиро. Помнишь Боба? Он жив, здоров, живёт в Израиле, у него двое детей и четыре внука. Мы с ним часто говорим по Скайпу. В прошлом году мы с женой были у него в Израиле.

– Конечно, помню – говорит Фаня. – Сволочь он, твой Боб. Можешь не передавать ему привет. Он всегда лез ко мне под юбку, когда ты не видел.

– Подумать только! – удивляюсь я. – Что он там потерял?

– Откуда я знаю? Это ты у него спроси. Да он уж и сам, небось, теперь не помнит, зачем лез. А ещё у вас был третий друг, Толя, кажется. Или Гена.

– Правильно. Его звали Лёва. Он умер пять лет назад.

– Тоже сволочь порядочная – говорит Фаня.

– Что, тоже под юбку лез?

– Конечно. Куда ему ещё лазить?

– Странно. А где был я в то время, когда они к тебе под юбку лазили?

– А ты выходил в коридор позвонить свой маме и сказать,

что придёшь домой поздно, так как у тебя много уроков задано на завтра.

– Фаня, неужели ты помнишь мою маму?

– Ну, вот ещё. Нет, конечно. Я и свою-то маму с трудом вспоминаю. Сволочь она была. Меня к тебе на свидание после восьми вечера не пускала. А сама, как только отец уедет в командировку, так хвост трубой и бегаёт до ночи чёрт знает где. Но это даже неплохо было: тогда ко мне приходил ты со своими дружками, и мы устраивали танцы. Моя любимая пластинка была «Я помню лунную рапсодию». Помнишь?

– Конечно. Лещенко пел. Или Вадим Козин.

– Я помню лунную рапсо-о-о-дию – пар-рам-пам-пам – и соловьиную мело-о-о-дию, – запела Фаня фальшиво, но с придыханием. Дальше она, к счастью, не помнила слов.

– Фаня, – говорю я. – у тебя, кажется, был брат. Он жив?

– Он сволочь, – мрачно говорит Фаня.

– Почему?

– Потому что сволочь. А ещё брат называется.

– Понятно. Ты замужем?

– Была когда-то. Но это был неудачный брак. Мой муж оказался большая сволочь. О семье не заботился, а только и думал, как бы кого на стороне трахнуть. Лучше бы я за тебя вышла. Хотя ты тоже, небось, хорош...

– Почему ты так думаешь? – обижаюсь я.

– Что ж я, не знаю, что ли? Все вы одинаковые. Ну ладно. Расскажи о себе что-нибудь.

– Окей, – говорю я с готовностью. – Я женат уже шестьдесят лет. У нас две взрослые дочери и три...

– У меня тоже взрослая дочь, – говорит Фаня. – Сволочь она.

Как? И дочь тоже сволочь?

– Конечно. А кто же она ещё? Мать сидит одна в своей конуре, сама должна убираться, таскать продукты из магазина, по врачам ездить, а она даже не побеспокоится хотя бы позвонить и узнать, жива ли мать. Ну, не сволочь ли?

– Фаня, – говорю я с максимально возможной деликатностью, – у тебя что, все сволочи?

– Конечно, – соглашается Фаня. – И ты тоже сволочь. Звонишь

раз в шестьдесят лет. Я уж о себе не говорю, я знаю, что тебе на меня наплевать. Но хоть бы раз поинтересовался, как поживает твоя дочь.

– О чём ты говоришь, Фаня?

– Сам знаешь, о чём. От кого, ты думаешь, у меня дочка? От тебя.

У меня спина покрывается ледяным потом. На несколько секунд я перестаю соображать. Наконец, я беру себя в руки и говорю, стараясь не выдавать шока:

– Фаня, ты что-то путаешь. Как твоя дочка может быть от меня? У нас с тобой даже секса не была.

– Был, конечно. Ты, наверно, забыл.

– Я ничего не забыл. Не было никакого секса. Ты всё время говорила: вот поженимся, тогда...

– Был, был секс, – убеждённо сказала Фаня. Ты просто не заметил.

– Подожди. В каком году родилась твоя дочь?

– Ну, в шестьдесят втором. Какое это имеет значение?

Я вздыхаю с облегчением.

– Такое, что мы с тобой последний раз виделись в пятьдесят седьмом году. На Гоголевском бульваре. Я тебе сообщил, что женился. Даже паспорт показал. И ты поносила меня последними словами. А потом расплакалась, и мы расстались. И больше никогда не виделись. Ты помнишь это?

– Да, припоминаю, было что-то такое – говорит Фаня задумавшись. – Когда, ты говоришь, это было? В пятьдесят седьмом? Ну, значит, дочка не от тебя. Это я немного перепутала. Но ты всё равно сволочь. Нет того, чтобы зайти, поинтересоваться, как я живу, принести чего-нибудь полезного для здоровья.

– Фаня, как я могу зайти? Я же в Америке.

– Где, где?

– В Америке, Фаня. В Соединённых Штатах. За океаном.

– Ты что, всерьёз? Что ты делаешь в Америке?

– Живу. Я уехал из Советского Союза больше сорока лет назад. Вот с тех пор и живу в Америке, в штате Нью-Джерси.

– Ты с ума сошёл! – говорит Фаня. В её голосе звучит тревога пополам с неверием. – Как ты можешь там жить? Там же преступ-

ность на каждом шагу! Я слышала, ваше пресловутое ЦРУ там бесчинствует, шпионит за всеми с утра до вечера! Кроме того, вы всё время хотите уничтожить нашу страну!

– Ну что ты, Фаня! Зачем нам её уничтожать?

– Известно зачем. От зависти. Вам завидно, как мы живём: свободно, радостно. Продуктов в магазинах полно. Отдыхаем, где хотим: хотим – в Турции, хотим – на Кипре. Теперь даже в Крыму можем отдыхать.

Я начинаю лихорадочно соображать, как бы поскорее закончить этот разговор. На выручку приходит сама Фаня.

– Так ты что, из Америки звонишь? Это же дорого, небось?

– Да, Фаня, страшно дорого. Я даже заём в банке взял, чтобы тебе позвонить. Не знаю, как теперь расплачусь.

– Тогда заканчиваем, – великодушно говорит Фаня. – Ну, ты давай, держись там. И звони, не пропадай.

– Хорошо, Фаня. Ты тоже держись. Будь здорова. Я обязательно позвоню, – говорю я и про себя уточняю:

– Обязательно позвоню через шестьдесят лет.

Я кладу трубку, и мне на ум приходит старая банальная мудрость: нельзя войти два раза в одну и ту же реку. И я понимаю, что это неправда. На самом деле можно войти.

Только нужно ли?

### **МОСКВА, 1949**

– Ты кого больше любишь, Ленина или Сталина? – спросил Витька.

– Я-то? Я – Ленина. А ты кого?

– А я – Сталина. Сталин нам всё даёт. Комнату дал. Отцу зарплату даёт, чтоб нам продукты покупать. Почти каждую неделю что-нибудь в магазины выбрасывает, то муку, то сахар, то мыло. В общем, всё даёт.

– А Ленин что-ли не даёт?

– Ленин умер, – сказал Витька.

– А вот и нет, – возразил Славка. – Он не умер. Это все так думают. А на самом деле он живой. Даже в «Правде» пишут, что Ленин жив. А мне вообще говорили, будто он там, в мавзолее, нарочно ле-

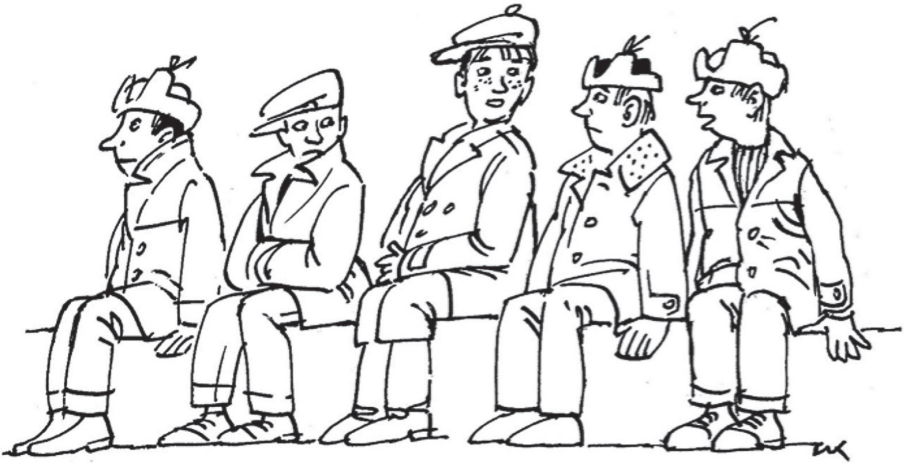


жит. Он просто спит днём. А ночью встаёт и ходит, проверяет, чтоб у нас был порядок.

– Иди ты! Свистишь, небось.

– Сука буду, – сказал Славка. – Своими ушами слышал.

Все замолчали. Каждый из нас тоже хотел сказать что-нибудь такое важное, но не мог придумать. На дворе стояла глубокая декабрьская зима. Лужи замёрзли. Небо было тёмно-серым и безжа-



лостно холодным. Вовка Колягин по кличке Коляга сёрпал носом, время от времени сморкаясь на асфальт. Двор был пуст, если не считать нашей компании, примостившейся на крыльце одного из подъездов.

На втором этаже открылось окно, и женщина визгливо закричала:

– Лёнька, паразит, иди сейчас же обедать, сколько тебя звать!

Лёнька Леваков, щуплый, прыщавый малец вздрогнул, шёпотом выматерился и закричал в ответ:

– Ща приду, чего орёшь!

– Да ладно уж, иди – сказал Вовка Коляга. – Тебя мамочка ждёт..

Коляга был самый старший из нас, ему уже исполнилось тринадцать. Колягу слушались, безоговорочно признавая его превосходство.

– Вали, вали, чего сидишь – повторил он. – Тебе там мамочка, небось, курочку приготовила.

Слово «курочку» он произнёс нарочито картаво, звучало как «ку-хочку». Все засмеялись. Когда Коляга острил, полагалось смеяться.

– А чё ты дразнишься? – обиделся Лёнька. – Если хочешь знать, я не еврей. У меня фамилия на *ов* кончается.

– Это они так скрываются – пояснил Коляга. – Придумывают себе разные фамилии, чтоб на *ов* кончались. А твой отец, небось, на самом деле не Леваков, а Левакович. Или какой-нибудь Левансон.



– Сам ты еврей – сказал Лёнька, поднимаясь со ступеньки.

Коляга не обиделся. Он сплюнул и снисходительно парировал:

– Я-то русский. Я, между прочим, в Ленинграде родился.

От радости у меня заколотилось сердце.

– Я тоже! Я тоже! – закричал я.

– Ты тоже чего? – с подозрением спросил Славка.

– Я тоже в Ленинграде родился!

– А ты, еврейчик, молчи, – посоветовал Коляга. Твоё дело номер восемь, когда надо, тогда и спросим.

Как положено, все громко рассмеялись, а Витька даже похлопал Колягу по плечу, демонстрируя свою близость к властелину.

Когда Лёнька ушёл, Коляга посмотрел ему вслед и сказал вполголоса:

– Видели его сеструху? Во девка! Совсем как взрослая стала: наряжается, губы подкрашивает.

– Говорят, у неё уже кровь течёт, – сказал Витька тоном зна-тока.

– Откуда течёт? – поинтересовался Славка.

– Дурак ты, Славка, – заметил Коляга. – Откуда, откуда. Оттуда! Понял?

Я обрадовался и закричал:

– А я знаю! Я знаю! Из носа! У меня тоже кровь из носа течёт,



если я сильно сморкаюсь.

Коляга повернулся и посмотрел на меня свинцовым взглядом.

– Ты, абрамчик, молчи – сказал он. – А то напросишься. Много ты знаешь.

Снова наступило молчание. Никто не хотел дальше развивать эту тему, опасаясь выдать свою некомпетентность. Наконец, Коляга сказал:

– Слышали? Соколова из третьего подъезда два дня назад ночью взяли.

– Это какой Соколов? Профессор, что ли?

– Тот самый. Соколов Николай Иваныч. С портфелем ходит.

– А за что взяли?

– За жопу взяли.

– Нет, правда, – сказал Славка, когда все отсмеялись. – Не знаешь, за что?

– Взяли, значит так и надо, – разъярил Коляга. – Он Сталина ругал.

– Иди ты! В натуре? А ты почём знаешь?

– Говорю, значит знаю. Сам слышал.

– Свистишь!



– Я не свистю. Соколов-профессор шёл домой с работы, а у его подъезда дворник Федотыч снег чистил. Соколов остановился и говорит: ты, говорит, Федотыч, хорошо работаешь. Тебе, говорит, когда семьдесят лет исполнится, тоже надо музей подарков открыть.

– Ну и что?

– Как что? Не понимаешь, что ли? Он же самого Сталина с каким-то дворником равняет!

Все испуганно посмотрели друг на друга, а потом снова на Колягу. Витька почесал затылок и сказал:

– А как они узнали?

– Кто они?

– Ну, эти, кто Соколова забрал. Энкэвэдэ или милиция, что ли. Это им Федотыч сказал?

– Не-е. Федотыча самого тоже на другой день взяли. Кроме того, он вообще глухой. Он даже и не слышал, что ему Соколов про музей подарков говорил. Кроме меня это вообще никто не слышал. Понятно?

– Так это ты, что ли, сказал, Коляга?

– Ну. Только вы никому не говорите. Я Сергей-Михалычу, соседу Соколова смеха ради всё рассказал. Он поначалу засмеялся. А потом вроде бы испугался. И сказал, что это самая, что ни на есть, контрреволюция. Ты, говорит, Володя, молодец, что мне всё рассказал. Мы должны проявлять бдительность. Я, говорит, приму меры.

– Во, бля! – с уважением сказал Витька. – Ты, значит, Коляга, прямо герой.

– Ну да, вроде бы герой. Но вы всё равно никому не рассказывайте.

Начинало смеркаться, налетел пронизывающий зимний ветер. Все ёжились от холода, но расходиться не хотелось. Славка сказал:

– А я слышал, евреи хотели взорвать завод имени Сталина. Хорошо, товарищ Ворошилов вовремя заметил.

– Зачем?

– Что зачем?

– Ну, зачем им надо было взрывать завод?

– Зачем, зачем. Затем. Они такие. Мне папка сказал, что они все какие-то космополиты безродные. Или вроде того.

– Слышь, Коляга, а что ему теперь будет? – спросил Славка.

– Кому, Соколову-то? А фиг его знает. Наверно, посадят. А может, просто расстреляют. Я считаю, что надо расстрелять.

– Я тоже – сказал Витька. – Я считаю, что тех, кто не любит Сталина, надо расстреливать.

– Я тоже – сказал Славка. – Кто не любит Сталина, надо расстреливать.

Я обрадовался и закричал:

– Я тоже! Я тоже! Всех кто не любит Сталина, надо расстрелять! Коляга покосился на меня, но на этот раз ничего не сказал. Это наполнило гордостью моё детское сердце. Мы разошлись по домам.

*Рисунки Вальдемара Крюгера*

*Александр Матлин – инженер-строитель, специалист по морским сооружениям и портам. В этом качестве проработал более 30 лет в Америке, а до того ещё 15 лет в Москве, откуда уехал в 1974-м году.*

*Помимо инженерства, в СССР он занимался тем, что писал рассказы и фельетоны и печатал их, в основном, в журнале «Крокодил». В последние годы он печатается в сетевых журналах, в еженедельнике «Панорама» (Лос-Анджелес) и других русскоязычных газетах и журналах Америки и Израиля.*

*В Москве в издательстве «Вагриус» вышла книга Матлина «На троих с ЦРУ» – полное собрание избранных рассказов и стихов. В ньюйоркском издательстве Mir Collection – рассказы 2 =1 на русском и английском.*

*Александр КАШЛЕР*

---

**ЧИТАЯ АЛЕКСАНДРА МАТЛИНА**

---

Проживая жизнь, набираясь мудрости, начинаешь ценить то главное, что ты выбираешь для себя. Говоря метафорично, – со временем отсеивается и уходит пустопорожняя отвальная порода второстепенного, оставляя на сите вечного искателя-старателя-золотодобытчика те золотые крупы, которые остаются в результате естественного отбора твоих индивидуальных предпочтений. С ними тебе комфортней жить. С ними наступает радостная гармония и душевный баланс. Иногда, если повезёт, тебе достаются кусочки покрупнее. Ну, а когда мадам по имени Фортуна, она же – богиня его величества Случая, снимет повязку с глаз, улыбнется своей божественной улыбкой, посылая тебе своё катящееся колесо – колесо Фортуны, не оплошай – лови его. А вместе с колесом и сам самородок. Вот и мне, наконец, повезло. Говорю это без ложного хвастовства и в отличие от собственников-эгоистов, не желающих делить самородок ни с кем, могу отщипнуть кусочек, но при одном условии. А условие будет такое: во-первых – дочитать сию сентенцию до конца, а во-вторых – следовать инструкциям этой же сентенции. С минимальными затратами энергии и с максимальным обогащением в результате.

Слышу нетерпеливое – хватит, мол, трепаться, давай уже по сути без этакого многословия. Что ж. Можно было бы и так, но не хочу в данном случае. Извините. Ну, как в двух словах расскажешь о том, о чём пишет Александр – Александр Матлин, – этот, отмеченный провидением и потому талантливый рассказчик?! И не только – о чём пишет, но и как он это делает. Это надо ощутить!

В данном случае приснопамятный литературный критик прошлого – Виссарион, сами понимаете – Белинский и иже с ним – такие же критиканствующие зануды от писательского труда могут отдохнуть. Ну, нечего им тут делать и всё тут. Негде им в данном случае

применить своё острое жало придирок и буквоедства – всё то, чем славны братья-критики. Тем более, что как уже было сказано – они не только не братья в данном случае, а и не родственники даже. И, уж, не Александра Матлина тем более. Однако – всё по порядку.

Прочитав как-то в журнале рассказ неизвестного мне до того автора – Александра Матлина – «2=1», я невольно подивился алогизму поставленной задачи и тому, как хитросплетения алгебраических построений могут смутить обывателя и помутить разум в поисках корысти. Ни больше, ни меньше. Рассказ заинтриговал, а в памяти осталась зарубка от встречи с чем-то необычным. И снова удача – позднее нахожу в том же журнале другой рассказ этого же автора – «О вредности устного счёта» – реальную сказку со счастливым концом. Ну, здесь я уже окончательно сформировал своё предпочтение в пользу автора этих неординарных рассказов. С желанием глубже познакомиться с его творчеством...

Понимаете, лично для меня в любом литературном произведении прежде всего важна Мысль. Для меня не очень важны описания природы с её запахами и колерами, ресторанные меню с перечислением блюд и напитков, расписание железнодорожных отправок и прибытий, кто куда и на что положил свою руку или ногу, и так далее и тому подобное. Мысль, в абсолютном разумении этого понятия – вот то главное, что движет миром и делает его реальным. Её мы черпаем, в том числе, и из хороших книг. И ещё важна – полифоничность ситуационных событий. А другими словами – то, что определяет подлинный интерес к чтению и благодаря чему существует это незримое притяжение познания окружающего нас разнообразия. И если мысль действительно материальна, то её, по-настоящему, материальное воздействие сказывается на всём, к чему прикасаются руки человеческие с обязательным и непреложным присутствием Разума. К тому, что мы обустроиваем в этом мире: касается ли это полёта к звёздам, шитья валенок или строительства морских портов и водных путей – то, чем на протяжении своей многолетней успешной и плодотворной инженерной карьеры, как я узнал позже из его книг, занимался герой нашего повествования – Александр Матлин.

Я не думаю, что в моём читательском восприятии есть что-то уникальное. Многие, я уверен, такие же, как я, читатели могут найти в этом откровении подтверждение своих догадок. Всё, о чём здесь



сказано, можно с лихвой отыскать в произведениях того, кого мы на мгновение забыли, но без участия кого этот опус не имеет смысла. ...И я там был, ничего не пил, но нашёл то, что хотел найти...

...Итак, воспользовавшись электронным адресом Александра, я заказал у него обе-две его книжки – «2=1» и «На троих с ЦРУ». Он мне их любезно переслал. По цене за обе книги, равной стоимости четырёх пачек сигарет. «Батюшки, – как говаривал мною обожаемый М. Зощенко, – светы! Что ж оно деется?!» Мало того, что Александр мне сохранил здоровье от невыкуренных сигарет, он ещё продлил мне жизнь, если верить тем, кто утверждает, что смех её продлевает. Продолжая употреблять понятие эквивалентного сравнения, могу заявить, что годочков он прибавил мне немерено, так как смеялся я, читая его книги, не только немерено, а и ещё больше. За что и благодарю от души. Получается, что с лёгкой руки Александра Матлина, мои недруги, читая это, придут в отчаяние от разочарования в скорой развязке, а в скрижали науки геронтологии запишется ещё одно открытие – феномен Александра Матлина.

Невольно и непроизвольно перехожу на некоторое ёрничество и на лёгкий словесный флирт. Знаю, почему. «Виною» всему всё тот же индивидуум, смотрящий с книжной фотографии. Приятной наружности, с небольшой седоватой окладистой бородкой и приятной доброй застенчивой улыбкой, пребывающий в гармонии со своим внутренним миром. Это он продолжает незримо присутствовать в построении моих мыслей, способе мышления и самовыражении. А я, видимо, поднабрался его стиля после прочтения и не могу прийти в себя.

Попасть в цель – это ещё не означает, что она поражена. Вот, – в «десяточку» – это то, что доктор прописал. С этим у автора всё в порядке. Не знаю, использует ли он оптический прицел, но все его наблюдения ложатся точно в цель. Его умение подмечать, записывая всё с завидной простотой, а потому понятной, позволяет нам взглянуть на самих себя со стороны глазами умного автора-наблюдателя. Особенно выразительно и выпукло автор передаёт поведение русскоязычной иммиграции, детально освещая общество своим лучистым взглядом снаружи и проникая рентгеновским излучением талантливой пытливости в её внутренней мир.

Александр, как опытный боксёр, не боится открыться и пропустить удар противника, подставляя себя тем самым под возмож-

ные насмешки и критику. Так может поступать только очень в себе уверенный человек – не пресмыкающийся перед вызовом судьбы, повывавший разное на своём веку и смелый к тому же. Он как бы успокаивает нас: не надо бояться подшучивать над собой, мы не ангелы, мы такие, какие есть, не надо стесняться своих слабостей, но в конце концов надо уметь их обращать в силу.

Хотелось бы также подчеркнуть, в качестве ещё одного достоинства Александра Матлина как писателя – талант изображения различных бытовых ситуаций и владение классической отточенностью фраз. Чего стоят, скажем, его невыдуманные диалоги с будущим шефом в рассказе «Моя первая работа в Америке»?! А язык, которым написана чисто фантазмагорическая история с попытками узаконивания новой религии – Шапирианства – для того, чтобы избежать уплаты налогов, якобы происшедшая с самим автором и его другом Зеликом в будущем, в 2056 году?!

Пытаясь придать выразительные характеристики жанрам матлиновской широты самовыражения и вытанцовывая вместе с автором его сюжетные пируэты, позволю себе некоторую вольность, сравнивая его Прозу с фокстротом, а Поэзию – с пасодоблем. Но это лишь условная градация моего воображения. Так вот, – аналогично с реальной символикой пасодобля, – боя тореадора с быком, Александр Матлин так же, как тот тореро, успешен в битве за нахождение верного рифмованного стиха. Поражает его способность стихосложения, где он, объединяя английский и русский языки в одном стихотворении, сохраняет при этом строгую рифму. Для меня это какое-то невообразимое колдовство, граничащее с фантастическим кругозором и неисчерпаемым словарным запасом автора.

В поэме «Глаголом жечь сердца до самого конца» А. Матлин так, совсем немножко хулиганит (фрагмент):

*...Мы дринкаем сухие вина,  
Энджоем собственный уют,  
Мы лихо драйваем машины,  
Берём хайвей (когда дают)...*

*...Аппрочает весенний вечер,  
Даркнеет прямо на ходу.*

*Стихают речи, гаснут свечи  
И Пушкин спинает в гробу.*

А вот как, несмотря ни на что, но всё же уважаемый «прожигатель сердец» пытался себя поздравить с серебряной свадьбой в поэме «Half-and-Half» (фрагмент):

*...Жизнь – занятнейшая штука!  
If you take a close look at,  
Обнаружишь, мир познав:  
Everything if half-and-half!..*

*...Hell and heaven, clean and dirty,  
Наконец - Нью-Йорк и Горький,  
Палестинец и еврей,  
KGB and CIA...*

Не могу и не имею права углубляться, и особо что-то подчёркивать или выделять. Всё в его книгах на уровне и, не побоюсь этих слов, – в лучших традициях М. Зощенко и И. Бабеля – этих признанных классиков жанра литературы, от которой читатель получает радость, свободу воображения и оптимизм. Разбавляя креплённый напиток жизни-сермяги освежающим нектаром и лёгкостью восприятия истинного юмора. Когда смешно по-настоящему! Когда угол падения его авторской мысли равен углу отражения нашего восприятия без всяких к тому усилий.

Однако, наряду с тем, что было отмечено как большое достоинство в творчестве Александра Матлина, всё же, к большому сожалению, не могу не высказать и моего неудовлетворения – ведь эта рецензия критическая, а значит, и её ингредиенты могут носить на только характер осанна и здравиц во славу, но и некоторые критические замечания. И на солнце, как говорят в химчистке – имеются пятна.

Вот что хотелось бы сказать. Всего лишь только одно замечание, однако – значительное. Вот оно:

Дорогой Александр! Ну, почему Вы столько времени лишали нас удовольствия быть представленными Вашему творчеству?! По-

чему Вы не пишете ещё и ещё, дабы насытить наши истомившиеся души Вашим талантом?!

На этом разрешаю себе закончить эту полушутливую-полусерьёзную риторику словами небезызвестного Форреста Гампа из одноимённого кинофильма: «That is all I have to say about that».

В начале я метафорично поведал о нелёгком труде золотодобытчиков. Об их поисках и находках. Так вот. Занятие это лично я оставляю – трудоёмко и накладно. Да и зачем? Всё, что мне надо – уже нашёл. И тем богат! А вы?

*Александр Кашлер*  
*Сан-Франциско*



– Заклинаю тебя: сторонись этой проклятой организации, беги от нее как от чумы, проказы,  
– слабо доносился голос деда. – В мои времена контора не светилась, себя не афишировала,  
действовала исподтишка, ибо была под партией, но уже многие годы абсолютно вся власть  
у нее, и неважно, кто во главе Славишии, ее человек или внешне нейтральный – все одно он  
принадлежит ей.

**Давид Гай**

Марк набычился, щеки пошли пятнами:

– Кто ты такой, чтобы давать советы, поучать?! Я родился в этой стране и знаю ее порядки.  
А ты – вшивый иммигрантишка, никто и ничто. Еще слово – и я тебя ударю! – он отбросил  
пылесос и навис над Вэллом.  
– Попробуй, долбаный козел! Ты не знаешь, как дерутся русские!  
Офис огласился матом на двух языках.

**Леон Михлин**

Что-то тяжело мне от ваших катавасий.  
Неуютно бестолковыми ночами.  
С подлецами не бывает разногласий.  
Не бывает разногласий с палачами.  
Вы убийцы, натуральные бандиты.  
Ну какие тут полемика и споры?  
И не врите вы себе, что из элиты.  
Вы из шайки, а еще точнее – своры.

**Евгений Лесин**

Он приехал в освобожденный от немцев Вильнюс летом сорок четвертого. Среди самых  
первых. Что врезалось в память? Гетто! Еврейские кварталы старого города превратились  
в руины. *й* отправлялся туда каждый день. Чаще всего – один...Неведомая сила тянула его  
туда. Садился на камни, балки разрушенных домов. Иногда он говорил с развалинами.  
Что он там хотел найти еще? Какие голоса надеялся услышать?  
Скорее всего – *й* представлял в гетто себя.

**Евсей Цейтлин**

– Так ты что, из Америки звонишь? Это же дорого, небось?  
– Да, Фаня, страшно дорого. Я даже заём в банке взял, чтобы тебе позвонить. Не знаю, как  
теперь расплачусь.  
– Тогда заканчиваем, – великодушно говорит Фаня. – Ну, ты давай, держись там. И звони, не  
пропадай.  
– Хорошо, Фаня. Ты тоже держись. Будь здорова. Я обязательно позвоню, – говорю я и про  
себя уточняю:  
– Обязательно позвоню через шестьдесят лет.

**Александр Матлин**

